

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1987

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Бондарко А. В. (Ленинград). К системным основаниям концепции «Русской грамматики»	3
Зарифьян И. А., Рождественский Ю. В., Щербакowa О. М. (Москва). Вопросы общей и прикладной филологии в свете реформы школы	16

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). Глоттальная теория: новая парадигма в индоевропейском сравнительном языкознании	26
Голованевский А. Л. (Кочетав). Социальная и идеологическая дифференциация и оценочность общественно-политической лексики русского языка	35
Цейтлин Р. М. (Москва). О содержании термина «старославянский язык». Хабургаев Г. А. (Москва). К вопросу о терминологическом обозначении объекта палеослаистики	43
Питровский Р. Г. (Ленинград). Лингвистические автоматы и Машинный фонд русского языка	59
Поленова Г. Т. (Таганрог). Вопросы генезиса некоторых формантов кетского глагола	69
	74

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Исеев М. И. (Москва). Международный вспомогательный язык эсперанто: вопросы теории и практики (К столетию создания и развития)	83
Силин В. Л. (Днепропетровск). К проблеме синонимии	95
Кумахов М. А. (Москва). К проблеме ономастической лексики нарского эпоса	102
Циткина Ф. А. (Ужгород). Сопоставительное терминоведение: теоретические вопросы и приложения	114
Пюрбеев Г. Ц. (Москва). Синтаксические явления в памятниках монгольского феодального права XVII—XVIII вв.	125
Алврей П. Ю. (Тарту). О синтаксическом эквативе	132

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

Бромлей С. В. (Москва). Атлас украинської мови. Т. 1.	138
Булаин Л. Л. (Ленинград). Дмитренко С. Н. Фонемы русского языка. Их сочетаемость и функциональная нагрузка	141
Чарков С. Л. (Ленинград). Монгольский лингвистический сборник	145
Биренбаум Я. Г. (Киров), Рассадин В. И., Шагдаров Л. Д. (Улан-Удэ). Предикативное склонение причастий в алтайских языках	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	153
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
 Ю. Н. Караулов, Г. А. Клымов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
 В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,
 В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
 О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.
 редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
 «Вопросы языкознания», 1987 г.

БОНДАРКО А.В.

К СИСТЕМНЫМ ОСНОВАНИЯМ КОНЦЕПЦИИ «РУССКОЙ ГРАММАТИКИ»

В настоящей статье рассматривается теоретическая концепция Н. Ю. Шведовой, изложенная в ряде ее трудов и явившаяся базой для построения академической «Русской грамматики» 1980 г. [1, 2]¹.

Объективная необходимость в освещении теоретических оснований «Русской грамматики» созрела давно. Работы, формирующие эти основания, обычно воспринимаются с точки зрения конкретных вопросов грамматики русского языка. Между тем помимо этих вопросов первостепенное значение имеют общетеоретические положения, образующие единую концепцию.

О двух направлениях современных грамматических исследований. В современных грамматических исследованиях и описаниях с точки зрения реализуемых в них типов системности можно выделить два направления. Одно из них, имеющее давние традиции, строится на базе расчленения предмета исследования на отдельные подсистемы-уровни. Такое членение дает возможность углубленного изучения характерных особенностей значений и форм (в их единстве) в пределах каждой из выделяемых подсистем. Анализ проводится в рамках морфологии, словообразования, синтаксиса, в пределах подсистем отдельных частей речи, классов словесных форм, типов синтаксических конструкций, словообразовательных разрядов и т. п. По указанному признаку данное направление можно назвать с и с т е м н о - д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и м.

«Традиционная грамматика» в своей наиболее распространенной разновидности, строящейся на выделении указанных подсистем, отнюдь не является формальной (как обычно утверждается). Разумеется, эта грамматика уделяет значительное внимание анализу грамматических форм и их объединений (парадигм). Для нее характерно направление «от формы к семантике». Однако не следует забывать о том давно отмеченном факте, что каждая форма имеет двустороннюю природу, представляя собой единство содержания и выражения. Та или иная форма выделяется прежде всего по присущему ей категориальному значению или комплексу значений. Поэтому признак формальности не исчерпывает сущности грамматики рассматриваемого типа, более того, не вполне адекватно отражает эту сущность. Традиционная грамматика (мы имеем в виду основной тип грамматики, опирающейся на давнюю традицию и в полном

¹ Говоря о системных основаниях концепции «Русской грамматики», мы имеем в виду не только Граматику-80 как конкретный коллективный труд. Речь идет о той концепции, которая формировалась в течение многих лет и нашла отражение в целом ряде работ Н. Ю. Шведовой. Предметом анализа является определенный круг идей, нашедших воплощение в построении академической грамматики русского языка и решении ряда теоретических проблем.

смысле слова современной, развивающейся) в своей основе является **у р о в н е в о й, с и с т е м н о - д и ф ф е р е н ц и р у ю щ е й**. Данный признак, конечно, также не может рассматриваться как исчерпывающий сущность указанного типа грамматики. Однако эта характеристика, как нам представляется, отражает самый принцип построения грамматики, ее системное основание.

В языковедческой традиции коренится и другое направление грамматических исследований — **ф у н к ц и о н а л ь н о е**. Это направление, интенсивно развивающееся в настоящее время, охватывает существенно отличающиеся друг от друга концепции. И все же доминирующий признак ряда функционально-грамматических теорий выявляется достаточно четко. Основным предметом исследования становятся единства, имеющие семантическую природу. Это определяет и членение предмета исследования. Выделяются системы и подсистемы, охватывающие элементы разных уровней, т. е. структурно разнородные, но объединяемые по функциональному признаку. Таковы, в частности, функционально-семантические поля (аспектуальность, темпоральность, бытийность, персональность, залоговость, субъектность, объектность и т. п.). По данному типу реализации принципа системности рассматриваемое направление грамматического исследования и описания может быть охарактеризовано как **с и с т е м н о - и н т е г р и р у ю щ е е** на функциональной основе.

Системно-интегрирующий тип анализа может быть реализован в рамках не только функционального направления исследований, но и в пределах грамматики, исходящей из принципа членения своего предмета на известные подсистемы-уровни: в проводимом анализе на определенном его этапе основной акцент может быть сделан на выявлении связей между отдельными уровнями, на их взаимодействии (см. об этом ниже). Однако в данных условиях определяющим принципом членения изучаемого предмета и структуры его описания все же остается принцип дифференциации отдельных подсистем.

Компоненты дифференциации и интеграции представлены в каждом из рассматриваемых направлений в грамматике. Исследования, строящиеся на выделении отдельных подсистем и выявляющие специфику форм и значений в каждой из них, реализуют принцип интеграции в анализе связей между отдельными подсистемами, в их соотношении в рамках строя языка как «системы систем». С другой стороны, функциональные исследования обращают внимание на аспекты дифференциации элементов разных уровней, на различия между ними, влияющие на реализацию изучаемых функций. По существу системная интеграция разноструктурных элементов на функциональной основе невозможна без предваряющей ее дифференциации отдельных уровней. Таким образом, выделяя те направления, о которых идет речь, мы имеем в виду доминирующий тип системного анализа, так или иначе охватывающего компоненты системной дифференциации и интеграции.

Системно-дифференцирующее направление образует фундамент грамматического описания. Без этой основы никакие функционально ориентированные поисковые исследования невозможны.

В сопоставляемых типах грамматики реализуются разные типы системности, дополняющие друг друга. Один тип системности, основанный на выявлении специфических признаков формальных и содержательных структур, принадлежащих к каждому из выделенных уровней, требует, например, специального и раздельного анализа временной соотносительности действий при рассмотрении а) деепричастий, б) однородных сказуемых,

в) сложноподчиненных предложений с придаточным времени и т. п. Другой же тип системности требует комплексного анализа разноразрядных средств выражения временной соотнесенности действий (с учетом специфики каждого из них). Максимально полное представление об изучаемом предмете создается лишь в результате соотнесения обоих типов системности.

Выделенные типы системно-дифференцирующего и системно-интегрирующего описания в грамматике соотносятся с известными в теории систем понятиями моносистемного и полисистемного анализа [3, с. 26—33]. Моносистемный анализ предполагает такое исследование сложных объектов, обладающих множеством оснований, при котором как необходимое условие для адекватного познания таких объектов рассматривается их расчленение на качественно однородные узлы и элементы, оперирование «слоями», уровнями. Такой подход является необходимым элементом научного познания. Вместе с тем сложность реальных явлений, строящихся на своего рода «пирамиде» (лестнице) оснований, предполагает необходимость развития полисистемного анализа, направленного на комплексное изучение сложных взаимосвязей систем отдельных уровней [3, с. 28—30; 32].

Общая характеристика системных оснований рассматриваемой грамматической концепции. Концепция Н. Ю. Шведовой характеризуется тем, что в ней, с одной стороны, последовательно и эксплицитно раскрывается системно-дифференцирующее познание грамматического строя языка, а с другой — сильно выражен компонент интеграции, дополняющий и развивающий уровневую доминанту анализа. Тем самым данная теория, будучи тесно связанной с грамматической традицией, вместе с тем отличается характерной для современного научного познания многоаспектностью анализа, стремящегося изучить закономерности взаимодействия разных уровней.

Для теоретических оснований «Русской грамматики» характерна направленность на выявление связи категорий грамматики с категориями других уровней, — «начиная от всей сферы морфонологии и кончая словом во всей сложности его лексической семантики» [4, с. 293]. Таким образом, внутренняя интегративная тенденция в изучении строя языка дополняется «внешней», обращенной к той среде, с которой взаимодействует грамматическая система.

Говоря о теоретических позициях, актуальных для «Русской грамматики», Н. Ю. Шведова относит к их числу реализацию «идей о неоднородной организации грамматического строя и о постоянных и разнонаправленных межуровневых связях; о взаимосвязанности всех основных категорий внутри грамматического строя и о разнонаправленной связи самого грамматического строя с другими сторонами языковой системы...» [4, с. 291]. И далее: «...тезис об устарелости уровневого подхода к языку явно преждевременен. Понимание языка как иерархически организованной системы нескольких уровней, по-разному взаимодействующих друг с другом, — пусть без соответствующей терминологии — имеет давнюю традицию и всесторонне проверено в языковедческой работе» [4, с. 292]. Идея актуальности лучших традиций грамматики, современности «традиционной грамматики», ее постоянного развития, интегрирующего прогрессивное наследие и преобразующего его, постоянно вносящего новое, заслуживает признания и поддержки. Примечательно в этой связи грамматическое учение В. В. Виноградова в его отношении к предшествующей традиции.

Это направление находит дальнейшее продолжение и развитие в концепции Н. Ю. Шведовой.

Н. Ю. Шведовой разработана комплекс проблем грамматики, решение которых непосредственно связано с синтезом принципов системной дифференциации и интеграции. Предметом исследования и осмысления являются синтаксическая парадигматика и предикативность, структурные схемы предложения и их регулярные реализации, детерминанты как самостоятельные распространители предложения, типы синтаксических связей, семантическая структура предложения, лексические ограничения в синтаксисе, структурная и функциональная природа слова как центральной единицы языка, типы контекстов, конструирующих многоаспектное описание слова, лексическая классификация глаголов в ее отношении к грамматике, семантическая вариативность, различные аспекты лексико-грамматического взаимодействия.

Концепция Н. Ю. Шведовой направлена на создание целостной грамматики, охватывающей все подсистемы строя русского языка. Исходные теоретические принципы ориентированы не на избранный круг языковых фактов, а на весь их корпус. Развиваясь во взаимодействии с конкретными исследованиями огромных пластов языкового материала, рассматриваемая концепция стремится извлечь закономерности из самих языковых фактов, не упрощая их свойств и соотношений.

Теория, развиваемая в работах Н. Ю. Шведовой, могла стать такой, какова она есть, лишь потому, что системному представлению уровней строя языка и их взаимодействия предшествовало и сопутствовало углубленное исследование синтаксиса, лексики, лексико-синтаксических связей, исторических и современных процессов развития языкового строя, изучение языка и стиля писателя, специфики строя разговорной речи, многолетнее исследование грамматической и лексической семантики, познание разных сторон слова в процессе работы грамматиста, лексиколога, лексикографа, лингвиста-теоретика.

Рассматриваемая концепция пережила несколько стадий формирования и совершенствования. Развитие шло от исходных историко-синтаксических исследований и изучения синтаксиса русской разговорной речи к теоретическим обобщениям, ведущим к грамматике-70, от нее — к новому этапу исследований, усиливших аспекты лексико-грамматического синтеза и многомерного анализа семантической структуры предложения, и отсюда к «Русской грамматике» 1980 г.

Аспекты системной дифференциации и интеграции в истолковании основных понятий грамматики. Дифференциальные и интегральные элементы системного представления строя языка четко выявляются в следующем определении сущности грамматики: «Грамматика как строй языка представляет собой „систему систем“, объединяющую словообразование (см.), морфологию (см.) и синтаксис (см.). Эти системы можно называть подсистемами грамматического строя языка или разными его уровнями» [5, с. 58].

Подсистемы-уровни являются основой для рассмотрения не только формальных средств, но и их значений. Говоря о грамматическом значении (ГЗ) как абстрагированном языковом содержании грамматической единицы, заключенном в ее формальной организации, Н. Ю. Шведова отмечает, что это содержание относит данную единицу в тот или иной грамматический класс или подкласс [5, с. 59]. Включение в характеристику ГЗ данного реляционно-классифицирующего признака имеет веские основания:

дифференциально-уровневый аспект системной организации языкового строя представляет сущностные свойства как грамматических форм, так и их значений.

ГЗ всегда выводится из отношения данной единицы к другим единицам того же класса. Значение формы слова определяется на основе ее отношения к другим формам слова в парадигме; значение той или иной формы предложения устанавливается на основе ее отношения к другим его формам. Данное свойство значения, присущего той или иной форме предложения, раскрывается в разработанной Н. Ю. Шведовой концепции синтаксической парадигматики. С этим связано и многоаспектное истолкование семантической структуры предложения.

Формы существования грамматических значений строго дифференцируются по уровням: в слове грамматическое значение существует вместе с его лексическим значением, в предложении — вместе с его семантической структурой.

Важную роль в рассматриваемой концепции играет понятие грамматической формы (ГФ). ГФ трактуется как «материальный вид существования грамматического значения» [5, с. 59]. Форма не приравнивается к формальным показателям: она организуется конкретными языковыми средствами (в морфологии форма организуется морфемами, в синтаксисе — сочетаниями форм слов в их отношении друг к другу, сочетаниями знаменательных слов со служебными). Материальные языковые средства включаются в понятие ГФ, но лишь как одна из сторон ее организации: ГФ — всегда двумерная — имеет внешнюю организацию (материальные языковые средства) и внутреннюю (грамматические значения) [5, с. 59]. Итак, в связи с определением грамматической формы грамматическое значение получает еще одну — весьма существенную — характеристику: оно представляет собой внутреннюю организацию грамматической формы.

В данном истолковании ГФ и ГЗ отражен принцип последовательной соотносительности понятий системы и структуры [6]. Структура существует объективно как внутреннее устройство, организация или упорядоченность системы (при изучении структуры она может быть абстрагирована от субстанции данной системы, но она не может существовать вне субстанции или элементов системы) [7]. Включение организации (т. е. структуры) в понятие ГФ и разграничение организации внешней и внутренней соответствует методологическому принципу единства системы и структуры.

Характеристика ГЗ как внутренней организации ГФ означает, что и в понятие ГЗ вводится аспект структуры, связанной с формой. Это принципиально важно, так как лишь при опоре на языковую форму и структуру (внутреннюю и внешнюю) возможно изучение языковых значений с учетом не только их денотативно-понятийных и прагматических аспектов, но и аспектов языковой интерпретации мыслительной основы выражаемого содержания. Разработка проблемы формы семантического содержания, обусловленной языковой структурой (специфической для разных уровней), имеет первостепенное значение для современной лингвистической теории. В трудах Н. Ю. Шведовой мы находим важные положения, относящиеся к этому кругу проблем (см. ниже). На фоне широко распространенных в современной лингвистике исследований прежде всего денотативно-понятийных, референциальных, логических и прагматических аспектов значений представляется особенно актуальной ориентация рассматриваемой теории на многоаспектный анализ, учиты-

вающий структурно-уровневую сторону языкового значения, рассматриваемого в единстве с языковой формой.

Понятие класса является в данной концепции базисным и для интерпретации грамматической категории (ГК). ГК закономерно определяется на основе интеграции в одном классе разных формальных единиц, находящихся в отношениях единства самого абстрактного значения и противопоставленности тоже абстрактных, но более частных значений. В основу определения ГК, таким образом, положен принцип объединения ее компонентов общекатегориальным значением, по отношению к которому (как родовому понятию) противопоставленные друг другу значения компонентов ГК выступают как понятия видовые. Этот принцип охватывает ГК разных уровней, например ГК времени в глаголе и ГК предикативности в предложении. В первом случае речь идет о единстве абстрактного отношения к временной точке отсчета и о противопоставленности значений настоящего, прошедшего и будущего времени, а во втором — о единстве абстрактного значения «отношение сообщаемого к действительности» и о противопоставленности (внутри него) значений реальности или ирреальности этого отношения. Таким образом, во всех случаях ГК последовательно рассматривается как класс значений, объединенных в системе противопоставлений [5, с. 59].

В рассматриваемой грамматической теории ее центральные понятия — грамматическая категория, грамматическая форма и грамматическое значение — образуют единую систему. От общего системно-уровневого понимания грамматики идет линия связей к грамматическим единицам разных уровней, их форме и системно-структурной организации, их значениям и к категориям как классам значений. Понятия класса и категории, всегда занимавшие центральное положение в отечественной грамматике, в данной теории кристаллизуются особенно четко, образуя ядро системного анализа грамматического содержания и грамматической формы в их единстве,

То понимание грамматики, ее единиц, классов, категорий, о котором говорилась выше, легло в основу построения «Русской грамматики». Для исходных теоретических позиций, определивших тип и характер реализованного в этом труде грамматического описания, наиболее характерно следующее: 1) понимание грамматики как единства нескольких систем; 2) представление основных единиц словообразования, морфологии и синтаксиса в виде иерархически организованной системы; 3) путь анализа грамматических единиц от их наиболее абстрактной структуры к конкретным свойствам, модификациям и языковым реализациям; 4) трактовка слова как центральной единицы языка, являющейся носителем комплекса разнонаправленных грамматических свойств; 5) акцент на взаимных связях грамматики и лексики: «Грамматика пронизана лексикой, и грамматическое описание не может быть осуществлено без сопровождающих его лексико-семантических характеристик» [1, с. 9].; 6) при традиционном построении «от формы к значению» и при опоре на форму последовательно изучаются и описываются значения с их собственной структурой и собственными языковыми характеристиками; 7) функциональный аспект представлен в данном типе грамматик а) рассмотрением грамматических единиц в единстве формы и грамматического значения, в комплексе правил языкового поведения, б) включенной в анализ ряда морфологических категорий характеристикой их синтаксического поведения, в) специальным рассмотрением семантического строения предложения, ряда значений и типов употребления грамматических

форм, г) анализом фактов речи как реального вида существования языка.

В том подходе к языку, который реализован в «Русской грамматике», выявляется иерархическая организация системы языковых единиц.

Описание этих единиц строится по принципу раскрытия наиболее абстрактных форм их существования, первоначально в отвлечении от частных свойств и модификаций, далее же специальное внимание уделяется конкретным свойствам рассматриваемых единиц, их частным разновидностям и языковым реализациям, связям и отношениям. Лингвистическое описание стремится отразить иерархию, реально существующую в самом языке [4, с. 299]. Такой подход к языку по существу уже не является «чисто таксономическим» (заметим, что в понятии таксономического подхода заключена необходимая и закономерная системно-дифференцирующая основа анализа). Он включает существенный элемент иерархизации изучаемых систем.

Разработка аспекта системной интеграции в анализе активных потенциалов слова как центральной единицы языка. Обращаясь к языковым уровням (подсистемам) и их взаимосвязям, Н. Ю. Шведова концентрирует внимание на слове как той языковой единице, которая занимает центральное положение во всем строе языка, являясь средоточием и во многих отношениях исходным пунктом межуровневого взаимодействия. Идея центральной единицы языкового строя получает развернутую аргументацию. Выявляются, с одной стороны, специфические свойства слова как наиболее сложной, емкой, «вбирающей и отдающей», наиболее активной единицы, а с другой — «обращенные вовне» реализации активности слова, затрагивающей все языковые уровни.

Системно-дифференцирующая основа анализа проявляется в раскрытии специфики слова как единицы, конституирующей центральный уровень языка. На этой базе строится системно-интегрирующий анализ потенциалов данной единицы. Активность слова, с одной стороны, выявляется в реализации его центростремительного потенциала (в функциях концентрации, конденсации), а с другой — в реализации потенциала центробежного (в функциях избирательного воздействия, направленного вовне).

Центростремительные свойства слова, по мысли Н. Ю. Шведовой, формируются под воздействием свойств «тех контекстов, в среде которых оно существует» [8, с. 8]. Свойства разных типов контекстов при реализации конденсирующих потенциалов слова могут становиться его собственными свойствами. Здесь раскрываются существенные аспекты взаимодействия слова как исходной системы с ее средой. Именно с этим понятием следует связать те три типа «контекстуальных условий существования слова», о которых пишет Н. Ю. Шведова: а) условия существования слова в рамках лексического множества (класса, лексической парадигмы и т. п.) и одновременно в условиях смысловых противопоставлений; б) условия синтагматических связей слова, непосредственных линейных окружений; в) условия бытования слова в контексте характерных для него речевых ситуаций, содержательных ценностей, не имеющих четких границ (там же).

Лексическая единица всегда существует одновременно в контексте класса («лексическая парадигматика»), в контексте текстовой последовательности (линейные контексты, синтагматика) и в содержательном контексте речевой ситуации (обстановочные или так называемые «фоновые» контексты) [8, с. 8]. Существование исходной системы в условиях активного взаимодействия со всеми тремя типами внешней среды харак-

терно именно для слова как центральной единицы языка. Ни морфема, ни словосочетание, ни предложение не характеризуются всей полнотой указанных типов взаимодействия со средой. Раскрываемые Н. Ю. Шведовой закономерности центrostремительных потенций слова имеют значение не только для теории языковых единиц, но и для типологии соотношения системы и среды [9] в языке и речи.

Существенна высказанная Н. Ю. Шведовой мысль о такой динамике реализации центrostремительного потенциала слова, которая предполагает возможность преобразования свойств указанных типов контекстуальных окружений в свойства самого слова: «их свойства притягиваются словом, абстрагируются в нем и отливаются уже в его собственные качества» [8, с. 9]. Преобразования свойств среды в свойства исходной системы (в сочетании с противоположными процессами «отчуждения» некоторых свойств этой системы, передаваемых среде) свидетельствуют об относительности и подвижности границ между реальными репрезентациями компонентов комплекса «система — среда». Дальнейшая разработка этой проблематики (не только в синхронном, но и в диахроническом плане) представляется актуальной и перспективной. Привлечение фактов языков различного строя позволило бы развить эту проблематику в типологическом аспекте.

Внутренние признаки слова — принадлежность к определенному классу, лексическое значение, сочетаемость, индивидуальные семантические характеристики — воздействуют на реализацию грамматических закономерностей и правил, в частности, на правила выбора вариантов, заполняющих определенные синтаксические позиции. Отношение слова к грамматическому образцу (закону, правилу) рассматривается дифференцированно — в разновидностях а) почти свободного, б) избирательно и в) запретительного отношения [8, с. 11—12].

Закономерен вывод, к которому нельзя не присоединиться: «Отказ от попытки пропикнуть в те законы, которые сложно и многоступенчато связывают систему грамматических категорий и форм с лексической системой слов, делает работу грамматиста бесперспективной» [8, с. 13].

Представление системы синтаксиса и синтаксических единиц. Будучи центральной подсистемой строя языка, синтаксис включает внутренние подсистемы (внутрисистемные уровни): синтаксис слова, синтаксис словосочетания, синтаксис простого предложения, синтаксис сложного предложения и элементарных бессюжных фрагментов текста; во всех указанных четырех сферах реализуется синтаксис формы слова [2, с. 8]. Единицы каждой из этих подсистем рассматриваются с точки зрения их грамматических свойств, их функций и их отношений к другим синтаксическим единицам. На основе функционального критерия специальной предназначенности для непосредственного выполнения основной задачи языка — взаимного общения людей — центральной сферой синтаксиса признается синтаксис предложения [2, с. 9].

Система синтаксических единиц в освещении Н. Ю. Шведовой — это система многомерная и многоаспектная. Ее компоненты характеризуются с точки зрения формальной организации, синтаксической семантики и системы функций, с точки зрения их взаимодействия в том единстве, которое представляет собой синтаксис как целое [10; 2, с. 6—11]. Данное представление строения синтаксиса и системы его единиц отличается тесной связью с традиционно выделяемыми единицами и вместе с тем таким развитием традиционной синтаксической системы, которое охватывает важ-

нейшие признаки современного системно-структурного подхода к синтаксису на основе интеграции аспектов формы, содержания и функции.

Примечательно объединение функциональных и системно-структурных критериев при определении простого предложения как центральной грамматической единицы синтаксиса. Учитывается 1) предназначение данной единицы для передачи относительно законченной информации; 2) участие в формировании сложного предложения, а также любого развернутого текста; 3) присущая простому предложению роль того построения, в котором находят конструктивное применение словосочетание и форма слова. Принимается во внимание весь комплекс свойственных простому предложению собственных грамматических характеристик: 1) образование по определенному абстрактному грамматическому образцу — структурной схеме, 2) наличие собственных языковых значений, формальных признаков, интонационной оформленности, 3) способность к видоизменениям [2, с. 7].

Специальной областью синтаксической теории, где вклад Н. Ю. Шведовой особенно значителен, является проблема синтаксической парадигматики [41]. Рассмотрение синтаксических единиц не только в традиционном синтагматическом, но и в парадигматическом аспекте представляет собой развитие принципа системности в синтаксисе. Конкретные истолкования парадигматики как формоизменения, т. е. такого изменения синтаксической единицы, при котором ее основное, категориальное значение предстает в своих частных проявлениях, выражаемых специальными средствами [2, с. 10], могут быть предметом дискуссии [12—14]. Н. Ю. Шведова допускает два истолкования парадигматических отношений в синтаксисе — более узкое, обращенное к формальным изменениям самой конструкции (именно это понимание принято в «Русской грамматике»), и более широкое — когда парадигматические отношения трактуются как принадлежащие языковой системе отношения конструкций с близкими грамматическими значениями [2, с. 9—10]. Разделяя последнее понимание и не во всем соглашаясь с первым, хочу подчеркнуть, что в целом развиваемое Н. Ю. Шведовой направление исследования синтаксической парадигматики чрезвычайно перспективно, так как оно углубляет и расширяет системные представления в сфере синтаксиса. Проблемы системно-структурной организации предложения (представленной в его парадигме) приводятся в связь с функциональной проблематикой предикативности и конституирующих ее категорий. Этот шаг теории очень важен. Учение о предикативности, разрабатываемое в направлении, намеченном В. В. Виноградовым, но со значительными преобразованиями и нововведениями, будучи функциональным по своему существу, получает опору в анализе системы форм предложения. Понятие предикативности становится двусторонним, вовлекаясь в общую систему билатеральных категорий грамматики.

Подход к синтаксической семантике. Синтаксическая концепция Н. Ю. Шведовой не противопоставляет синтаксис и семантику: значение каждой из синтаксических единиц включается в понятие синтаксиса [2, с. 5—6, 10]. Такой подход, базирующийся на принципе единства формы и содержания, закономерен. Он представляет собой последовательную реализацию двустороннего (содержательно-формального) истолкования единиц, классов и категорий, подсистем языкового строя и в конечном счете — строя языка в целом.

Истолкование объема, разновидностей и аспектов семантики синтаксиса (языковых значений в синтаксисе) закономерно вытекает из при-

знания центрального положения синтаксиса в грамматической системе языка и из принятой трактовки состава и характера синтаксических единиц. Важно, в частности, что в сферу синтаксиса включаются не только единицы, принадлежащие исключительно данной подсистеме, но и единицы, принадлежащие другим областям языка и участвующие в образовании синтаксических единиц, — таковы слово и форма слова [2, с. 6]. При таких исходных позициях вполне оправданным представляется тезис: «Для синтаксиса существенно как лексическое, так и грамматическое значение слова. Этими значениями регулируется сочетаемость слов, правила образования словосочетаний, участие слова (в той или другой его форме либо формах) в построении предложения» [2, с. 10]. По существу здесь проводится тот принцип, что синтаксис как центральная подсистема языкового строя интегрирует все те значения, которые «работают» на синтаксические закономерности и правила. С этой точки зрения закономерно и то, что в сферу синтаксиса включается взаимодействие морфологического значения формы слова и ее синтаксической функции [2, с. 10].

Для рассматриваемой концепции характерен собственно лингвистический подход к семантической структуре предложения, базирующийся на языковых критериях. Такой подход чрезвычайно актуален. Он противостоит ряду распространенных в настоящее время концепций, каждая из которых заключает в себе нечто интересное и важное, но вместе с тем характеризуется такой направленностью, которая не всегда учитывает собственно языковую системность и языковую форму во всех ее сложнейших проявлениях (мы имеем в виду теории логического, прагматического, референциально-денотативного направлений).

Н. Ю. Шведова справедливо отмечает отличия своего понимания семантической структуры предложения от концепций, строящихся на основе анализа наиболее ясных, «удобных» типов предложений, в которых за организацией и информативными свойствами компонентов легко просматривается внеязыковое положение вещей. В работах Н. Ю. Шведовой учитывается весь корпус типов синтаксических конструкций, включая наиболее сложные, у которых лексико-грамматическая организация не изоморфна структуре внеязыковых ситуаций [15, с. 460].

Семантическая структура предложения рассматривается как одна из сторон его языковой организации и в связи с его отношениями с другими предложениями той же семантики. Предложение изучается не в линейном плане, а по комплексу разноаспектных признаков. Корректность выделения семантических категорий проверяется на основе учета различий в лексическом материале, парадигматических свойствах предложений, в характере их регулярных реализаций, в дистрибутивных свойствах предложения, в его месте в ряду синтаксико-смысловых отношений [15, с. 463, 465]. Анализ семантической структуры предложения охватывает явления языка и речи, учитывает возможности функционирования изучаемых конструкций в определенных речевых ситуациях [15, с. 482].

Примечательно широкое понимание грамматического оформления, в котором подчеркивается динамический аспект синтаксического поведения: «...семантика не существует сама по себе, без грамматического оформления; а таким оформлением и является все синтаксическое поведение предложения» [15, с. 483].

Анализ категории падежа. Общая системная концепция Н. Ю. Шведовой получает конкретное предомлиение в разработке ряда проблем, связанных с определенными категориями и типами синтаксиче-

ских конструкций. В данной статье мы сможем остановиться лишь на одном вопросе — о категории падежа.

В предложенном Н. Ю. Шведовой истолковании категории падежа (см. [16, с. 450—467; 1, с. 474—483]) системно-дифференцирующий аспект анализа проявляется в двойном рассмотрении падежа — как категории морфологической (члена парадигмы имени) и как категории синтаксической (компонента словосочетания и предложения). Сложнейшая картина «непоследовательности» падежных значений не укладывается ни в схему инвариантных признаков, ни в схему однолинейной (одноплоскостной) многозначности. Эти признаки падежных значений находят отражение в их «нежесткой» системной характеристике, учитывающей многоаспектность семантических структур, организованных по принципу поля. При этом все же четко определяются различия между падежами: «Как носитель определенного комплекса значений падеж занимает свое место в парадигме, которая, таким образом, являет собою законченную целостность многозначных грамматических единиц (падежей) с распределенными между ними комплексами значений одного и того же уровня абстракции. Отношение одной из этих единиц (одного падежа) ко всем остальным (к другим падежам) есть отношение участка системы к системе в целом, а отношения между отдельными падежами есть внутрисистемные отношений таких участков друг к другу. У разных падежей могут сближаться или совпадать отдельные их значения, но комплексы значений в целом у разных падежей не совпадают никогда» [16, с. 452—453].

Отказываясь от хорошо известных интерпретаций падежной многозначности как линейного набора семантических функций, Н. Ю. Шведова выдвигает на передний план фактор такой внутренней организации значений каждого отдельного падежа, для которой характерна многолинейность (многоплановость) признаков (таких, как соотношение значений абстрактных и конкретных, центральных и периферийных) [16, с. 453].

При рассмотрении падежа на синтаксическом уровне на передний план выдвигаются собственно синтаксические признаки системно-структурной организации падежных конструкций — присловные и неприсловные позиции. На этой основе выделяются и соответствующие типы значений — присловные и неприсловные. Принципиально важным представляется отказ от «глубинных структур» при анализе грамматической категории падежа: грамматист закономерно исходит из реальных падежей, данных в соединениях слов и предложениях [16, с. 455]. Проводимый анализ строится на многомерной характеристике, охватывающей морфологическую основу падежа, синтаксическую позицию падежной формы, лексическое значение слова, минимальный контекст, место данной конструкции в более широкой системе конструкций. Фактически принимается во внимание все то, что в данном случае входит в соотношение исходной системы и ее многоаспектной среды.

Особенно важно то, что учитывается форма (способ представления) самого значения, связанная с определенным формальным выражением. Говоря о субъектном значении некоторых форм косвенных падежей, автор справедливо констатирует, что у разных косвенных падежей это значение в различной степени сохраняет в себе след того «несубъектного» значения, которое принадлежит собственно форме [16, с. 460]. Ср. тонкий анализ предложений *Небо влечет смелых* и *Смелых влечет небо*, включающий указание на то, что во втором предложении неакцентированная форма с объектным значением (*смелых*), занимая субъектную позицию, обозначает не только объект, но и того, кто испытывает состояние («смелые

влекомы небом»). Примечательно суждение о синтезе объектного значения, заключенного в форме слова, с субъектным значением, обусловленным позицией, в результате чего формируется та диффузная семантическая категория, которая определяется как «объект действия/субъект состояния, вызванного (или вызываемого) этим действием» [16, с. 463].

В этом рассуждении представлен теоретический шаг синтеза как результат системно-дифференцирующего аспекта анализа. На основе дифференциации уровней воздействия формы слова и формы как синтаксической позиции на выражаемое значение в самом этом значении выявляется синтез по-разному обусловленных элементов. Такой подход дает ключ для понимания ряда явлений, относящихся не только к категории падежа, но и к категории залога.

Четко сформулирован вывод: «Категории семантической структуры предложения создаются взаимным действием значений форм слов, значений позиций и лексических значений слов» [16, с. 464]. Таков семантический синтез, закономерно вытекающий из взаимодействия элементов разных подсистем. Это положение, как и многие другие, показывает, что Н. Ю. Шведова выходит далеко за пределы обычной традиционной системно-дифференцирующей концепции, переходя от анализа отдельных уровней-подсистем к их синтезу. Интегрирующий аспект системной теории здесь выступает весьма отчетливо. Системный анализ дает убедительные объяснительные результаты (ср. анализ значений падежей, включенный в «Русскую грамматику» [1, с. 475—483]).

*

Концепция Н. Ю. Шведовой отличается динамичностью. Она существует в развитии. Решение одних проблем приводит к постановке других, новых. Они могут иметь качественно иной характер, но между предшествующими и последующими ступенями развития теории всегда прослеживаются внутренние связи. Иллюстрацией может служить следующее высказывание, включенное в изложение теоретических оснований «Русской грамматики»: «... подход „от формы к значению“ ни в коей мере не исключает возможности и целесообразности и другого подхода к изучению грамматических объектов: скорее можно сказать, что этот подход подготавливает почву для следующего исследовательского шага — „от значения к форме“» [4, с. 298].

Функциональные аспекты грамматики давно уже разрабатывались Н. Ю. Шведовой (см., например, анализ функций и функционирования грамматических единиц в работах [17—19]). В последнее время ею непосредственно намечен один из возможных путей построения функциональной грамматики русского языка [20]. Замысел представляет значительный интерес. Хочется пожелать Наталии Юльевне и ее сотрудникам успехов в развитии этого направления функционально-грамматических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
2. Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
3. Кузьмин В. П. Системные основания и структуры в методологии К. Маркса // Системные исследования. 1978, М., 1978.
4. Шведова Н. Ю. О принципах построения и о проблематике «Русской грамматики» // ИАН СЛЯ. 1977. № 4.

5. *Шведова Н. Ю.* Грамматика // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
6. *Мельничук А. С.* Понятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970. С. 45—47.
7. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1977. С. 29.
8. *Шведова Н. Ю.* Об активных потенциях, заключенных в слове // Слово в грамматике и словаре. М., 1984.
9. *Бондарко А. В.* Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // ВЯ. 1985. № 1.
10. *Шведова Н. Ю.* Об основных синтаксических единицах и аспектах их изучения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975. С. 128—129.
11. *Шведова Н. Ю.* Парадигматика простого предложения в современном русском языке (Опыт типологии) // Русский язык. М., 1967.
12. *Шведова Н. Ю.* Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм // ВЯ. 1973. № 4.
13. *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л., 1976. С. 20—22.
14. *Шведова Н. Ю.* Синтаксическое время // ФН. 1978. № 3.
15. *Шведова Н. Ю.* О соотношении грамматической и семантической структуры предложения // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Доклады советской делегации. М., 1973.
16. *Шведова Н. Ю.* Дихотомия «присловные — неприсловные падежи» в ее отношении к категориям семантической структуры предложения // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб—Люблина, сентябрь 1978 г.: Доклады советской делегации. М., 1978.
17. *Шведова Н. Ю.* Возникновение и распространение предикативного употребления членных прилагательных в русском литературном языке XV—XVIII вв. (Автореферат) // Докл. и сообщ. Ин-та русского языка АН СССР. Вып. 1. М., 1948.
18. *Шведова Н. Ю.* О функциях простого предложения // Исследования по славянской филологии. М., 1974.
19. *Шведова Н. Ю.* Входит ли лицо в круг синтаксических категорий, формирующих предикативность? // Русский язык за рубежом. 1971. № 4.
20. *Шведова Н. Ю.* Один из возможных путей построения функциональной грамматики русского языка // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.

ЗАРИФЬЯН И. А., РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Ю. В., ЩЕРБАКОВА О. М.

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОЛОГИИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ШКОЛЫ

Реформа школы предполагает формирование всесторонне развитой личности [1]. Основным средством развития личности в процессе обучения является учебный предмет. Учебный предмет реформированной школы предполагает наряду с трудовым воспитанием, физической культурой и эстетическим воспитанием изучение основ наук и основ философии и включает изучение информатики как речи, созданной с помощью нового орудия письма — ЭВМ.

Это ставит перед фундаментальной и прикладной филологией много сложных проблем. Необходимо сформулировать эти проблемы, провести грань между педагогикой, методикой (дидактикой) и филологией, а внутри филологии выделить проблематику общей филологии в отличие от частной и прикладной филологии в отличие от фундаментальной. Данная статья имеет целью наметить круг проблем общей и прикладной филологии в связи со школьной реформой и этим провести в предварительном порядке грань между предметами педагогики, методики и филологии, т. к. именно такое разграничение есть путь к взаимодействию наук.

Общая филология, рассматривая речевые отношения в обществе, показывает, что школа как общественный институт располагает своими особыми видами и разновидностями словесности (видами текстов), которые присущи только школе и не представлены в других сферах общественного функционирования языка. К таким видам словесности относятся: а) учебная гомилетика¹, т. е. устная монологическая речь преподавателя и учебный диалог, в процессе которых происходит передача знаний от преподавателя к учащемуся, реализуется воспитывающее воздействие учебного предмета и преподавателя на ученика; б) учебники и учебные пособия; в) задачки; г) учебные письменные работы учащихся; д) устные монологические ответы учащихся.

Особенностью учебного руководства (учебника или учебного пособия) является обобщающий и систематический характер содержания. Учебные руководства должны в систематизированном виде отобразить основы теории и истории преподаваемого предмета. Таким образом, с точки зрения общей филологии учебное руководство представляет собой энциклопедическое обобщение предмета, данное последовательно в логическом и историческом развитии содержания, т. е. как повествование и изложе-

¹ Под гомилетикой понимается устная речь, многократно обращенная одним и тем же оратором к одной и той же аудитории. Этим гомилетика отличается от ораторики, включающей в себя совещательную, судебную и показательную речь, а также от сценической речи и от всех видов деформальной устной речи. Учебная гомилетика отличается от других видов гомилетической речи, проповеди и пропаганды — не только своей целью и своим тематически-предметным содержанием, но и способом развития этого содержания.

ние одновременно. Это как бы своеобразный тезаурус знаний, но изложенный в форме совмещения повествования и изложения.

Данный принцип словесного построения учебного руководства подчиняется требованию системности представления предмета. Требование системности представления предмета в учебных руководствах выдвигалось еще в риториках XVII—XIX вв. как обобщение опыта создания учебных руководств [2].

Задачники также представляют собой учебный вид литературы, смысл которой состоит в том, чтобы выработать навыки, которые учащиеся развивают на основании полученных знаний. Они в то же время представляют собой средство контроля усвоения учебного материала. Эти пособия являются особым видом школьной словесности. Если учебному руководству могут соответствовать некоторые книги, относящиеся ко внешкольной научно-популярной литературе², имеющей целью распространить научные знания за пределами школьного обучения, то задачник не имеет аналогов во внешкольной литературе. Задачник строится как словарь, а расположение задач в нем подчиняется смысловой систематизации, избранной автором и обычно соответствующей системе изложения, принятой в учебном руководстве.

Письменные работы учащихся представляют собой тоже особый вид письменности, не использующийся нигде, кроме школы. Этот вид письменности не относится к документам, но может быть обращен в документ (ср., например, экзаменационные сочинения). Поэтому письменные работы учащихся стоят на грани эпистол и документов. Устные ответы учащихся представляют собой вид устной речи, который не совпадает ни с одним другим видом долитературной устной речи (молва, фольклор, бытовой диалог), ни с видами литературной устной речи (ораторика, гомилетика, чтение, сценическая речь). Письменные работы учащихся, так же как и устные их ответы, служат для закрепления знаний и навыков, для контроля со стороны учителя и для развития у школьников языка и стиля данного предмета.

Таким образом, общая филология показывает, что школа располагает собственными видами и разновидностями словесности. Кроме видов словесности, характерных только для школы, в школьной сфере языкового общения циркулируют еще такие виды словесности, которые характерны для школы и для других сфер общения, но эти виды словесности относятся не к учебной речи. В школе представлены бытовые диалоги всех видов, совещательная речь на собраниях педагогов и школьников, документы. (Часть документов характерна только для школьного документооборота, т.е. отражает учебный процесс). Кроме этого, во всякой школе должен присутствовать библиотечный фонд, куда обязательно должна входить литературная классика, а также хрестоматии и антологии, представляющие литературную классику, работы по педагогике и методике, а также научно-популярная и учебная литература, издания документов. Классификация и изучение взаимодействия и структуры разных видов текстов, циркулирующих в школе, — задача общей филологии. Она

² С точки зрения общей филологии научно-популярная литература отличается от учебного руководства тем, что она не предназначена для обязательного прочтения, а представляет собой литературу, которую учащиеся выбирают свободно и в знании которой они ни перед кем не отчитываются. Поэтому требования к стилю научно-популярной литературы и требования к стилю учебного руководства существенно различны.

не решается средствами педагогики, методики или информатики, равно как и средствами частной филологии.

Прикладная филология всегда имела целью ввести в языковое общение новые технические средства. Раньше это было письмо и книжная печать, теперь ЭВМ [3—5].

Компьютеризация языкового общения прежде всего затрагивает языковое общение в школе. Она означает не только преподавание учащимся основ программирования и формирование навыков в обращении с калькуляторами и микроЭВМ. Эти знания и навыки сами по себе могут оказаться беспредметными, если ЭВМ не будет использована как инструмент обучения всем остальным предметам школы.

Как показывает опыт английской и американской педагогики, попытки представить ЭВМ как универсальное средство обучения, заменяющее собой книгу и тетрадь школьника, бесперспективны. Введение ЭВМ в школьное преподавание означает, что фактически все учебные предметы — от физической культуры до математики — получают дополнительное средство обучения, которое оказывается рядом расположенным учебнику, задачнику, письменной работе и устным речевым действиям учителя и ученика. Это значит, что все школьные виды словесности, описанные выше, получают дополнение в виде школьно-компьютерных текстов.

Исторически прикладная филология содержит три предмета: а) языковую дидактику; б) языковую семиотику; в) информационное обслуживание. Под языковой дидактикой понимается создание обучающих языку текстов и введение их в обучение. Как известно, языковая дидактика бывает: 1) школьная, организованная учебными занятиями, 2) общая (или культура речи), рассчитанная на всех пользующихся языком вне школы, и 3) специальная, когда обучаются языку специальности (родному или иностранному). Языковая семиотика — это изобретение и введение в общественно-языковую практику семиотических средств формирования и передачи языковых знаков. [Сюда относятся: изобретение знаков письма, создание шрифтов и их разнообразий, создание аналогов шрифтов в виде удобных для передачи сигналов (азбука Морзе, алфавит Брайля) и создание сочетаний языковых знаков со знаками искусств и техники.] Информационное обслуживание включает в себя такие вопросы, как передача письменных текстов по почте, телеграфу, радио, деятельность канцелярии, книжной торговли, органов массовой информации и информатики, формирующих сферы языкового общения.

Без совместного действия языковой семиотики, языковой дидактики и информационного обслуживания нельзя ввести в оборот общества новые виды языковых знаков. ЭВМ как инструмент письма и переработки письменных знаков, а также инструмент устного общения с информационной системой представляет собой новое семиотическое средство. Это новое семиотическое средство по законам прикладной филологии должно вводиться при помощи языковой дидактики, языковой семиотики, информационного обслуживания, а по законам общей филологии должно наследовать содержание и форму ранее созданных текстов и образовывать новую схему упорядочения речевой культуры и всех других видов культуры [6].

Виды словесности, характерные для школы (учебная гомилетика, учебники и учебные пособия, задачники, письменные работы учащихся, а также материалы учебной библиотеки), должны быть продолжены и

развиты в обучающих системах разных предметов. Это значит, что устные и письменные учебные тексты должны получить известные дополнения в виде текстов на ЭВМ, содержащих объяснения предмета, учебные задания и работу учащихся по усвоению учебных текстов, решению задач и выполнению учебных заданий на ЭВМ. Таким образом, объем учебных текстов как бы удваивается. В связи с этим текстовая (речевая) нагрузка школьников увеличивается не только за счет уроков программирования, но главным образом за счет использования ЭВМ в учебном процессе при преподавании всех остальных предметов — от иностранного языка до уроков труда.

ЭВМ, будучи мощным средством обучения, может быть использована лишь тогда, когда существуют обучающие информационные системы. Действие обучающих информационных систем предполагает не устранение учебников, учебных пособий, преподавательской речи и учебных заданий, устной речи учеников, а, наоборот, возрастание объема этих классических видов школьной словесности.

Практика построения обучающих информационных систем для нужд школы и их использования в Англии, США показывает, что попытки заменить преподавание предметов, основанное на классических видах школьной словесности, обучающими информационными системами привели к снижению знаний учащихся. Поэтому во многих школах Великобритании, например, стал действовать принцип использования ЭВМ в учебном процессе по усмотрению преподавателя в зависимости от содержания урока, характера подготовки и успехов учащихся. Кроме этого, помимо стандартных материалов, содержащихся в обучающих информационных системах, учителям рекомендовано готовить собственные материалы, создавая собственные малые и средние информационные системы по своему предмету. Эти информационные системы должны отвечать методическому мастерству преподавателя, укладываясь в схему учебной гомилетики данного педагога. При этом практика показала, что преподаватели достаточно эффективно используют обучающие системы нестандартного характера, составленные ими самими в интересах преподавания их предмета в данной школе [7].

Такое положение имеет несколько объяснений. Первое состоит в том, что учебные материалы для школы, создаваемые фирмами информационного обслуживания, считаются методически несовершенными. Хотя фирмы активно рекламируют свою продукцию, школа, тем не менее, неохотно ее берет, т.к. не видит в этой продукции существенной помощи в реализации учебных программ. Другое объяснение состоит в том, что работа школьника на ЭВМ не укладывается в регламент учебных занятий и недостаточно контролируется учебной дисциплиной. Поэтому школьник, изучая какой-либо предмет, например, физику, пользуется информационной системой как факультативным средством и не видит разницы между содержанием учебника и знанием, которое дает информационная система. Поэтому школьник пользуется информационной системой по предмету отчасти как средством развлечения. Он психологически настроен в своем диалоге с ЭВМ на развлекательное отношение к предмету, чему в какой-то степени содействует стиль обучающих информационных систем [7].

Информационные системы, создаваемые преподавателями, по большей части имеют характер наглядных пособий или средств формирования навыка в решении определенных задач. Поэтому такие системы используются как дополнение к основному курсу, который содержится в классических видах школьной словесности. Все это показывает, что ЭВМ не

используется с точки зрения той информационной мощности и той познавательной силы, которая присуща по природе этому семиотическому средству.

Можно думать, что обучающие информационные системы в школе настоящему докажут свою эффективность в том случае, если они дадут прирост знаний на фоне использования классических видов словесности; при этом содержание информационных обучающих систем будет не дублировать учебники и задачки, а давать новый смысловой тип сведений, которые принципиально нельзя дать, используя классические виды словесности.

Для того чтобы уяснить, в каком отношении обучающие информационные системы могут дополнить классические виды словесности, надо, чтобы в общей и прикладной филологии был определен тип смыслового содержания, присущий информационным системам в отличие от книг, рукописей и устной речи. Существующий опыт компьютеризации речи показывает, что ЭВМ может использоваться в двух основных качествах: 1) как техническое средство, иногда облегчающее создание классических видов словесности; 2) как средство, образующее новые виды словесности.

Как средство, облегчающее создание классических видов словесности, ЭВМ используется, например, для составления и размножения документов, как справочная информационная система, для облегчения редактирования печатной продукции, для управления деятельностью наборных автоматов, для расположения текста и изображения на поверхности листа, как средство точной записи и т. п. Во всех этих случаях продуктом или полупродуктом действий ЭВМ является либо устный текст, либо документ, либо книга, либо газета, либо чертеж, т. е. роды и виды словесности, существовавшие до ЭВМ.

ЭВМ, однако, образует новые виды словесности. К ним относятся: а) стандартные рефераты; б) системы информационного поиска, состоящие из списков ключевых слов и дескрипторов, кодов первичных текстов, исполненных на информационных языках, различных жанров словарей информатики, среди которых центральное место занимают тезаурусы; в) автоматизированные системы управления различными классами и, в частности, автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также трудовыми или иными социальными коллективами.

Информационный поиск и автоматизированное управление предполагают, что обобщается и используется массив знаний, рассеянный до этого в большом количестве первичных текстов. Следовательно, главное достоинство текстов информатики (будем называть текстами информатики весь словесный материал, характерный для информационного поиска и автоматизированного управления) заключается в их обобщающем характере.

Тексты информатики предназначены либо только для обобщения и кодификации большого массива культуры, либо для создания проектов управляющих решений на основании обобщения массива культуры. Следовательно, тексты информатики в целом обладают способностью расширить и углубить культурный потенциал личности за счет обобщения культуры. Тексты информатики мобилизуют информационные ресурсы общества [5].

В публикациях по общим проблемам информационных ресурсов общества [8], а также по вопросам организации образования и обучения [9—11] проводится мысль о том, что национальные информационные ресурсы и организация образования представляют собой две стороны одной медали и составляют основу материального благосостояния общества. Нель-

зя при этом забывать, что, как указывал К. Маркс, целью общественного развития является совершенствование человека, прежде всего его духовное совершенствование [12].

Таким образом, реформа школы и компьютеризация учебного процесса означают открытие доступа к информационным ресурсам советского общества, а через них к мировым информационным ресурсам для широких масс населения, т.е. практически для каждого лица, получившего среднее образование. В свете сказанного создание обучающих информационных систем для школы, по-видимому, должно основываться на более широком составе знаний, чем те, которые представляют сейчас содержание среднего образования. Компьютеризация школы, следовательно, означает расширение образования во всех тех областях, в которых оно проводится сегодня, в соответствии с реформой. В связи с этим педагогика стоит перед необходимостью по-новому сформулировать более широкие объемы учебных предметов и цели воспитания.

Что касается общей и прикладной филологии, то она стоит перед лицом решения следующих задач.

Первая задача. Расширение образования может быть произведено только на основании обобщения закономерностей истории формирования учебного предмета средней школы. Как показывает история педагогики, круг знаний, характеризующих среднее образование, складывается как закономерное развитие и расширение по сути дела одних и тех же предметов. Средневековые тривиум и квадривиум сохраняются в современном образовании во всех своих терминах (кроме богословских). Вместе с тем происходит развитие прежде содержавшегося в квадривиуме предмета философии, который делится на серию наук гуманитарного, естественного и математического циклов. При этом происходит постепенное расширение терминологического и понятийного аппарата [13—17]. Таким образом, весь цикл школьных знаний, поскольку он охватывает фундамент основных наук в их понятиях и терминах, оказывается более широким, чем круг знаний, даваемых любым специальным высшим образованием. Этот вывод, кажущийся парадоксальным при сравнении людей, имеющих высшее и среднее образование, может стать совершенно тривиальным в условиях энциклопедической компьютеризации учебных предметов школы. Следовательно, **первая задача** формирования компьютерных руководств для средней школы — это создание дескрипторов на основе истории и перспективы развития круга школьных знаний.

Второй задачей прикладной филологии в области школьного образования является проблема систематизации учебных предметов в связи с введением ЭВМ. Существующие сейчас обучающие системы прекрасно формируют навыки, особенно навыки производственного обучения (вождения автомобиля, управления техническими устройствами и т.п.). Однако обучающие системы пока недостаточно формируют знания. Это можно объяснить следующими причинами.

Тексты информатики имеют словарно-тезаурусный характер. Это значит, что тексты информатики дают систематическую картину мира. Современные информационно-поисковые тезаурусы являются отраслевыми. Они отражают картину мира в какой-либо частной отрасли человеческой деятельности (например, в кожевенном производстве), а также работу того или иного учреждения или предприятия (например, канцелярии МГУ).

Тексты информатики в школе должны также представлять собой тезаурус, но это должен быть тезаурус всех учебных предметов в целом.

Поскольку школа сообщает фундаментальные знания во всех областях культуры, данный тезаурус должен быть энциклопедическим тезаурусом³. Словарь-тезаурус, составленный по всей совокупности школьных руководств, даст сводку отправных, базовых понятий, на которых основано современное знание, он даст как бы истоки понятий любой науки и технической практики. Отсюда возможна детализация этих понятий до уровня профессионального знания, с одной стороны, и до уровня детализированных справок по предмету смежной специальности, с другой. Школьный тезаурус тем самым может быть использован как рубрикатор энциклопедического тезауруса или как основа для рубрикаторов отраслевых тезаурусов. Тем самым школьник, обученный пользоваться школьным тезаурусом, сможет легко перейти на диалог с информационными системами отраслевого характера или с информационными системами общего или энциклопедического характера⁴.

Построение тезауруса для школы означает, что вся совокупность учебных предметов получает систематическое толкование. Если до построения тезауруса система школьных знаний лишь планируется педагогикой, то построение тезауруса делает эту систему наглядной и, следовательно, проверяемой.

Поскольку школьный тезаурус представляет собой род учебных текстов, система школьных знаний становится эксплицированной и для учащегося. До тезауруса учащийся может хорошо знать отдельные предметы, но не владеть системой предметов как целым. Школьный тезаурус предполагает, что учащийся владеет прежде всего системой предметов как целым и во вторую очередь системами отдельных предметов. Это значит, что школьник получает определенную гносеологическую философскую подготовку. У него должна сформироваться единая картина мира. Эта единая картина мира относится не только к нравственному сознанию школь-

³ Попытки составить энциклопедический тезаурус имели место как у нас в стране, так и за рубежом. Эти попытки проводились словарными издательствами, занимающимися изданием энциклопедий. Подобные опыты на сегодня не имеют успеха, по-видимому, потому, что всякое новое издание энциклопедии преследует определенные идеологические задачи и в соответствии с этим в каждом новом издании меняется состав словника и состав толкований. Энциклопедии не представляют собой достаточно традиционного и общепризнанного обобщения фактов культуры. Это не удивительно, т. к. они содержат второй, более обширный круг обобщений в сравнении со школьными руководствами. В принципе энциклопедия — это тоже учебный текст, служащий, однако, не для нужд школы, а всего населения. Она есть факт общей, а не школьной дидактики. Общая и школьная дидактика между собой связаны тем, что состав знаний в школьной дидактике является как бы основой энциклопедии. Энциклопедия доступна читателю лишь на основании минимума школьных знаний.

⁴ Современный опыт внедрения системы информационного поиска показывает, что пользователь буквально сопротивляется внедрению таких систем. Такому сопротивлению можно найти ряд объяснений, например, неясность финансового статута информационных систем, неясности административного положения информационной службы и др. Но среди этих причин первое место, несомненно, принадлежит отсутствию навыка пользователя в диалоге с информационной системой. Оно не может быть преодолено только лишь знакомством с клавиатурой дисплея и с элементарными правилами программирования. Для того, чтобы пользоваться информационными системами, необходимо быть знакомым с принципами построения их лингвистического обеспечения, прежде всего с принципами построения информационного тезауруса. Без этого нельзя понимать устройства данного информационного тезауруса. Быстрота, оперативность и глубина информационного поиска зависят от того, насколько абонент системы владеет структурой информационного тезауруса. Любая информационная система, как всякий письменный текст, представляет собой неисчерпаемый источник информации. Объем и глубина информации, получаемой от информационной системы, зависят от того, насколько эффективно сопоставляются элементы информационной системы в процессе диалога системы.

ника, она является также гносеологическим инструментом получения знаний.

Третья задача прикладной филологии в области школьного образования предполагает использование школьного тезауруса для развития предметного преподавания с точки зрения установления межпредметных связей. Школьный тезаурус требует формирования нового типа контактов между содержанием руководств по отдельным учебным предметам, установления более тесного смыслового взаимодействия. Так, более четко прослеживаются связи между языком и литературой, литературой изящной и литературой научной, литературой и практической деятельностью в области производства, искусств, физической культуры. Отсюда становится понятным разделение труда между школьной устной речью (объяснениями преподавателя и ответами учащихся), учебными руководствами, задачками и учебными материалами, вводимыми с помощью ЭВМ. Устная учебная речь объединяет компьютерные и письменные руководства и упражнения. Письменные руководства и упражнения ориентированы на специализацию знаний.

Компьютерные руководства и упражнения направлены на интеграцию знаний, с одной стороны, и иллюстрирование и формирование навыков, с другой. Это значит, что между классическим руководствами и компьютерными занятиями существует семантическое различие. Оно не только не исчезнет в случае ведения диалога с информационной системой на естественном языке, но, напротив, семантическое различие одних и тех же слов текста на ЭВМ и в текстах книжной печати и рукописи возрастет.

Четвертая задача прикладной филологии заключается в построении семантических принципов диалога школьников с информационными системами.

Состав жанров автоматизированного диалога можно считать установившимся. Существует командный, информационный, обучающий, внутренний и так называемый диалектический жанры диалога. Каждый из них отличается от другого составом и последовательностью минимально необходимых реплик в процессе общения человека с ЭВМ. Общение человека с ЭВМ происходит по-разному во всех пяти жанрах в зависимости от того, какими текстами располагает информационная система.

Как известно, информационная система может располагать классическими письменными или устными текстами, например, научной литературой, документами, газетными текстами и т. д. Могут вестись операции по составлению таких текстов с помощью ЭВМ, анализу, переводу с языка на язык и др., т. е. все то, что может делать индивидуальный носитель языка без участия информационной службы. К компьютерным текстам относится и другой род текстов — это тексты, созданные информационной службой. Речь идет о текстах реферативного обслуживания, информационного поиска, автоматизированного управления и текстах обучающих систем (тексты информатики). Диалог с ЭВМ производится по-разному во всех пяти жанрах в зависимости от того, с каким видом текстов имеет дело абонент.

В программу средней школы в качестве одного из центральных компонентов обучения школьников должно входить обучение мастерству диалога с ЭВМ. Мастерство диалога с ЭВМ — это не просто владение языками программирования, а умение раскрыть семантические возможности информационных систем и семантические возможности классических текстов. Учащиеся должны глубоко освоить словесную смысловую структуру деловой прозы (в деловую прозу входят документы, научно-техническая

литература, тексты информационных систем). Для этого их следует научить правилам составления, чтения и понимания деловой прозы.

Пятая задача прикладной филологии состоит в исследовании и разработке контактов языковых и неязыковых семиотических систем в процессе школьного обучения. Как известно, компьютер располагает возможностями формирования графических и музыкальных образов. Формирование графических образов производится на компьютере существенно более легким способом, чем исполнение чертежей от руки. Кроме этого, компьютерная графика располагает собственными возможностями формирования изображений, записи нот, создания движущихся изображений. Она может записывать и озвучивать нотный текст. Все это предполагает использование компьютеров в процессе трудового и эстетического воспитания и даже преподавания физической культуры. Особое место при этом занимает проблема своеобразного диалога с ЭВМ при формировании технической семиотики.

Все это указывает на необходимость определенной перестройки навыков, прежде всего в области технической семиотики (трудовое воспитание и обучение), а также и в эстетическом и физическом воспитании. Но эта проблематика касается прикладной и общей филологии только частично. Прикладная и общая филология должны исследовать и разработать только контакты между словом и текстом, с одной стороны, и несловесными и нетекстовыми искусстваами, с другой. Эта разработка важна, т.к. слово и язык являются единственной и распорядительной семиотической системой.

И последнее. Компьютеризация школы означает не только использование ЭВМ в учебном процессе, но и использование ЭВМ в организации учебного процесса. Современная организация учебного процесса в низовом звене оказывается весьма сложной. Документооборот школы исчисляется несколькими десятками разновидностей документов. Таким образом, управление в низовом звене самой средней школы занимает слишком много времени. Это время отрывается от учебного процесса. Преподаватели, завуч, директор школы расходуют значительное время на этот документооборот. Если учесть, что каждый документ требует определенного объема устной речи, то это значит, что управляющая речь в школе чрезмерно велика. Учебный процесс по объему времени становится рядоположенным с управлением учебным процессом. Отсюда необходима разработка АСУ — школы, которая позволит автоматизировать многие части этого документооборота и сократить объемы административной речи.

Эти шесть задач общей и прикладной филологии должны найти отражение в построении как фундаментального, так и вузовского циклов филологических наук. Школьная практика всегда влияла на академические филологические знания, и в свою очередь, обогащалась ими.

ЛИТЕРАТУРА

1. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: Сб. документов и материалов. М., 1984.
2. Кошанский Н. Ф. Частная реторика. СПб., 1832. С. 138.
3. Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Основы научной информации. М., 1985. С. 49—162.
4. Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Научные коммуникации и информатика. М., 1976.
5. Громов Г. Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. М., 1985.

6. Рождественский Ю. В. Введение в общую филологию. М., 1979. С. 208—219.
7. Психологические проблемы создания и использования ЭВМ. М., 1985.
8. Рейзема Я. В. Информационный анализ социальных процессов. М., 1982.
9. Бабанский Ю. К. Школа в условиях информационного взрыва // Перспективы. Вопросы образования. 1983. № 2.
10. Еринов А. П. Программирование — вторая грамотность. Новосибирск, 1981.
11. Научно-технический прогресс и система образования (Великобритания, США, ФРГ, Франция, Швеция): Сб. обзоров. М., 1985.
12. Маркс К. Капитал. Т. III // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 387.
13. Журавовский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1963.
14. Шмидт К. История педагогики. Т. 1—4. М., 1877—1881.
15. Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII—XIX вв.). СПб., 1912.
16. Королев Ф. Ф., Корнейчук Т. Д., Равкин З. И. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1921—1931. М., 1961.
17. Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабалова М. Ф. История педагогики. М., 1983.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

ГЛОТТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ: НОВАЯ ПАРАДИГМА В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ СРАВНИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Применение принципов языковой типологии и лингвистических универсалий к теоретическим постулатам сравнительно-исторического языкознания и языковой реконструкции требует переформулировки целей и задач исторической лингвистики вообще и языковой реконструкции — в частности.

Принцип типологической вероятности (как в синхронии, так и в диахронии) постулированной модели праязыка дает возможность по-новому подойти к изучению проблем сравнительного языкознания и делает необходимым пересмотр традиционных взглядов на реконструируемые праязыковые системы, в частности в праиндоевропейском и входящих в него родственных диалектах. На основе сравнительных и типологических данных традиционная тернарная система праиндоевропейских смычных должна получить новое фонологическое истолкование, в связи с чем традиционные «чистые (простые) звонкие» следует интерпретировать как г л о т т а л и з о в а н н ы е.

Три серии смычных, в свете новой интерпретации, должны состоять из: I. глоттализированных, II. звонких (-аспират), III. глухих (-аспират), причем аспирация в данном случае является фонетически релевантным, но фонематически избыточным признаком. Такая ревизия консонантизма известна в современной индоевропеистике как Г л о т т а л ь н а я т е о р и я и рассматривается как новая парадигма в индоевропейском сравнительном языкознании (в смысле Томаса Куна) [1] ¹ (табл. на с. 27).

Глоттальная теория по-новому рассматривает праиндоевропейскую языковую модель и ее диахронические преобразования в исторически представленных и.-е. языках. С точки зрения Глоттальной теории эти преобразования полностью отличаются от тех, которые традиционно постулируются. Архаичный инвентарь и.-е. смычных оказывается более близким к инвентарю тех языков, где, в соответствии с традиционными взглядами, произошли поздние сдвиги согласных, или *Lautverschiebung* (германский, армянский, хеттский). С другой стороны, оказывается, что языки, традиционно считающиеся фонологически консервативными (особенно древнеиндийский), претерпели сложные фонемные преобразования консонантизма. Типологический подход к языковой реконструкции требует радикальной реинтерпретации всех основных положений, полученных в результате сравнительного изучения и.-е. языков. Следует в этой связи

¹ Американский ученый Ф. Болди выразил это следующим образом: «...ясно, что глоттальная теория является новой парадигмой в индоевропейском языкознании и сравнима по своей значимости с ларингальной теорией. Когда эта теория будет принята, потребуются полная переформулировка всех основных положений индоевропеистики... Тот факт, что принятию этой теории потребует радикальной переработки всех словарей и стандартных пособий, а также отказа от таких освященных временем „любимцев“ индоевропеистов, как закон Гримма и армянское передвижение согласных, просто не может служить причиной для отказа от этой теории» [1].

Три серии праиндоевропейских смычных

Традиционная система			→	Реинтерпретированная по Глоттальной теории система		
I	II	III		I	II	III
(b)	bh	p		(p')	bh/b	ph/p
d	dh	t		t'	dh/d	th/t
g	gh	k		k'	gh/g	kh/k
g	gh	k		k̃'	g̃h/g̃	k̃h/k̃
g ^w	g ^w h	k ^w		k'°	gh°/g°	kh°/k°

привести слова В. Лемана: «То, что казалось наиболее прочным достижением лингвистики XIX в., сейчас должно быть изменено по всем параметрам» ([2]; ср. [3]). Такая реинтерпретация основных положений индоевропеистики, добытых на основе применения сравнительно-исторического метода, была предпринята нами совместно с Вяч. В. Ивановым в специальной монографии ([4], ср. [5]).

Критика, направленная против Глоттальной теории, касается главным образом принятой методики языковой реконструкции, которая некоторыми учеными называется типологической реконструкцией в отличие от традиционной, рассматриваемой как сравнительная реконструкция: последняя преподносится в качестве единственной имеющей право на существование процедуры языковой реконструкции. Использование для этих целей типологии считают «чистым заблуждением» [6].

Представляется, что это обусловлено неправильным пониманием целей и задач языковой реконструкции вообще и индоевропейской реконструкции — в частности. Не существует такой процедуры, как типологическая реконструкция, принципиально противопоставляемая сравнительной или внутренней реконструкции. Современные методологические предпосылки языковой реконструкции по необходимости требуют принятия во внимание типологических соображений в процессе сравнительной и внутренней реконструкции. Любая языковая реконструкция должна быть основана на сравнительных данных. Однако в то же время необходимо принимать во внимание и типологическую вероятность (как в синхронии, так и в диахронии) лингвистической системы, которую удастся установить на основе сравнительной и внутренней реконструкции. Выражаясь иначе, сравнительная реконструкция должна идти рука об руку с типологией и языковыми универсалиями. В противном случае мы получим на основе сравнительной реконструкции систему, которая лингвистически маловероятна и представляет исключение по отношению к типологически достоверным языковым данным. Следовательно, в диахронической лингвистике мы должны говорить исключительно о сравнительной языковой реконструкции, дополняемой в некоторых случаях внутренней реконструкцией праязыковых моделей, а типология и языковые универсалии являются в сущности лишь критериями проверки правильности тех или иных реконструкций.

Типологические проверенные лингвистическим моделям, полученным на основе сравнительной и внутренней реконструкции, следует отдавать предпочтение перед типологически редкими и маловероятными моделями, которые теоретически также можно постулировать на основе языкового сравнения. Среди различных теоретически возможных моделей лингвистической реконструкции, полученных с помощью гене-

тического сравнения родственных диалектов, в свете типологических критериев предпочтение должно быть отдано только одной модели, рассматриваемой в качестве наиболее достоверной и реалистичной лингвистически и дающей возможность объяснить целый ряд исторических фактов, которые не поддаются удовлетворительной интерпретации с точки зрения прочих реконструированных моделей.

Все эти соображения следует положить в основу процедуры сравнительной и внутренней реконструкции, при которой должное внимание следует уделять типологическим критериям лингвистической достоверности теоретически постулируемых лингвистических моделей, которые в первом приближении будут отражать праязыковую систему, существовавшую в пространстве и времени.

Если бы реконструируемая языковая прасистема с очень редкими и исключительными характеристиками оказалась бы исторически засвидетельствованной, возникла бы необходимость дать объяснение ее особых структурных признаков и допустить определенные более ранние стадии ее развития, позволяющие объяснить своеобразные и типологически исключительные черты этой системы. Это было бы методологически необходимой процедурой объяснения типологического своеобразия исторически засвидетельствованной языковой системы, которая выступала бы в качестве прасистемы по отношению к группе родственных диалектов.

Именно это и делается некоторыми учеными с целью любыми способами оправдать своеобразные структурные характеристики традиционно реконструируемого консонантизма праиндоевропейской языковой системы, состоящей из трех рядов смычных — чистых смычных, звонких аспират, глухих. При этом почему-то считается само собой разумеющимся, что перед нами не теоретически постулируемый лингвистический конструкт, а исторически засвидетельствованная реальная языковая система, структурные своеобразия которой следует каким-то образом оправдать и объяснить.

Нам представляется, что исходную систему смычных в индоевропейском не следовало с самого начала постулировать в том виде, в каком она была традиционно представлена, поскольку такая модель была обусловлена чистой исторической случайностью, возникшей под влиянием древнеиндийской системы, в свое время считавшейся образцом, и в связи с отсутствием у основателей сравнительного языкознания строгой методологии реконструкции.

В самом деле, какой элемент следует постулировать для прасистемы в ряду фонемных соответствий $d:d:d:d:t:t$ и т. д. — $*d$, $*t$ или какой-то третий элемент, отличный от двух исторически засвидетельствованных? Логически следует допустить все три возможности, ибо ни один из этих элементов а priori не исключен. Решение в подобных случаях должно основываться полностью на типологических соображениях с целью реконструировать такую языковую систему, которая в целом была бы лингвистически наиболее вероятной и достоверной, не представляющей исключения по отношению к общей массе типологических данных. Вот почему в этом ряду соответствий предпочтение следует отдать постулированию для праиндоевропейской системы такого элемента, который фонематически является глухим и характеризуется дополнительным различительным признаком глоттализации².

² Постулирование глоттализированных смычных для протоиндоевропейского вызвало возражение в связи с отсутствием в праиндоевропейской системе сибилантных аф-

Постулирование глоттализированных вместо традиционных звонких смычных, кроме того, дает возможность объяснить отсутствие звонких (*mediae*) в праиндоевропейских флексиях. В позиции конца слова представлены только *-*d* в местоимениях среднего рода и *-*od* в аблативе ед. числа, хотя здесь не исключена возможность определенной нейтрализации [11, с. 44].

На то же самое указывает и типологически достоверная интерпретация распределения частотности праиндоевропейской системы трех серий фонем. Статистические данные, приводимые Жюкуа [10], показывают следующие частотные характеристики рассматриваемых фонемных серий:

Серия I —	6,2%
Серия II —	8,9%
Серия III —	17,7%.

С типологической точки зрения вполне очевидно, что серия звонких смычных в фонемной системе, будучи менее маркированной, чем соответствующая серия звонких аспиратов, не может характеризоваться более низкой частотностью по сравнению с последней. При реинтерпретации Серии I как серии эктивных показатели частотности указанных трех серий в праиндоевропейской системе вполне согласуются с установленными типологически показателями частотного распределения глоттализированных согласных по отношению к другим фонемным сериям в языковой системе.

То же, видимо, справедливо и для интерпретации распределения частотности праиндоевропейских смычных с различным местом артикуляции. Здесь, согласно статистике Жюкуа, традиционные чистые звонкие смычные — наиболее частотны, а звонкие аспираты — наиболее многочисленны:

	Звонкие	Звонкие аспираты	Глухие
Лабиальные	0	129	143
Лабовелярные	37	12	18

Эти числовые данные можно также, вполне естественно, обосновать, если постулировать эктивы вместо чистых звонких смычных. Независимо проведенные типологические исследования дали возможность

ффрикат. Такое возражение предполагает существование универсалии, согласно которой наличие в системе сибилантных аффрикат имплицитруется наличием в инвентаре глоттализированных смычных.

Сибилантные аффрикаты широко распространены в языках мира либо в совокупности с глоттализированными смычными, либо без них [7, 8]. Единственная импликационная универсалия, соотносящая глоттализированные смычные с аффрикатами, могла бы быть сформулирована следующим образом: если язык, имеющий глоттализированные смычные, в то же время характеризуется наличием сибилантных аффрикат, то один из рядов аффрикат также будет глоттализированным. Это значит, что в подсистеме сибилантных аффрикат можно ожидать наличие глоттализированных аффрикат типа *c'*, *ɟ'* в связи с присутствием в инвентаре глоттализированных смычных *p'*, *t'*, *k'*. Обратное, однако, неверно, т. е. существование глоттализированных фонем в подсистеме смычных не имплицитует само по себе наличие аффрикат. В качестве примеров фонемных систем, имеющих в своем составе глоттализированные смычные, но не имеющих аффрикат, можно указать на следующие: геес (Эфиопия), капеу (район Индийского и Тихого океанов: юго-западная Гвинея,) майду (пенутийская семья: сев. Калифорния), нэ персеэ (пенутийская семья: Айдахо). Однако системы с одновременным наличием как глоттализированных смычных, так и аффрикат намного более обычны в связи с широким распространением сибилантных аффрикат в фонемном инвентаре различных языков мира [9]. Даже праиндоевропейский, как полагает Венеман [10], возможно, обладал сибилантными аффрикатами — по крайней мере, в виде аллофонов.

установить, что серия глоттализированных согласных, будучи в целом более маркированной (рецессивной) *p*, следовательно, менее многочисленной, чем другие консонантные серии в фонемной системе, тем не менее хорошо представлена в велярной и лабиовелярной точке артикуляции и, таким образом, превосходит по частотности серии звонких и глухих, артикулируемых в этих точках: $N(k', k'') > N(k, k'', g, g'')$ [13]. Все это вполне согласуется с естественными фонетическими характеристиками рассматриваемых фонем и лишний раз указывает на необходимость рассматривать традиционные *mediae* как глоттализированные согласные или эктивы [14].

В некоторых работах рекомендуется даже оправдать и «спасти» традиционный и.е. консонантизм, как будто это — исторически засвидетельствованная система, а не гипотетический конструкт, как и любая другая лингвистическая реконструкция; рекомендуют рассматривать чистые звонкие смычные с сильно маркированным либиальным $*b^3$ и весьма обычным, немаркированным велирным $*g$ в качестве результата преобразования более ранней системы на доиндоевропейской стадии, для которой постулируются звонкие импловзивные.

Выдвижение новых концепций и альтернативных теорий для праиндоевропейского стало очень популярно в последнее десятилетие после того, как нами в 1972 г. и П. Хоппером в 1973 г. была выдвинута Глоттальная теория⁴. Что касается постулирования «звонких импловзивных»

³ В своей недавней попытке подвергнуть критике Глоттальную теорию О. Семереньи пытается отклонить положение о том, что в праиндоевропейском отсутствовал звонкий лабиальный $*b$. Он ссылается при этом на формы с *b* в срединной позиции в словах типа лат. *lūbricus*, *lūbo*, гот. *diups*. О. Семереньи допускает, что «в начальной позиции $*b$ встречается редко, если встречается вообще, но в срединной позиции оно активно представлено» [15, с. 12]. Однако такая «активная представленность» $*b$ в срединной позиции ограничивается главным образом западными («древнеевропейскими») диалектами, а это ставит под сомнение его праиндоевропейский характер. Даже признавая некоторые случаи наличия лабиальной фонемы в праиндоевропейской Серии I (традиционный звонкий $*b$), мы должны все-таки говорить о его высокой маркированности, а это является достаточным типологическим основанием для рассмотрения всей серии как состоящей из глухих, особенно из глоттализированных или эктивных (смычно-гортанных). Далее, рассматривая ограничения состава корня в праиндоевропейском, О. Семереньи пытается объяснить с традиционной точки зрения ограничение [звонкий придыхательный] — [глухой] и [глухой] — [звонкий придыхательный] на основе ассимиляции (между прочим, это совпадает и с нашим объяснением в свете Глоттальной теории), но автор оставляет необъясненным ограничение [звонкий] — [звонкий], поскольку оно не находит удовлетворительного объяснения в традиционной теории. Кроме того, почему следует допускать ассимиляцию в [звонкий придыхательный] — [глухой] и [глухой] — [звонкий придыхательный] в то время, как ассимиляция отсутствует в [звонкий] — [глухой] и [глухой] — [звонкий]? Поразительно, что в своих рассуждениях о глоттализированных смычных автор даже не упоминает классическую работу Гринберга [16], где он мог бы найти ответы на многие из поднятых вопросов. Читая работу О. Семереньи, нельзя избавиться от впечатления, что один из первых сторонников «нового взгляда» на праиндоевропейский (хотя в данном случае нельзя отметить каких-либо положительных результатов, поскольку О. Семереньи предлагает вернуться к четырехрядной модели праиндоевропейского консонантизма Бругмана) отказался от своего прежнего подхода к теоретическим проблемам реконструкции и пытается в то же время отвергнуть без какой-либо удовлетворительной мотивировки любые попытки других ученых следовать по тому же теоретическому пути.

⁴ С другой стороны, некоторые сторонники Глоттальной теории, даже те, которые внесли больший или меньший вклад в ее разработку и развитие и основывают свои реконструкции на посылах этой теории, даже не чувствуют себя обязанными назвать по имени своих предшественников — ее создателей. Процедура проста. В ранних статьях некоторых авторов, где высказывается одобрение нашей теории и согласие со взглядами ее создателей относительно первоначально глоттального характера традиционных праиндоевропейских чистых звонких смычных и со всеми вытекающими отсюда следствиями, авторы этой теории называются по имени. Однако в последующих своих работах, посвященных праиндоевропейским глоттализированным и истории их

в доиндоевропейском вместо глоттализированных смычных, как это предложено Хайдером в 1985 г. [19], то необходимо указать, что ряд «звонких имплозивных», как показал Гринберг в 1970 г., характеризуется тем же иерархическим соотношением маркированности или доминантности, что и «чистые звонкие» смычные (немаркированные — доминантные — лабиальные: маркированные — рецессивные или полностью отсутствующие — велярные элементы). Это находится в противоречии с данными о сериях традиционных «чистых звонких смычных» в праиндоевропейском, куда входили сильно маркированный лабиальный *b и немаркированный велярный *g. Праиндоевропейские «звонкие имплозивные» просто не могли дать того, что традиционно известно в и.-е. как серия «чистых (простых) звонких смычных»⁵.

Постулирование более ранних стадий с различными видами фоном для праиндоевропейского, призванных объяснить типологические неувязки традиционной системы, восходит к первой попытке реинтерпретировать классическую систему, предпринятой Х. Педерсеном в 1951 г. [20]. Педерсен предлагал внести такие изменения на доиндоевропейской стадии (Vorindoeuropäisch), оставив нетронутой традиционную систему праиндоевропейского (Gemeinindoeuropäisch). Подобные внутренние реконструкции различных типологически допустимых доиндоевропейских стадий оставляют необъясненным факт перехода от таких предположитель-

постулирования, ссылаются не на оригинальную работу первых создателей теории, а на свои собственные статьи, опубликованные ранее, что создает ложное впечатление и оставляет читателя в неведении относительно истинных авторов Глоттальной теории. В отличие от подобной практики хотелось бы сослаться на недавнюю фундаментальную работу М. Майрхофера, посвященную сравнительной и.-е. фонологии [17]. В этой работе дается объективная картина развития праиндоевропейских фонологических исследований (ср. также блестящую лекцию М. Майрхофера об и.-е. сравнительной лингвистике [18]), в которой автор рассматривает историю и.-е. языкознания как некоторый процесс постепенного отхода от древнеиндийского в качестве модели для праиндоевропейского. М. Майрхофер выделяет пять этапов в таком развитии и.-е. сравнительных исследований с начала XIX в. и до наших дней: Шлегель — Шлейхер — закон палатализации — ларингальная теория — глоттальная теория.

⁵ Представляются неприемлемыми попытки объяснить этот факт на основе изменения постулированного доиндоевропейского имплозивного *b в праиндоевропейский *m [19, с. 12]; при этом допускается, что *d и *g изменились в праиндоевропейские *d, *g соответственно. Это оставляет лауну в новом ряду праиндоевропейских звонких смычных, а именно в билабиальной точке, которая, между прочим, является наиболее обычной точкой артикуляции ряда звонких смычных, как и ряда «звонких имплозивных» (рассмотрение весьма спорного праиндоевропейского корня *bel- «сила» в качестве примера звонкого *b в праиндоевропейском, конечно, не может спасти положение).

Независимо от этого постулирование «звонких имплозивных», даже для доиндоевропейского периода, оставляет необъясненным ограничение, налагаемое на структуру корня и исключающее одновременное наличие в корне двух звонких смычных (корни типа *deg-), что является одной из наиболее заметных типологических неувязок классической праиндоевропейской системы. Этот «запрет» естественно объясняется фонетически при допущении правила невозможности одновременной представленности двух глоттализированных согласных, что является глубоко фундаментальной типологической закономерностью в противовес тезису об одновременной встречаемости «звонких имплозивных».

Хайдер считает, что постулирование глоттализированных согласных создает непреодолимые трудности в связи с наличием редупликаций типа греч. *di-dō-mi*, др.-инд. *da-dā-mi* [19, с. 8]. Однако если даже считать этот тип глагольной редупликации праиндоевропейским по происхождению, не представляет никакой трудности постулировать праиндоевропейскую структуру *t'V-t'oH-* с двумя гомоганними глоттализированными смычными, следующими друг за другом. Дело в том, что типологический «запрет» касается тенденции невозможности одновременной представленности двух гетероганних глоттализированных смычных, а два гомоганние глоттализированные смычные согласные могут свободно комбинироваться в словоформе.

но стабильных конфигураций к весьма нестабильной системе, известной под названием традиционного праиндоевропейского, которая позднее якобы опять преобразовалась в типологически стабильные системы исторических и.-е. диалектов⁶.

Можно было бы назвать все эти «вновь изобретенные» конструкты заблуждением, возникшим в результате попыток любой ценой «спасти» традиционный взгляд на праиндоевропейский, несмотря на то, что проти-

⁶ Подобная нестабильная и «менее экономная» традиционная праиндоевропейская система допускается также индоевропеистом и арменистом А. Писовичем, который пытается «опровергнуть» Глоттальную теорию на основе данных армянского языка [21]. Свое «опровержение» глоттальных в праиндоевропейском Писович, как это ни странно, основывает на анализе «звонких аспират» в современных армянских диалектах, которые он считает «шепотными согласными». Не вступая с ним в спор относительно фонетического характера этих согласных в современных армянских диалектах, мы по-прежнему придерживаемся взгляда, что эти звуки, наряду с чистыми звонкими смычными, являются аллофонами отдельных фонем, которые можно охарактеризовать как «звонкие смычные», ибо они находятся в дополнительной дистрибуции и обнаруживают неодинаковые модели в разных армянских диалектах. Основным вопросом здесь является дополнительность дистрибуции, а не модели распределения. При этом мы вовсе не хотим сказать, что дистрибуция «аспираты в начальной позиции — не-аспираты в средней позиции» является релевантной особенно для диалекта Джульфы, как это описано У. С. Алленом [22]. На статью У. С. Аллена мы ссылаемся в своей монографии в связи с общей концепцией дополнительности дистрибуции звонких аспират — не-аспират в современных армянских диалектах (ср. с. 42 нашей книги). Что же касается конкретной дистрибуции «аспираты в начальной позиции — не-аспираты в средней позиции» в современных армянских диалектах, то она верна не для Джульфы, а для ряда других современных армянских диалектов, например, диалектов в районе Арабата и др. Однако все это не имеет никакого отношения к постулированию глоттальных в праиндоевропейском, а относится только к статусу «звонких аспират» в армянском. По этому вопросу Писович обнаруживает большую приверженность традиционным взглядам. Статус «звонких аспират» можно интерпретировать диахронически в двух направлениях — как сохранение аспирации или ее более позднее развитие в армянских диалектах. Это последнее допущение — менее правдоподобно в связи с отсутствием в языковом окружении армянского языков, обладающих звуками этого типа, независимо от того, называть ли их в рамках фонетической терминологии «звонкими аспиратами» или смычными с «дифинизированным» произношением, как предлагает Писович.

Писович поднимает еще один вопрос, который, по его мнению, поддерживает традиционные воззрения на праиндоевропейские смычные в отличие от Глоттальной теории. Речь идет о развитии праиндоевропейской последовательности **du-* (т. е. **t'u-*) в *-erk-* в армянском. При этом он, как кажется, игнорирует богатую литературу, посвященную этому вопросу. В этой литературе разъясняются различные пути такого развития, в частности, постулируется глухая последовательность *-tu-*, которая непосредственно дает глухой *k*, минуя промежуточную ступень утраты звонкости *g > k*, возникающую в результате сдвига согласных в армянском (этому сдвигу не подвержены ясные примеры со звонкой фонемой *y*, возникающей из *y*, (ср.: *gini* «вино», *get* «вода», *kogî* «масло» и др.); последнюю литературу вопроса см. [15, 23]. Я считаю ненужным подробно останавливаться здесь на устаревших и поверхностных соображениях Писовича относительно фонетического характера глоттальных согласных — экзистивов и инъективов, относительно глухого характера глоттализированных смычных и т. д. и т. п. Этот вопрос подробно разбирается в нашей монографии. Я бы посоветовал автору обратиться в этой связи к статье Гринберга 1970 г., специально посвященной глоттальным смычным, поскольку он, как кажется, с ней не знаком [16].

Другой арменист, Г. Б. Джаукян, также скептически относится к Глоттальной теории, главным образом в связи с неверно понятым статусом фонемы **b* в праиндоевропейском (ср. [24]). Достаточно сказать, что Джаукян, критикуя Глоттальную теорию, продолжает приводить примеры типа др.-инд. *pibati*, лат. *bibit* и т. д. в качестве иллюстрации нормальной дистрибуции звонкого **b* в праиндоевропейском (!). Его недавняя статья не прибавляет ничего нового к его более ранним возражениям против постулирования глоттальных в праиндоевропейском. Это, как отмечено в нашей монографии, является свидетельством отсутствия адекватного понимания тех проблем, которые встают при типологическом подходе к сравнительной реконструкции праиндоевропейского.

воречивость и недостатки классической и.-е. парадигмы становятся все более очевидными в современных сравнительно-исторических исследованиях и.-е. языков.

Следует указать, что Глоттальная теория с самого начала была поддержана рядом ученых, особенно молодыми, которые в свете новой теории предложили интересные объяснения фонетического развития отдельных и.-е. диалектов (ср. особенно [25—28]). Однако в настоящее время мы должны признать — более чем через десятилетие после первой публикации основных положений этой теории в 1972 г. — что хотя она и была принята рядом выдающихся ученых (М. Майрхофером, В. П. Леманом, Э. Полеме, А. Мартине и др.), ее с трудом восприняли некоторые индоевропеисты более старого поколения. Это вполне понятно психологически и еще раз свидетельствует о том, что Глоттальная теория является новой парадигмой в индоевропеистике. Более консервативное старшее поколение не склонно обычно расставаться со старыми и привычными взглядами и идеями и предпочитает работать в рамках традиционной, освященной временем и, следовательно, более обычной парадигмы, несмотря на то, что ее противоречивый характер становится все более очевидным (в этой связи можно было бы вспомнить и известный принцип Макса Планка).

В заключение можно было бы привести слова одного из наиболее ранних проповедников Глоттальной теории — американского лингвиста П. Хоппера. Размышляя о стратегии тех индоевропеистов, которые её еще не приняли, он писал: «Будут ли они пытаться показать, что фактические данные, на которых строится теория, неверны (ограничения, налагаемые на структуру корня, дистрибуция *b, морфофонемика *mediae*, различия в частотности точек артикуляции)? Попытаются ли они утверждать, что фактические данные верны, но нерелевантны? Или эти данные соотносимы с какими-то другими типологическими фактами? Будут ли они утверждать, что эта теория достоверна, но применима лишь к доиндоевропейскому и может благодушно игнорироваться индоевропеистами? Оporочат ли они сам метод внешней реконструкции в надежде, что данные, полученные на основе внутренней реконструкции, не могут служить для обоснования теории? Возможно, с другой стороны, те, кто работает в традиционном ключе, найдут для себя более удобным игнорировать радикальные ревизии, которые были предложены за последнее десятилетие, в надежде, что эти новшества сами собой отпадут, оставшись незамеченными (что мало вероятно), или что принятие предложенных изменений все большим числом ученых не будет иметь никаких существенных последствий для осмысления праиндоевропейского (еще менее вероятная возможность)» [14].

Можно выразить убеждение, что Глоттальная теория как новая парадигма в и.-е. сравнительном языкознании со временем приобретет еще больше сторонников среди индоевропеистов всех поколений, что в свою очередь явится мощным импульсом дальнейшему развитию и.-е. сравнительных штудий. Это сделает такие исследования более ориентированными на теорию и значительно расширит их культурно-исторические горизонты.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Baldi Ph.* // General linguistics. 1981. V. 21. № 1. Rec.: Festschrift for O. Szemerenyi on the occasion of his 65-th birthday. Amsterdam, 1981.
2. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology. Austin, 1983.

3. *Lehmann W. P.* Reflexes of PIE // *Linguistics across historical and geographical boundaries*. V. 1: Linguistic theory and historical linguistics. Berlin, 1986.
4. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. Тбилиси, 1984.
5. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // *Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы*. М., 1972.
6. *Dunkel G.* Typology versus reconstruction // *Bono homini donum. Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns* / Ed. by Arbeitmann Y. L. and Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
7. *Ruhlen M.* The geographical and genetic distribution of linguistic features // *Linguistic studies offered to J. Greenberg on the occasion of his sixtieth birthday*, Saratoga, 1977.
8. *Maddieson I.* Patterns of sounds. Cambridge, 1984.
9. *Ruhlen M.* A guide to the languages of the world. Stanford, 1975.
10. *Vennemann Th.* Phonological and morphological consequences of the «Glottalic theory» // VII International Conference for historical linguistics. Pavia, 1985.
11. *Hopper P.* The typology of Proto-Indo-European segmental inventory // *JIES*. 1977. V. 5. № 1.
12. *Jacquois G.* La structure des racines en indo-européen envisagée d'un point de vue statistique. Wetteren, 1966.
13. *Меликишвили П. Г.* К изучению иерархических отношений фонологического уровня // *ВЯ*. 1974. № 3.
14. *Hopper P.* Areal typology and the early Indo-European consonant system. N. Y., 1982.
15. *Szemerényi O.* Recent developments in Indo-European linguistics // *Transactions of the Philological Society*. L., 1985.
16. *Greenberg J.* Some generalizations concerning glottalic stops, especially implosives // *IJAL*. 1970. V. 36.
17. *Mayrhofer M.* Indogermanische Grammatik. Bd. I. Halbband 2: Lautlehre (Segmentale Phonologie des Indogermanischen). Heidelberg, 1986.
18. *Mayrhofer M.* Sanskrit und die Sprachen Alteuropas. Zwei Jahrhunderte des Widerspiels von Entdeckungen und Irrtümer // *NAWG*. 1983. № 5.
19. *Haider H.* The fallacy of typology. Remarks on PIE stop-system // *Lingua*. 1985. V. 65.
20. *Pedersen H.* Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute. København, 1951.
21. *Pisowicz A.* Objections d'un arménologue contre la Théorie glottale // *Folia Orientalia*. 1987.
22. *Allen W. S.* Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker // *Transactions of the Philological Society*. L., 1950.
23. *Vennemann Th.* Syllable-based sound changes in Early Armenian // *Annual of Armenian linguistics*. 1986. V. 7.
24. *Джаукян Г. Б.* О так называемой глоттальной теории в индоевропеистике // *ВДИ*. 1986. № 3.
25. *Bomhard A. R.* An outline of the historical phonology of Indo-European // *Orbis*. 1975. T. XXIV. № 2.
26. *Normier R.* Idg. Konsonantismus, germ. «Lautverschiebung» und Vernersches Gesetz // *KZ*. 1977. 91. Hf. 2.
27. *Kortlandt F.* Historical laws of Baltic accentuation // *Baltistica*. 1977. XIII. 2.
28. *Vennemann Th.* Hochgermanisch und Niedergermanisch. Die Verzweigungstheorie der germanisch-deutschen Lautverschiebung // *PBB*. 1983. 106. Hf. 1.

ГОЛОВАНЕВСКИЙ А. Л.

СОЦИАЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ОЦЕНОЧНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Социальная дифференциация распространяется в различной мере на все уровни языка, но наиболее ощутимо проявляется в лексике. Под социальной дифференциацией лексики следует понимать не только параллельное с общелитературным языком существование словарей отдельных социальных и профессиональных групп, профессиональные лексические системы, групповые или корпоративные жаргоны деклассированных, условные языки ремесленников-отходников, торговцев и близких к ним социальных групп [1], но и ту часть общелитературного словаря, которая, не имея иных лексических параллелей (диалектизмов, жаргонизмов...), в результате употребления в языке классово неоднородного общества семантически противопоставляется по социально-идеологическим признакам. Основу такой лексики составляет общественно-политическая лексика (ОПЛ) — слова и термины общественно-политического содержания.

Пожалуй, первым из русских лингвистов обратил внимание на эту лексику И. А. Бодуэн де Куртене. М. Фасмер в 1905 г. в речи, посвященной 60-летию своего учителя, заметил, что Бодуэн, «кроме *психической* стороны языка», отмечает «и сторону *социальную*» [2]. Позже Л. В. Щерба конкретизировал это замечание М. Фасмера: «Он всю жизнь собирал материалы по дифференциации языка по классам, сословиям и т. д.» [3]. Наблюдения Бодуэна над социальной дифференциацией лексики, получившие теоретическое обоснование и практическое воплощение в редакции 3-го издания «Толкового словаря» В. И. Даля, дополненные работами М. М. Покровского и других лингвистов, позволяют относить «обостренный интерес к социальной дифференциации языковых явлений... к числу национальных традиций русского языкознания» [4].

Социальная дифференциация языка зависит от уровня социально-классового расслоения общества [5, с. 212]. Эта зависимость своеобразно сказывается на истории развития ОПЛ.

Социально-дифференцированная ОПЛ на ранних этапах своего становления, совпадающих с начальным периодом в истории литературных языков, отражает расслоение общества на те или иные социальные группы, т. е. является первым языковым отражением существующих социально-экономических отношений без какой-либо оценки. Этот общественно-политический разряд слов в начальный период развития русского литературного языка, когда социальные отношения и соответствующая им идеологическая надстройка еще не переросли в непримиримые антагонистические, по существу представляет не оценочную социально-дифференцированную общественно-политическую терминологию. Таковыми, к примеру, являются тематические группы терминов, выделенные

Г. Е. Кочиним: 1) верховная власть: *властелин, господин, государь...*; 2) должностные лица: *властитель, сановник, боярский...*; 3) виды преступлений: *крамола, крамольник, изменник...*; 4) категории класса эксплуатируемых: *бобыль, мужик, раб, смерд, холоп, чернь...*; 5) формы классовой борьбы: *восстание, крамола, мятеж, смуты...* [6].

В процессе употребления этой группы слов в литературном языке в антагонистически классовом обществе наряду с социальной дифференциацией возникает и идеологическая дифференциация. Она проявляется в «наличии антагонистического противопоставления идеологий, в социальных взаимоотношениях между носителями разных идеологий (особенно между представителями буржуазной идеологии и социалистической идеологии), в языковых средствах выражения этого антагонизма» [5, с. 215]. В нашем понимании, идеологическая дифференциация является высшей формой социально-классовой дифференциации языка.

Вследствие идеологической дифференциации ОПЛ может приобрести идеологическую оценочность. Оценочность — одна из наименее изученных категорий в языке [7, с. 32]. Однако понятие оценочность, в том числе и социальная оценочность, встречается во множестве работ и вошло в широкое употребление. Неясным остается представление о месте оценочности в семантической структуре слова: выражает ли она «дополнительные смысловые „оттенки“, обволакивающие „концептуальное ядро“ слова [8], ее периферию [7, с. 32—33], или способна «если не вытеснить, то затемнить „формальное значение слова“, его семантическое ядро» [9, с. 53]? Как и эмоциональная, идеологическая оценочность входит в семантическую структуру слова, поэтому такие слова становятся семантически-оценочными, что сказывается на особенностях их функционирования и лексикографирования. Идеологически-оценочные слова составляют особую группу слов, и их целесообразно выделить из эмоционально-оценочных.

В своей основе социально- и идеологически-оценочную ОПЛ составляют слова-понятия, по-разному оцениваемые и трактуемые идеологами антагонистических классов и социальных групп. «Воздействие экстралингвистической реальности на речевую среду и (рефлекторно) — на некоторые единицы языка, приобретающие таким путем эмоциональные окраски и потенции выражать определенные, идеологические оценки, — это большая и увлекательная тема... Включение социально-идеологических элементов в семантику словесного знака и реализует потребность в толковании языкового знака как коррелята внеязыковой действительности, которая в той или иной общественной среде получает разную интерпретацию» [9, с. 56]. Как видно из этого высказывания, известный советский лингвист уже на ранней стадии изучения идеологически-оценочной лексики (тогда еще не существовало традиции рассматривать идеологическую оценочность как один из видов социальной оценочности) выделяет в ее семантике социально-идеологические элементы, по существу те самые, которые и квалифицируются как социально-идеологическая оценочность. Надо заметить, что традиция неразличения социальной и эмоциональной оценок характерна и для некоторых работ 60—80-х годов [10—11]. Идеологически-оценочная ОПЛ больше всего испытывает «воздействие общественных групп и направлений, ...поэтому, помимо основного значения, в каждом таком слове нередко осуществлялись напластования и переосмысления, связанные с разным отношением к обозначаемому словом понятию, с резко различным пониманием самого содержания слова» [12].

Основным экстралингвистическим фактором, влияющим на осложнение семантической структуры ОПЛ, является социальная и идеологическая оценка. Она проявляется в отношении субъектов, носителей языка, объединенных в социально-идеологические коллективы, к понятиям и явлениям и в результате употребления в языке трансформируется в оценочность. Отсюда — справедливость признания «выдвинутой в поздних работах Витгенштейна концепции „смысла как употребления“ ... в качестве чрезвычайно важного указания на *значимость учета прагматического фактора контекста употребления* языкового выражения при определении его осмысленности» [13].

Различая оценку и оценочность в лексике вообще, в ОПЛ в особенности, мы также признаем наличие основания, субъекта и объекта оценки [14]. Основанием оценки, по-нашему, выступает дифференциация общества на антагонистические социально-идеологические группировки (классы, отдельные социально-партийные группы).

Субъектом оценки может быть любая социально-идеологическая группировка или отдельная личность, осмысливающая и репрезентирующая в устных или речевых манифестациях те или иные понятия и явления общественной жизни. От субъекта оценки зависит вид и коннотация самой оценки, а также ее объект. Социальная или идеологическая оценка может быть, как и любая оценка, положительной или отрицательной. Принятая в данном социальном коллективе, она «покоится на объективных критериях нравственности, которые имеют исторический характер и изменяются в зависимости от общественного строя, классовой борьбы и т. д.» [15].

Объектом социально-идеологической оценки в потенции может стать любое понятие и явление общественной жизни. Но реально становятся те из них, которые приобретают социально-идеологическую актуальность. Критерий социально-идеологической актуальности является важнейшим в выборе объекта оценки. В каждый исторический период и соответственно микропериоды развития лексики русского литературного языка выделяются центральные (для той или иной идеологии) группы понятий и обозначающих их слов, которые становятся объектами оценки.

Идеологический фактор является важнейшим в приобретении ОПЛ оценки и в дальнейшем — оценочности уже потому, что язык — сам объект идеологической борьбы. Идеологический фактор многими исследователями (в том числе и автором статьи) признается сущностным для определения ОПЛ как лексико-семантической категории, в связи с чем представляется недостаточным любое ее определение, не учитывающее роли социально-идеологической оценочности, базирующейся на аналогичной оценке.

Возникают следующие вопросы: любая ли оценка общественно-политического понятия или явления приводит в процессе употребления в речи к закреплению оценочности у обозначающих их слов и каковы источники, в которых создаются условия для трансформации оценки в оценочность? В потенции, как было отмечено, любая оценка общественно-политического понятия может способствовать его оценочности. Все зависит от субъекта оценки. Если субъект оценки — индивидуум, то и оценочность может не выйти за пределы индивидуального употребления, оставаясь окказиональной. То же самое происходит, когда субъектом оценки выступают небольшие социальные группы, идеология которых не находит продолжателей. Здесь действует тот же самый закон, что и в номинации, «синонимической аттракции» и других языковых явлениях: чем авторитетнее

с социально-идеологической точки зрения субъект оценки, чем он прогрессивней исторически, тем больше возможности у объектов его оценки приобрести языковую оценочность. В этой закономерности мы усматриваем одну из граней неразрывной связи языка и общества.

Если объектом социально-идеологической оценки становятся слова, не имевшие до этого никакой оценочности, то социальный фактор будет решающим в возможной способности приобретения ими оценочности, а вместе с тем и соответствующего лексического значения.

Важную роль в становлении оценочности играют жанры газетно-журнальной публицистики. «Значение газетно-публицистической специализации языка заключается прежде всего в выработке богатейшего арсенала оценочных средств» [16], среди которых слова с социально-идеологической оценочностью приобретают особую актуальность. Актуализация оценочных значений в словах общественно-политического содержания приводит к закреплению в русском литературном языке идеологически противопоставленных лексиконов.

Процесс оценочности активизируется в русском литературном языке с появлением в нем революционной публицистики. Впервые в русской литературе в известных произведениях А. Н. Радищева мы встречаемся с авторской идеологически-оценочной трактовкой таких понятий общественно-политического содержания, как *власть, государь, гражданин, народ, рабство, самодержавство* и др.: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. *Государь есть первый гражданин народного общества*» [17].

Круг идеологически противопоставленной ОПЛ расширился в революционной декабристской литературе, в которой одним из актуальнейших стало понятие *революция* (это слово не встречается в произведениях А. Н. Радищева). В декабристском употреблении слово *революция* приобретает высокий смысл, а его значение терминологизируется. Так, декабрист Г. С. Батеньков в своих показаниях уточняет в терминологическом плане семантику слова *революция*: «Покушение 14 декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической» [18]. Понимание декабристами слова *революция* было диаметрально противоположным официально-самодержавному, о чем свидетельствует, к примеру, его трактовка А. С. Шишковым, одним из виднейших идеологов абсолютизма, для которого «само слово „революция“ было ненавистным: „Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначного сему слова, — писал он. — Да не будет оно никогда тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно“» [19]. Такими же оценочными словами в революционной декабристской литературе были *конституция, свобода, деспотизм* и многие другие. Они также стали предметом публицистической трактовки.

Идеологически противопоставленные лексиконы окончательно складываются как семантико-идеологическая категория в 50—60-е годы XIX в. в литературно-публицистической деятельности революционеров-демократов. И в эти же десятилетия данное семантическое явление начинает отражаться в словарях. В зависимости от ориентации авторов словарей на идеологию тех или иных классов, их принадлежности к определенным социальным группам, дефиниции ОПЛ приобретают оценочность, свойственную идеологии этих классов и социальных групп. Иллюстрациями, подтверждающими высказанное положение, могут быть дефиниции и толкование таких идеологически оценочных слов, как *коммунизм, ниги-*

лизм, пролетариат, революция, революционер, реформы и др. в Словаре В. И. Даля и «Настольном словаре для справок по всем отраслям знания (Справочном энциклопедическом лексиконе)» Ф. Толля и В. Р. Зотова (Т. I—III. СПб., 1863—1864). В первом названные слова трактуются с официальной (консервативной) точки зрения, во втором — революционно-демократической.

Итак, в результате образования идеологически противопоставленных лексиконов, так же как и в публицистике, возникает социально-идеологическая дифференциация словарно-справочных изданий, прежде всего — словарей иностранных слов, политических справочников, энциклопедий. Менее заметна дифференциация в толковых словарях русского языка (см. [20]).

Как языковая категория социальная и идеологическая оценочность выражается при помощи лексических и лексико-грамматических средств. Если объектом оценки становятся слова, не мотивированные в системе русского языка, то лексические средства являются единственным показателем их оценочности. С нашей точки зрения, после того, как немотивированные в системе русского языка слова приобретают социально-идеологическую оценочность, они становятся семантически мотивированными, или семантически-оценочными. Неустойчивость семантической мотивированности, ее преходящий характер [21] нейтрализуется спецификой употребления этой части лексики в литературном языке, закрепляющей в ней оценочность на языковом уровне, в лексикографической дефиниции, являющейся чаще всего энциклопедическим толкованием (именно в трактовке такой ОПЛ наблюдаются «лексикографические излишества»). Рассмотрим отдельные слова этой группы на примерах их первых (по нашим материалам) и последних [Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах. М.—Л., 1950—1965 (БАС)] фиксаций.

Абсентеизм — обычай ирландской аристократии проживать вне родины [22, с. 3]. *Абсентеизм* — в буржуазных странах — уклонение от участия в выборах, неявка на собрания и т. п., являющиеся выражением протеста против политики террора и парламентской механики подкупа (БАС, 1, стлб. 17). *Буржуазия* — мещане, мещанство, горожане, среднее сословие, граждане, обыватели, торговый и ремесленный люд (Даль, I, с. 143). *Буржуазия* — в капиталистическом обществе — господствующий класс, владеющий средствами производства и живущий от эксплуатации наемного труда (БАС, 1, стлб. 696). *Бюрократия* — устройство управления, основанное на подчинении одного государственного лица другому высшему [23]. *Бюрократия* — система управления в классовом обществе, при которой государственная власть осуществляется через чиновников, оторванных от трудящихся масс, стоящих над массами и состоящих в большинстве из привилегированных лиц (БАС, 1, стлб. 734).

Семантически мотивированные в языковой системе слова, как и слова, обозначающие «высокие» общественные понятия, часто становятся объектом «узурпации» правящих классов. Так было в русском и других языках со словами *благонамеренность*, *благонамеренный*, *благонадежный*, *патриот*, *порядок* и т. п. в периоды революционных ситуаций и революций. Само употребление этих слов стало социально-оценочным, на что соответственно реагировали авторы словарей. В «Политической энциклопедии» 1906 г. так определялось значение слова *благонамеренность*: «В собственном смысле слова — стремление ко благу человечества, ко благу родины, находится в полном противоречии с официально-полицейским значением этого слова» [24].

Противопоставление смысла, оценочности этой группы слов выражалось и несемантическими средствами. В итоге семантически-оценочные слова приобретали дополнительную мотивированность: *патриот* — «потреот», *отечество* — «атечество», *революционный* — «ррреволюционный» (в данном случае фонетико-орфографическую).

Одновременно с процессом приобретения социально-идеологической оценочности в ОПЛ действует внешне противоположный процесс снятия оценочности. Его сущность та же, но протекает в обратном направлении. Слова, оценочность которых приходит в противоречие с понятийным содержанием, утрачивают оценочность в результате их употребления в новом социально-идеологическом контексте. Снятие старой (чаще всего негативной) оценочности сопровождается приобретением новой, эксплицитно или имплицитно выраженной. Снятие старой оценочности наблюдается, например, в словах *агитация*, *агитатор*, *идеолог*, *конспирация*, *конспиратор* и др. в словарях конца XIX — нач. XX в.

Агитация — волнение, беспокойство [22, с. 8]. *Агитатор* — возмутитель, бунтовщик [22, с. 8].

Агитация — устная и печатная деятельность, имеющая целью воздействовать на идеологию широких народных масс в определенном направлении (БАС, 1, стлб. 43). *Агитатор* — лицо, занимающееся агитацией (БАС, 1, стлб. 43).

Идеологи — прозвание партии, состоявшей из знаменитейших французских метафизиков первой Французской империи, отличавшихся противодействием реакции [22, с. 194]. В словаре Н. Яновского, на который БАС дает справку о первой фиксации, слово *идеолог* не имеет оценочности: «Идеолог — занимающийся наукой об идеях» [25].

Идеолог — идейный представитель и руководитель известной общественной группы или класса в какой-либо области духовной жизни [26].

Конспирация — заговор, бунт и измена против законной власти [27]. *Конспирация* — методы, применяемые нелегальной организацией для сохранения в тайне ее деятельности (БАС, 5, стлб. 1314). *Конспиратор* (в форме *конспирант*) — заговорщик, изменник [28]. *Конспиратор* — человек, искусный в конспирировании, умеющий обманывать подозрительность полиции и обходить ее преследования [29].

Приобретение новой и снятие старой социально-идеологической оценочности — две стороны одного семантического процесса в семантически мотивированных словах общественно-политического содержания.

В словах, мотивированных лексико-грамматическими средствами, социальная и идеологическая оценочность, как правило, выступает вместе с другими видами оценочности. Под лексико-грамматической понимается новая мотивированность, которая характеризует слово в результате присоединения к немотивированной основе аффиксов или объединения нескольких простых основ в сложные образования. В этом случае в слове возникает несколько видов мотивированности и соответственно — оценочности. Если семантически мотивированное слово приобрело социально-идеологическую оценочность, то и все образования от него сохраняют эту оценочность.

В публицистической речи одним из способов использования социально-идеологических оценочных средств является употребление таких сложных образований, в которых одна из основ, обладая оценочностью, придает ее всему образованию *агент-provokator*, *агрессивно-буржуазный*, *анархист-коммунист*, *большевик-примиренец*, *интеллигент-отступник*. Если оценочностью обладают все элементы сложного образования, то соот-

ветственно удваивается или утраивается оценочностный потенциал: *империалистски-грабительский, империалист-эксплуататор, крепостнически-реакционный, либерально-монархический, ликвидаторски-трудовичевски-вехистский, патриотически-шовинистически-оппортунистически*¹.

Значительную часть общественно-политического словаря составляют устойчивые и свободные сочетания. «Всегда представляя собой социолингвистически обусловленную категорию» [30], словосочетания выступают как синтаксически мотивированные идеологически-оценочные номинативные единицы. Основную массу словосочетаний в ОПЛ составляют именные словосочетания, а среди последних — подавляющее большинство сочетаний определительного типа. Функция определения в этих сочетаниях не просто оценочная, а идеологически-оценочная. Наблюдения над словосочетаниями общественно-политического содержания, извлеченными из шеститомной Истории Коммунистической партии Советского Союза, свидетельствуют о чрезвычайно важной роли определения-оценки в выражении идеологической оценочности. Следует иметь в виду, что словосочетание в сравнении со словом является более открытой, менее поддающейся учету и регистрации номинативной единицей. Оно возникает не только «когда для нового понятия нет более или менее подходящего старого словесного знака, могущего через свое традиционное значение связать, а звуковой стороной обозначить новое понятие...» [31], но чаще всего когда посредством слова вообще нельзя обозначить новое понятие. В таком случае у языка нет выбора: слово или словосочетание? Словосочетание является единственным средством обозначения новых, семантически более емких понятий. В ОПЛ словосочетания типа *политический кризис, классовые противоречия, пролетарская демократия, буржуазная революция, демократическая интеллигенция, реакционный общественный строй, навязанный монархизм* и т. п.² — показатель высокой степени развития общественных отношений и соответственно — средств их языкового выражения.

Наблюдения над социально-идеологически-оценочной ОПЛ позволяют прийти к некоторым выводам. Оценочность как свойство, характеристика, отличительный признак ОПЛ формируется в процессе ее исторического развития. В русском литературном языке допетровской эпохи этот вид оценочности проявляется лишь как тенденция. В дальнейшем она наряду с другими факторами, способствующими совершенствованию языка, становится важным показателем его зрелости. Семантическая, лексико-грамматическая и синтаксическая мотивированность усиливают процесс оценочности, создают условия для постоянного пополнения социально- и идеологически-оценочного общественно-политического словаря.

ЛИТЕРАТУРА

1. Общее языкознание¹ (Формы существования, функции, история языка) / Отв. ред. Серебренников Б. А. М., 1970. С. 479—487.
2. Фасмер М. И. А. Бодуэн де Куртене // Живая старина. Вып. 2. СПб., 1906. С. 143.
3. Щерба Л. В. И. А. Бодуэн де Куртене и его значение в науке о языке // РЯШ. 1940. № 4. С. 87.
4. Десницкая А. В. О традициях социологизма в русском языкознании // Теория языка, методы его исследования и преподавания (К 100-летию со дня рождения Л. В. Щербы). Л., 1981. С. 86.
5. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977.

¹ Все предыдущие и эти сложные образования взяты нами из Картотеки «Словаря языка В. И. Ленина» Ин-та русского языка АН СССР.

² Все примеры взяты из [32].

6. Кочин Г. Е. Материалы для Терминологического словаря древней Руси. М. — Л., 1937. С. 449—455.
7. Солганик Г. Я. Системный анализ газетной лексики и источники ее формирования: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1976.
8. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М. — Л., 1965. С. 15.
9. Гельгардт Р. Р. Избранные статьи (Языкознание. Фольклористика). Калинин, 1966.
10. Киселева Л. А. О некоторых типах лексического значения слова // Уч. зап. ЛГПИ. 1969. Т. 324. С. 265—271.
11. Брагина А. А. Значение и оттенки значения в термине // Терминология и культура речи. М., 1981. С. 39.
12. Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века. М., 1964. С. 125—126.
13. Павленко Р. И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983. С. 30.
14. Лисицына Н. А. Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1985. С. 5—6.
15. Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977. С. 51.
16. Солганик Г. Я. Роль журналистики в развитии и обогащении литературного языка // Принципы функционирования языка в его речевых разновидностях. Пермь, 1984. С. 61.
17. Радищев А. Н. Размышления о причинах благоденствия и несчастья греков. Сочинения Г. Аббата де Мабли. Пер. с франц. Кн. 3 // Радищев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3-х т. Т. 2. М. — Л., 1941. С. 282 (примеч.).
18. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: В 3-х т. Т. I. М., 1951. С. 185.
19. Мейлах Б. «Только революционная голова... Незученный замысел Пушкина // ЛГ. 1979. 14 февр.
20. Голованевский А. Л. Общественно-политическая лексика в словарях 1900—1917 гг. (К проблеме идеолого-семантической типологии словарей дореволюционного периода) // ФН. 1986. № 3.
21. Журавлев А. И. Типы значений слова и их мотивированность // Проблемы мотивированности языкового знака. Вып. 3. Калининград, 1976. С. 25.
22. Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб., 1861.
23. Кириллов Н. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Вып. 1—2. СПб., 1845—1846. С. 17.
24. Политическая энциклопедия. Под ред. Слонимского Л. З. СПб., 1906. С. 291.
25. Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту: В 3-х частях. Ч. 1. СПб., 1803. С. 804.
26. Попов М. Современный общественно-политический и экономический словарь. М., 1907. С. 26.
27. Бурдон И. Ф. Словотолкователь 30 000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка. М., 1866. С. 343.
28. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка/Под ред. Чудинова А. Н. СПб., 1902. С. 315.
29. Майданов Д. Т., Рыбаков И. И. Новый карманный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Одесса, 1907. С. 455.
30. Тер-Минасова С. Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. М., 1981. С. 33.
31. Мильшин И. К. В. И. Ленин о процессе наименования // Вопросы русского языка и стиля. Пятигорск, 1975. С. 8.
32. История Коммунистической партии Советского Союза: В 6-ти т. Т. 1—3. М., 1964—1967.

ЦЕЙТЛИН Р. М.

О СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА «СТАРΟΣЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК»

Определяйте значения слов — и вы избавите мир
от половины его заблуждений

(Декарт)

Термин «старославянский язык» (далее СЯ) относится к кардинальным понятиям палеославистики, и тем не менее он многозначен. Это объясняется как различными лингвистическими направлениями и периодами в изучении СЯ, так и историческими причинами и даже политическими обстоятельствами. Неслучайно в близких значениях в отечественной славистике известны и другие наименования СЯ: кирилло-мефодиевский язык, классический СЯ, а также древнеславянский, древнеболгарский, древнецерковнославянский, церковнославянский, староцерковнославянский.

Наиболее употребительны: в сербохорватской славистике — старославенски или старословенски [единственный в мире институт СЯ (в Загребе) называется «Старославенски институт» = Staroslavenski zavod]; в болгарской — старобългарски; в чешской — staroslověnský, staroslověnština; во французской — vieux-slave; в английской — Old Church Slavonic; в немецкой — Altbulgarisch, Altkirchenslavisch; в польской — staro-cerkiewno-słowiański, starobułgarski.

Примечательно, что у одного и того же автора встречаются различные наименования СЯ. Например, название статьи М. Вейнгарта «Le vocabulaire du vieux-slave dans ses relations avec le vocabulaire grec» (Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini. 1939.I), книги «Rukovět' jazyka staroslověnského» (Praha, 1937—1938). Н. Ван-Бейк называет свои работы: «Zur Komposition des altkircheslavischen Codex Suprasliensis» (Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeling Letterkunde. 1925. Deel 59. Serie A. № 4); «O prototypie cerkiewnosłowiańskiego Codex Zographensis» (Rocznik slawistyczny. 1921, IX); «Zu den altbulgarischen Halbvokalen» (Archiv für slawische Philologie. 1921—1922. T. 37; 1924—1925. T. 39; 1925—1926. T. 40). Й. Курц называет свои статьи: «Проблема члена в старославянском языке» (Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага, 1963); «Проблемата за члена в старобългарския език» (Език и литература. 1962. № 3); доклад на IV Международном съезде славистов 1958 г.: «Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva» (Praha, 1958). Работы С. Слонского названы: «Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim (starobułgarskim)» (Warszawa, 1937); «Prefiksy ob-/o- i ot-/o- w języku starobułgarskim» (Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski. II. Warszawa, 1928); «Gramatyka języka starosłowiańskiego (starobułgarskiego)» (Warszawa, 1950). Подобные примеры легко умножить, они относятся к типичным случаям обозначения понятия СЯ.

В начале XIX в. в русском и в большинстве других славянских языков употреблялись наименования «славянский», «славенский» или «словенский». Знаменитое «Рассуждение о славянском языке» (1820) А. Х. Востокова начиналось словами: «Довольно уже писано о языке славянском, или вернее *словенском*, на который переложены в IX в. церковные книги для болгар и для моравов» [1, с. 1]. В примечании говорится: «...под *словенами* же или *славянами*... разумелись люди *словесные*, коих речь можно понимать, в противоположность *немцам*» [1, с. 1—2]. После того, как Востоков определил звуковое значение юсов как носовых гласных и ряд других существенных особенностей языка древних славянских рукописей, он и его последователи стали называть этот язык «славеноболгарским», вкладывая в это наименование двойной смысл: (1) указание на всеобщее распространение этого языка в славянских странах и (2) на его народную (болгарскую) основу. А. Х. Востоков писал, например, Евг. Болховитинову: «Вы изволили, конечно, видеть...мнение, какое я имею о первоначальном употреблении букв ж, ѡ, ѣ, ѣ в кирилловской азбуке, и том, что азбуки, сими буквами изображаемые, принадлежали языку болгаров или дунайских славян» [2, с. 1]; Н. П. Румянцеву: (говорится о том, что изучение трудов Добровского и Вука Караджича) «...подкрепляет догадку мою о тождестве церковнославянского языка с древним славеноболгарским» [2, с. 29]; К. Ф. Калайдовичу о его трудах: «...сей богатой сокровищницы древности славеноболгарского языка» [2, с. 135]. Точку зрения Востокова разделяет О. М. Бодянский, который называет свою статью — «О древнейшем свидетельстве, что церковно-книжный язык есть славяно-болгарский» [3]. Другой последователь Востокова — П. С. Билярский, исследовав среднеболгарские рукописи, доказал их связь и генетическое родство с древнейшими славянскими рукописями, с одной стороны, и с новоболгарским языком, с другой [4].

Аналогичной точки зрения на происхождение СЯ придерживались и ведущие европейские слависты, особенно после открытий А. Х. Востокова. Так, Й. Добровский писал: «Славянские церковные книги пришли не от моравян к болгарам (*nicht aus Mähren zu den Bulgaren*), но наоборот через Кирилла и Мефодия из Болгарии к моравянам (*aus der Bulgarey nach Mähren*) и позднее также непосредственно из Болгарии и Сербии в Россию» [5, с. 97]. Характерно примечание к изданию этой монографии Й. Вайса: «Константин и Мефодий, солуняне по рождению, говорили, как и все македонцы до сих пор говорят, болгарским наречием» («...jako dosud všichni Makedonci mluví, nářečím bulgarským») [5, с. 193]. Аналогично мнение М. Вейнгарта: «... и следовательно, старославянский язык — старое южномакедонское наречие и своими языковыми чертами принадлежит к болгарской языковой области» («... do jazykového území bulharského») [6].

Термин «старославянский язык» начинает употребляться в трудах русских славистов с 40-х годов XIX в., видимо, прежде всего в школе И. И. Срезневского, но параллельно с наименованиями «древнецерковнославянский язык», «древнеболгарский язык», «церковнославянский язык». Разнобой в терминологии обязывал каждый раз оговаривать употребление того или другого термина, уточнять его значение. Так, А. И. Соболевский писал: «Церковнославянский, или старославянский, или древнеболгарский язык — тот язык, на который славянские первоучители св. Кирилл и Мефодий перевели с греческого книги священного писания и богослужебные и который, после их кончины, сделался литературным языком болгар, сербов и русских» [7].

После Великой Октябрьской революции термин СЯ становится основным в ряду своих синонимов. Так он называется во всех вузовских программах и учебниках. В 1940 г. слово *старославянский* впервые фиксируется в русской лексикографии: «*Старославянский* (лингв.). 1. О языке: то же, что древнеболгарский, древний церковнославянский язык. С. язык. 2. Написанный на таком языке. Памятники старославянской письменности» [8]. Поэтому никого не удивляло, что название книги Н. Ван-Бейка «*Geschichte der altkirchenslavischen Sprache*» (Berlin — Leipzig, 1931) было передано по-русски «История старославянского языка» (М., 1957).

Утвердившись в употреблении, СЯ как термин не утратил своей многозначности. Споры о его содержании в основном ведутся в двух направлениях: I. (1) следует ли хронологически ограничить СЯ временем деятельности Кирилла и Мефодия и (2) следует ли под СЯ понимать язык первых славянских богослужебных и близких к ним по содержанию книг (которые не дошли до нас), а также самых древних рукописей, которые сохранились до наших дней; II. (1) к какому языку (к каким говорам, на основе которых в скором времени сформировался определенный славянский язык) по своей народной (диалектной) основе принадлежит язык первых книг, созданных Кириллом и Мефодием и их непосредственными учениками и помощниками; (2) каковы по своей языковой принадлежности древнейшие из известных нам славянских рукописей, которые обычно именуют «классическими» или «каноническими» старославянскими памятниками (с лингвистической точки зрения точнее следовало бы называть их рукописями).

«Для меня,— пишет, например, Г. А. Хабургаев,— остается принципиальным определение СС [старославянского языка] как языка первых славянских переводов, выполненных в середине IX столетия, ибо языковая система первых переводов, какой она восстанавливается и описывается на протяжении уже более полутора столет..., не тождественна тому, что обнаруживается в старейших сохранившихся текстах, включая и древнеболгарские» [9, с. 6]. Действительно, те языковые факты, которые многие исследователи относят ко второй половине IX в. суммарно, не образуют реально существовавший живой и письменный язык этого времени, так как восстанавливаются изолированные языковые явления различных уровней (преимущественно фонетические и морфологические), нередко не совпадающие друг с другом по времени и ареалу. Эти языковые факты искусственно группируются в некую абстрактную языковую систему, как правило, не отличающуюся от той, которая до недавнего времени реконструировалась для позднего праславянского языка, но которую в данном случае называют «кирилло-мефодиевским» или «классическим старославянским языком» или вообще СЯ. При этом обычно игнорируется диалектная дробность позднего праславянского языка (что неопровержимо доказано этимологами-славистами наших дней). О необходимости отделения СЯ от праславянского неоднократно писали Г. А. Ильинский, Ф. Ф. Фортунатов, А. Мейе.

Обосновывая закрепление наименования СЯ только за языком кирилло-мефодиевских текстов (до нас не дошедших), Г. А. Хабургаев далее пишет: «...если быть последовательным, то надо признать, что все сохранившиеся славянские рукописи, включая и древнеболгарские памятники X—XI вв., отражая стремление их переписчиков следовать авторитетным для них орфографическим нормам, вместе с тем отражают и местные языковые черты...» [9, с. 9]. Далее Г. А. Хабургаев пишет: «...необходимо сделать замечание терминологического характера относительно языка старейших сохранив-

шихся текстов балканского происхождения. В полном соответствии с принятой в современной Болгарии терминологией он может быть назван литературным древнеболгарским — в том смысле, в каком язык ОЕ [Остромирова евангелия] может (и должен — см. далее) быть назван литературным древнерусским...» [9, с. 10].

Примечательно, что попытка восстановить сплошной текст СЯ на примере воссоздания языка четвероевангелия кирилло-мефодиевского времени, предпринятая в 1935—1936 гг. патриархом чешской славистики, крупнейшим знатоком древней славянской письменности Й. Вайсом, не увенчалась успехом и была признана специалистами неудачной.

Для воссоздания и изучения языка кирилло-мефодиевских переводов (памятники которого в списках IX в. не дошли до нас) используют рукописи, различные по месту и времени их написания, если их протографы восходят к эпохе Кирилла и Мефодия. Чем далее по времени и языковым особенностям эти источники отстоят от языка кирилло-мефодиевских текстов, тем сложнее задача исследователя. Преимущество отдается наиболее древним (из сохранившихся) рукописям и наиболее близким по содержанию и языку к утраченным манускриптам второй половины IX в. Такими рукописями прежде всего являются рукописи X—XI вв., написанные в юго-западной (Македонской) и северо-восточной Болгарии. До нас дошло 17 таких рукописей. Одиннадцать из них глаголические — евангелия Зографское, Мариинское, Ассеманиево, Охридские отрывки, Зографский палимпсест, Боянский палимпсест; Синайская псалтырь, Синайский евхологий, Синайский служебник, Клоцов сборник, Рыльские листки. Шесть рукописей написано кириллицей: Саввина книга, Листки Ундольского, Супрасльская рукопись, Хиландарские листки, Зографские листки, Енинский апостол. Эти рукописи часто называют «классическими» или «каноническими» памятниками СЯ (в отличие от более поздних болгарских или созданных книжниками на других славянских языках).

Некоторые ученые в число старославянских включают и чехо-моравские Киевские листки X в. — перевод с латинского оригинала мессы по римско-католическому образцу, в которых содержатся яркие черты древнечешского языка (прежде всего употребление *ц* и *з* там, где в остальных старославянских рукописях — *шт*, *жд*, например, *подазь*, а не *подаждь*, *оббѣнне*, а не *оббштанине*). Отдельные исследователи включают в число старославянских и древнерусское Остромирово евангелие 1056—1057 гг. — список с восточноболгарской рукописи (возможно, не непосредственный, а через стадию нескольких других русских списков). Остромирово евангелие написано древнерусским писмом, о чем свидетельствует ряд его языковых особенностей.

Бесспорно, нельзя утверждать, что известные нам даже древнейшие старославянские рукописи (видимо, второй половины X в.) тождественны во всех своих языковых чертах утраченным рукописям второй половины IX в., т. е. тем, которые обычно называются «кирилло-мефодиевскими». Язык развивается непрерывно. И все же необходимо учитывать различные темпы и интенсивность изменения языковой системы письменного литературного языка на всех ее уровнях в течение второй половины IX—X в. и в последующие эпохи. Чем ближе к нашему времени, тем все более убыстряется и интенсифицируется процесс языковых изменений. Важно иметь в виду, что между языком второй половины IX—X в. и даже XI в. не было столь резких различий, которые наблюдаются в более поздние эпохи. Считается, например, что одна из древнейших старославянских рукописей — Зографское евангелие — является второй (по мне-

нию И. Добрева) или третьей (по мнению Й. Курца) копией с рукописи кирилло-мефодиевского времени.

Решение вопроса о степени близости языка Кирилла и Мефодия и языка сохранившихся древнейших славянских рукописей значительно облегчается анализом языка многочисленных надписей (их число доходит до 80), найденных в письменных центрах Болгарии. Обнаружены надписи на различных материалах (на камне, керамике, металле) и различного содержания (надгробные, настенные, на бытовых предметах и некот. др.). Назовем хотя бы следующие: надпись Павла хартофилакса на стене Круглой церкви в Преславе, построенной при Симеоне, возможно, ее следует датировать даже концом IX в.; надпись на глиняной табличке в этой же церкви; самая древняя датированная надпись — надпись 921 г. в скальном монастыре ок. села Крепча (недалеко от г. Провадия); надпись на корчаге 930—931 гг. в Преславе. Ранее известные датированные надписи: Добруджанская 943 г., надпись Мостичу (последней трети X в.), надпись Самуила 993 г.

Множество таких надписей, содержащих отдельные слова или связный текст, позволяет судить о фонетических и отчасти морфологических и лексических особенностях языка X в. При этом нужно учитывать, что датированные надписи 921 и 930—931 гг. по времени отстоят от года смерти Мефодия (885 г.) всего на 36—46 лет, т. е. относятся к эпохе, когда еще были живы его непосредственные ученики и помощники, продолжавшие дело его и его брата, говорившие с ними на том же языке. Язык этих надписей и по палеографическим, и по собственно языковым приметам чрезвычайно близок (если не идентичен) языку древнейших глаголических и кириллических рукописей СЯ. Важно также отметить, что в последние годы найден ряд надписей, сделанных и глаголицей, и кириллицей в одном и том же месте, например, на стенах Круглой церкви в Преславе (см. [10] с литературой вопроса). Сошлюсь также на доклад П. Попконстантинова о только что найденных оловянных табличках, прочитанный на 2-м Международном конгрессе болгаристов в мае 1986 г.

Разумеется, анализ языка кирилло-мефодиевских сочинений, пока мы не располагаем оригиналами IX в., возможен лишь в ретроспективном плане. Для этого следует тщательнее и современными методами изучать те рукописи, которые нам известны, исходить из конкретных языковых фактов, а не ограничиваться теоретическими рассуждениями. Многого, видимо, следует ожидать от чтения современными методами палимпсестов, которых немало в наших архивах. Напомним открытые недавно таким способом Ив. Добревым Зографский и Боянский палимпсесты.

Кирилло-мефодиевская проблематика с конца XVIII в. и до наших дней не перестает быть в центре внимания палеославистов. По подсчетам Св. Николовой, в этой области славистики работало около 300 исследователей и опубликовано свыше 6 000 работ, из которых более половины появилось после второй мировой войны [11]. «Все дореволюционные руководители университетской славистики, — пишет в своем обзоре К. И. Логачев, — начиная с П. И. Прейса, внесли значительный личный вклад в разработку кирилло-мефодиевской проблематики. Сразу же необходимо отметить, что все они придерживались позиции, согласно которой основой языка древнейших славянских переводов является древнеболгарский язык» [12]. Добавим, что и московские филологи XIX — нач. XX в. уделяли большое внимание кирилло-мефодиевской проблематике, большинство из них считало диалектной основой СЯ древнеболгарский язык. Даже осторожный в своих выводах и далекий от общефилологических

проблем Ф. Ф. Fortunatov писал: «Старославянский язык принимают теперь обыкновенно за язык древнеболгарский, и хотя такое решение этого вопроса не может считаться пока вполне верным, во всяком случае несомненно, что язык старославянский находится в ближайшем родстве с древнеболгарским» [13]. Fortunatov имеет в виду народный древнеболгарский язык.

Все специалисты сходятся на том, что СЯ — первый письменно-литературный язык общеславянского значения и распространения — был создан братьями Кириллом и Мефодием, высокообразованными людьми, уроженцами г. Солуны. Кирилл и Мефодий изобрели первую славянскую азбуку. По мнению большинства ученых — глаголицу. Созданная позднее, вероятно, в Преславе (при Симеоне) кириллица очень близка к начертаниям греческого унциального письма, она значительно легче для усвоения, чем глаголица, и поэтому получила большее распространение. На Руси славянская письменность была заимствована из Болгарии в X в. и на кириллице; глаголица употреблялась крайне редко (преимущественно в тайнописи). Кирилл и Мефодий были создателями не только азбуки, но и первых славянских переводов необходимых богослужебных книг с греческого и нескольких оригинальных сочинений. Братьям помогали их ученики сначала в Византии (этот период в современной чешской славистике иногда называют прастарославянским), а затем в Великой Моравии, куда они были приглашены моравским князем Ростиславом в 863 г. для проповедования христианства по византийскому образцу, но на понятном славянском языке. Князь Ростислав преследовал политические цели — желал парализовать деятельность латинско-немецкого духовенства и тем самым пресечь влияние немецкого императора. В Моравии у братьев было много местных учеников и последователей.

Вызывает острые споры вопрос о национальности Кирилла и Мефодия: были ли они греками или славянами. Для окончательного его решения, видимо, наука никогда не сможет получить неопровержимые аргументы. Применительно к СЯ этот вопрос представляется несущественным. Важны данные самого языка, который обработали и которому придали письменно-литературную форму Кирилл и Мефодий и их сподвижники. Заметим, что часто употребляемое выражение «Кирилл и Мефодий создали СЯ» неточно: при всей их гениальности и образованности они не могли создать язык; язык создает народ, но его выдающиеся представители оказывают на него определенное влияние. Существенно и бесспорно одно — Кирилл и Мефодий в совершенстве владели и греческим, с которого блестяще переводили сложнейшие тексты, и тем славянским говором, который знали с детских лет и на который опирались как на основу, создавая славянскую письменность. Созданная ими азбука свидетельствует о том, что они обладали исключительным фонологическим чутьем.

Какие же черты присущи солунскому, а также охридскому и плиско-преславскому говорам, которые позволяют со всей определенностью относить их к тому славянскому языку, который в IX—X вв. формировался и сохраняется до наших дней под именем «болгарского языка»? Эти особенности пронизывают всю структуру рукописей СЯ, на всех его уровнях. Назову только самые яркие (хрестоматийные), которые отсутствуют в других славянских языках: (1) употребление *шт*, *жд* на месте праславянских **tj/*kt*, **dj*; (2) «якающее произношение» *ѣ* (что непосредственно отражено в глаголице); (3) дательный притяжательный. Приведу несколько примеров: (1) ст.-слав. *ношть* — (в современных языках) болг. *нощ*, русск. *ночь*, чеш. *нос*, серб.-хорв. *ноћ*; ст.-слав. *плешти* —

болг. *плещи*, русск. *плечи*, чеш. *plese*, серб.-хорв. *plěhi*; ст.-слав. *межда* — болг. *межда*, русск. *межа*, чеш. *meze*, серб.-хорв. *међа*; ст.-слав. *рѣжда* — болг. *рѣжда*, русск. *ржа*, чеш. *rez*, серб.-хорв. *рђа*; (2) ст.-слав. *бѣлъ* — болг. *бял*, русск. *бел*, чеш. *bílý*, серб.-хорв. *био*; ст.-слав. *вѣтръ* — болг. *вятър*, русск. *ветер*, чеш. *vítr*, серб.-хорв. *вјѣтар*; ст.-слав. *тѣло* — болг. *тяло*, русск. *тело*, чеш. *tělo*, серб.-хорв. *тјѣло*; (3) ст.-слав. *гласъ плачоу, избытъкы оукроухомъ, другъ ми, жена гемоу* вместо обычного в славянских языках род. притяжательного. Но ср. совр. болг.: *брат му, женами, баща им*.

Необходимо отметить, что некоторые ученые употребляют определение «македонско-болгарские говоры СЯ», которое означает географическое положение данных говоров СЯ — юго-западных болгарских (на территории Македонии) и северо-восточных болгарских говоров. Ср.: «СЯ... был создан на основе болгарско-македонских говоров окрестностей Солуны» [14]; в основу СЯ «лег болгаро-македонский говор, принесенный в Моравию Константином и Мефодием» [15]. «Первоначальный этап развития древнеславянского литературного языка представлен языком первых литературных памятников, созданных Константином и Мефодием еще в Византии во время подготовки к их миссионерской и учительской деятельности в Великоморавском государстве; этот язык... не сохранился в первоначальном виде..., но общепризнано, что был основан на болгарско-македонских говорах окрестностей г. Солунь» [16]. Совершенно очевидно, что один и тот же говор не мог принадлежать двум языкам, имеется в виду македонский говор древнеболгарского народного языка. Об этом же пишет и Я. Петр: «Македонский диалект староболгарского языка был основой кирилло-мефодиевского старославянского языка» («Makedonský dialekt starobulharského jazyka tvořil základ cyrilometodějské staroslověnštiny») [17].

Аналогично говоры, именуемые применительно к тому же времени «паннонскими» и «моравскими», не являются говорами «паннонского» и «моравского» языков (таких языков не было!). «Моравские говоры» — это говоры древнечешского языка на территории Моравии и соответственно «паннонские» говоры — это различные славянские говоры на территории древней Паннонии.

Юго-западные (македонские) и северо-восточные болгарские говоры были говорами одного языка — древнеболгарского. «В настоящее время преобладает взгляд,— писал В. Н. Щепкин,— что язык первоучителей был одним из наречий древнеболгарского языка... Востоков указывал на ближайшее родство старославянского языка с болгарским... Иные взгляды на родину старославянского языка могли держаться, пока оставались недостаточными наши сведения о наречиях болгарского языка» [18]. «Труды Щепкина,— заключает С. Б. Бернштейн,— вместе с работами В. Облака и некоторых других славистов окончательно утвердили в науке положение о том, что старославянский язык в своей основе восходит к одному из говоров болгарского языка» [19]. В «Истории культуры древней Руси» уточняется: «Кирилл и Мефодий были, по-видимому, славянами из византийского города Солуны..., следовательно, македонскими болгарскими... братья перевели необходимые богослужебные книги с греческого на тот единственный славянский язык, который они знали с детских лет, т. е. на родной македоно-болгарский язык» [20]. Д. С. Лихачев пишет: «Общий для всех славянских, а отчасти и неславянских литератур язык „высокой“ литературы, так называемый церковнославянский (я употребляю это название как вошедшее в русский язык и поэтому не могущее быть произ-

вольно измененным), был языком национальным, болгарским по своему происхождению и наднациональным по своей функции» [21]. Совсем недавно в своем диалоге с писателем Н. Самвеляном в газете «Литературная Россия» (1986. 28 ноября) под названием «Что век грядущий нам готовит» Д. С. Лихачев сказал: «...Так же, как и некоторые другие культуры, Болгарская культура, с Кириллом и Мефодием, создала язык наднациональный. Болгары могут гордиться тем, что Кирилл и Мефодий на основе староболгарского языка создали литературный язык, который был одинаково понятен всем южным и восточным славянам». Д. Н. Шмелев замечает: «Особую роль в истории русского литературного языка играл на протяжении столетий старославянский язык... Еще его называют древнеболгарский, так как переводы были сделаны на один из диалектов болгарского языка» [22]. Аналогичную точку зрения на народную основу СЯ высказывали Б. М. Ляпунов, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, В. М. Истрин, Е. Ф. Карский, М. Н. Сперанский, С. П. Обнорский, В. В. Виноградов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий, Б. А. Ларин, А. М. Селищев, Л. А. Булаховский, Р. И. Аванесов, Ф. П. Филин и другие виднейшие слависты нашей страны, а также многие зарубежные ученые.

Н. Н. Дурново подчеркивал, что «несмотря на все различия между текстами македонскими и восточноболгарскими, трудно указать такие черты, которые были бы нормированы в той или другой группе как черты, характерные для нее... Словарные различия между текстами македонскими и восточноболгарскими сводятся к пополнению общего словаря словарными дублетами: кирилло-мефодиевские переводы и в восточноболгарских списках сохраняют в общем старый словарь, а симеоновские переводы и в македонских списках заключают слова восточноболгарского происхождения» [23]. Н. Н. Дурново имеет в виду так называемые охридско-преславские или еще менее точно глаголическо-кириллические параллели (дублеты) типа *велии* — *великъ*, *выа* — *шиа*, *гоумьно* — *токъ*, *пастырь* — *пастоухъ*, *съвѣдѣтель* — *послоухъ* и ряд подобных. Исследования последних лет подкрепляют положения Н. Н. Дурново. Так, например, в Зографском евангелии — одной из древнейших глаголических рукописей СЯ — выявлены в значительном количестве так называемые преславизмы, т. е. слова, типичные для кириллических текстов, типа *блюдо*, *жизнь*, *моучити сѧ*, *о лѣвъжѣ*, *масло*, *пастоухъ*, *понтѧвица*, *свирати*, *свирыць*, *стъклѣница* (ср. соответствующие так называемые охридизмы — *миса*, *животъ*, *ключити сѧ*, *о шоуъжѣ*, *олѣи*, *пастырь*, *плаштаница*, *пискати*, *сопыць*, *алавастръ*). В то же время в Супрасльской рукописи, написанной кириллицей и, вероятно, в Преславе, употребляются характерные для этого манускрипта производные от «охридских» слов — *бесхрамьникъ*, *боуство*, *велииство*, *приснодѣва*, сложения на *вель-* и *веле-*, которые отсутствуют в большинстве «охридских» глаголических рукописей. Приведенные и множество других фактов различных языковых уровней свидетельствуют о том, что известные нам рукописи СЯ (имеются в виду перечисленные выше 17 рукописей) являются рукописями одного языка. Новые данные к тому же полностью опровергают традиционное представление о том, что язык преславских рукописей был менее совершенен, менее богат выразительными средствами, чем язык охридских рукописей (подробнее в [24]).

Определение живой народной основы СЯ чрезвычайно важно, так как невозможно изучать любой книжный (литературный) язык любого времени, игнорируя эту основу, которая определяет систему данного языка.

Это положение в полной мере относится и к СЯ как первому письменно-литературному языку славянских народов эпохи раннего средневековья. О СЯ все еще будет традиционное и глубоко неверное младограмматическое представление как о языке пскуственном. Когда СЯ называют древнеболгарским, имеют в виду не какой-то диалект или диалекты народного болгарского языка той эпохи, а к н и ж н ы й болгарский язык, который усвоил черты многих болгарских говоров (и в этом смысле наддиалектный) и который, имея в своей основе народный язык, значительно от него отличается богатством своих выразительных возможностей.

СЯ в основном содержит общеславянские слова (хотя их болгарские значения нередко не совпадают со значениями сходно звучащих лексем других славянских языков). Большое место в его словарном составе занимают грецизмы (через греческое посредство были заимствованы и отдельные сирийские и древнееврейские слова), каждое пятое или шестое слово в словаре 17 старославянских рукописей (названных выше) — грецизм (при этом большинство их книжного происхождения, но имеются и такие, которые проникли в СЯ из болгарских говоров, территориально граничивших с греческими поселениями). Каждое 16-е слово в СЯ — сложное, подавляющее большинство их книжного происхождения, они созданы по моделям греческих сложений. По греческим моделям в СЯ образован и ряд других калек, а по их образцам — многие книжные лексемы СЯ. Значительно было влияние греческого языка и в синтаксисе СЯ. В течение X—XI вв. ряд грецизмов заменяется словами живого языка, многие грецизмы употребляются параллельно с лексемами из народной болгарской речи. Тюркские слова в лексике СЯ малочисленны. Особое место в словаре СЯ занимают паннонизмы и моравизмы, которые вошли в СЯ в период деятельности Кирилла и Мефодия в Паннонии и Моравии. Проблема лексических моравизмов и особенно паннонизмов мало изучена.

В связи с принятием христианства по византийскому образцу в России в X в. и в Сербии на рубеже XII—XIII вв. широкое распространение получили кирилло-мефодиевские переводы с греческого богослужебных книг (преимущественно тексты евангелия, апостола и псалтыри) и некоторые оригинальные сочинения на СЯ. С распространением у этих народов письменности, пришедшей из Болгарии, местные книжники стали копировать старославянские тексты, постепенно от копии к копии насыщая язык переписываемых рукописей чертами своего языка. Язык этих рукописей обычно называют церковнославянским (реже старославянским) изводом (или редакцией) соответственно древнерусского и древнесербского языков. О древнечешском изводе нам известно меньше (эти книги к концу XI в. были почти полностью уничтожены), чем о древнерусском и древнесербском, от последних сохранилось значительное количество рукописей. Много таких рукописей, начиная с XI в., дошло до нас на древнерусском церковнославянском языке [25], а от рубежа XII—XIII вв. и позднее — на древнесербском. Изводы настолько пропитывались чертами языка своих писцов (переписчиков), что постепенно от списка к списку почти переставали отличаться от книжного (высокого) слога соответственно древнерусского и древнесербского языков, поэтому их целесообразно рассматривать в границах каждого из этих языков. Генетические старославянизмы в них постепенно получали высокую стилистическую окраску, совпадающую по стилю с исконно русскими и сербскими словами, создаваемыми также и по старославянским моделям. Поэтому терминологически существенно различать «старославянизмы» (генетически из СЯ) и «славя-

низмы» (исконно русские/сербские слова высокого стиля, специфически книжные) [26].

Древнечешский извод СЯ известен нам только по четырем прямым источникам: фрагменты — Киевские листки X в., Пражские листки XI — XII вв.; глоссы Ягича и Патеры (в них суммарно около 295 слов). Остальные рукописи (жития Вячеслава и Людмилы и некоторые другие произведения) дошли до нас в поздних списках (преимущественно русского извода). Отдельные черты кирилло-мефодиевского языка сохраняются в рукописях древнечешского языка богослужебного содержания конца XIII в. и позднее, хотя эти рукописи — переводы с латинского, а не с греческого.

Целый ряд древних славянских рукописей палеослависты относят одновременно к двум языкам — к старославянскому (или церковнославянскому) как первому общеславянскому письменно-литературному языку и к языку писца данной рукописи. Так, нередко считают Остромирово евангелие и древнерусской рукописью (по говору ее писца, в ней отраженному), и старославянской с древнерусскими особенностями, поскольку в ней, кроме русских, последовательно отражаются и черты ее восточно-болгарского протографа. Некоторые палеослависты и богемисты (Вейнгарт, Гуйер, Бауэр, Вечерка и др.) считают Киевские листки и старославянским памятником с древнечешскими особенностями, и самой ранней рукописью в истории чешского языка (а словакисты и словацкого).

В результате такого расширительного понимания СЯ, когда к СЯ относят и рукописи, написанные писцами, родным языком которых являются древнерусский, древнечешский, древнесербский языки и т. д., возникает многозначность СЯ как термина. Отсюда — необходимость в каждом исследовании оговаривать состав прямых источников, которые автор относит к числу старославянских и на данных которых строит свою работу.

В последние годы отдельные ученые пользуются наименованием «многодиалектная основа СЯ», т. е. в число прямых источников СЯ включаются не только так называемые «классические» рукописи СЯ — перечисленные выше 17 рукописей (при этом опускается указание на их живую народную основу), но и все древние рукописи, созданные чешскими, русскими, сербскими и (в последнюю очередь!) болгарскими книжниками, протографы которых восходят к кирилло-мефодиевскому времени или вообще относятся к кругу богослужебных книг. Примечательно, что наименование «многодиалектная основа СЯ» применяется в общих высказываниях о СЯ, а не в конкретных исследованиях по этому языку. Это наименование ничего не дает для изучения определенных вопросов СЯ по реальным источникам, так как такой анализ прежде всего требует определить диалектную основу исследуемой рукописи — каков живой народный язык ее писца и каков язык ее протографа, т. е. установить, относится ли данный источник к «классическим» рукописям СЯ или к одному из его изводов.

Необходимо иметь в виду, что СЯ (сформировавшийся на основе болгарских говоров) — не только первый славянский литературно-письменный язык общеславянского распространения и значения в эпоху раннего средневековья, но одновременно в истории болгарского литературного языка — начальная эпоха его собственной, «внутренней» истории, а потому в этом качестве СЯ закономерно называется только древнеболгарским, а его рукописи — древнеболгарскими. Такова общепринятая терминология историков болгарского языка, в том числе и советских. Так, в моей книге «Лексика древнеболгарских рукописей X—XI вв.» [27] о лексике

древнеболгарских рукописей говорится прежде всего как об одном из уровней литературно-письменного болгарского языка X—XI вв. Задача исследования: «Синхронное изучение лексики древнеболгарских рукописей как одного из уровней литературно-письменного болгарского языка X—XI вв., т. е. как определенной лексической системы (а не только как материалов для восстановления словаря первоначальных переводов кирилло-мефодиевского времени...)» ([27, с. 6]; разрядка в журнальном варианте наша. — Ц. Р.). Еще С. П. Кульбакин писал: «В настоящее время, когда болгарское происхождение языка древнейших церковнославянских текстов доказано, грамматика церковнославянского языка должна представить первые главы исторической грамматики болгарского языка» [28].

Сравнительное изучение древних славянских языков невозможно без определения диалектной основы их рукописных источников.

С 40-х годов XX в. на территории Вардарской Македонии (ныне Социалистическая республика Македония в составе СФРЮ) начинает формироваться самостоятельная македонская нация со своим литературным языком на базе местных говоров, со своей литературой и культурой. Всестороннее изучение этого события и исторических причин, его обусловивших, позволяет со всей определенностью заключить, что в IX—XI вв. (а мы здесь касаемся только этого, «старославянского» периода) население тогдашней Македонии говорило на древнеболгарском языке (его юго-западных говорах; см. выше).

Предыстория современного македонского литературного языка и история современного болгарского литературного языка восходят к общему источнику — к древнеболгарскому языку, который как письменный язык, кроме обслуживания нужд своего народа (государственных, богослужбных, литературных), имел и громадное международное значение как первый письменно-литературный язык средневекового славянства (и который в этой своей функции обычно называется старославянским). В своей статье в «Вопросах языкознания» Х. Бирнбаум писал: «...хотя и не может быть, конечно, никакого сомнения в независимом статусе современного македонского как литературного языка, нет оснований допускать существование древнемакедонского (или даже среднемакедонского) в средние века или в начале новейшего периода» [29].

Между тем в связи с образованием македонского литературного языка стали встречаться: (1) указания на то, что солунский говор времени Кирилла и Мефодия был говором древнемакедонского языка (хотя такого славянского языка в IX в. не было); (2) вместе с тем отрицание понятия «древнеболгарский книжный язык» и понятия «древнеболгарская письменность» (и даже утверждение, что древнеболгарская литература написана на чужом для болгар — старославянском языке), мотивируемое тем, что самоназвание болгар — тюркского происхождения. При этом игнорируется тот неопровержимый факт, что древнеболгарский язык, который нам известен по надписям и рукописям, — не тюркский, а — славянский, а древнеболгарская литература написана на славянском языке с вполне определенными чертами, которые сохраняются, в отличие от других славянских языков, и в современном болгарском языке (как в литературном, так и в его говорах).

В связи с изложенными взглядами на происхождение македонского литературного языка известное распространение получило и толкование СЯ как вообще южнославянского языка (с выделением только тех языковых особенностей, которые объединяют данную группу языков, и замалчи-

ванием собственно болгарских черт СЯ, отличающих этот язык от остальных древних южнославянских языков; наиболее яркие из них указаны выше). Изредка СЯ называют просто балканским языком по своей живой основе (без указания языковых признаков). Нередко диалектной основой СЯ называют македонский говор без указания, к какому языку того времени он относится, при этом у неискушенного читателя/слушателя создается впечатление, что имеется в виду говор именно македонского языка того времени. Между тем есть все основания утверждать, что во второй половине IX в. и тем более в X—XI вв., от которых до нас дошли рукописи СЯ, уже сложилась та этническая славянская общность, которая вскоре получила наименование «болгарский народ, болгары». Первое упоминание слова *българинъ* как самоназвание славян-болгар относится к началу XI в. (в Битольской надписи Ивана Владислава 1015—1016 гг.). В связи с этим следует учитывать установленную закономерность — на письме слово обычно фиксируется много позднее его возникновения в языке в определенном значении. «Процесс формирования болгарского народного языка шел несколько сот лет, — пишет С. Б. Бернштейн. — Завершение его нужно отнести ко второй половине IX в. К этому времени завершился и процесс создания болгарского народа» [30]. Добавим, что этим временем датируется и создание первой славянской азбуки и славянской письменности на болгарской языковой основе, получивших вскоре общеславянское распространение. Ср. точное определение СЯ в энциклопедии «Русский язык»: «Старославянский язык — древнейший литературно-письменный язык славян, зафиксированный в памятниках 10—11 вв., продолжавших лит[ературную] традицию переведенных в 9 в. Константином (Кириллом) и Мефодием... и их учениками с греч[еского] языка христианских церковных книг... В основу его был положен южномакедонский (солунский) диалект древнеболгарского языка» [31].

Тем не менее даже наши справочные издания, рассчитанные на широкий круг читателей, в ряде случаев дают неверные объяснения природы СЯ. Например, в «Советском энциклопедическом словаре» 1980 г. читаем: «Старославянский язык... сложился на основе перевода с греч. яз. богослужебных книг на южно-макед. (солунский) диалект» [32]. К какому языку относится этот диалект — не указывается, ничего не говорится и о памятниках СЯ, созданных не только на диалектной основе юго-западных (македонских) древнеболгарских говоров, но и на основе северо-восточных говоров этого же языка в X—XI вв.

В «Сводном каталоге славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв.» в состав «славяно-русских», кроме, разумеется, 319 древнерусских рукописей, безоговорочно зачисляются 15 «старославянских», 86 «среднеболгарских» и 74 «сербских» [25, с. 14, 384]. Между тем слово *славяно-русский* означает применительно к лингво-текстологическим вопросам «русский со славянскими (=старославянскими) чертами». Ср. название классического труда А. Х. Востокова — «Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музея» (СПб., 1842). В книге «Пергаменные рукописи Библиотеки АН СССР» об этих рукописях сказано: «...русские и славянские рукописи...» [33, с. 3], далее: «Древнейшие славянские (т. е. болгарские и сербские) тексты...» [33, с. 4].

Все старославянские рукописи в [25] характеризуются указанием на «старославянский извод», при этом в него без комментариев включаются чехо-моравские Киевские листки и все старославянские рукописи с древнеболгарской основой (см. описания рукописей, а также с. 384). «Разделение рукописей по языковой принадлежности не производится», — сказано

в предисловии «От редакции книги» [25, с. 8], хотя практически это делается для всех рукописей, кроме старославянских. В описании, например, «Саввиной книги» [25, с. 30—33] часто цитируется монография В. Н. Щепкина, но опущен один из его основных выводов: «Саввина книга... списана... с глаголического оригинала» и «Если допустить — в чем теперь едва ли возможно сомневаться — что наречие глаголических памятников XI века есть одно из древних болгарских наречий Македонии, ... то мы должны будем ограничиться выводом, что в X—XI веке господствовавшим письмом в Македонии была глаголица. Но было бы неправильно заключать, что глаголица не была в ту же эпоху столь же известна в некоторых других областях болгарского племени» ([34]; разрядка наша. — Ц. Р.). В то же время в [25, с. 32] о русской части Саввиной книги XIV в. указывается, что в ней есть псковские черты.

О древнеболгарской языковой основе 14 старославянских рукописей ничего не говорится, хотя указываются «среднеболгарские рукописи». Создается впечатление, что составители [25] отрицают существование древнеболгарского письменно-литературного языка и литературы на родном для болгар языке в IX—XI вв. в отличие от древнерусского и древнесербского и литератур на этих языках. Во всяком случае слово *древнеболгарский* ни разу не употребляется в этом труде. В описаниях рукописей не указываются их древнеболгарские протографы. При этом ни разу не отмечается, что древне- и среднеболгарские рукописи отличаются от остальных манускриптов этого же периода рядом фонетических, морфологических, лексических особенностей, которые не встречаются (или встречаются sporadически в результате копирования древнеболгарских оригиналов) в рукописях древнерусского и древнесербского языков и в языке Киевских листков (об остальных древнечешских рукописях в Каталоге не упоминается). В своей рецензии на [25] Г. Роте пишет: «Определение в заглавии неясно: „славяно-русский“, оно наводит на мысль, что относится только к тем старорусским рукописям, которые содержат церковнославянские элементы. Но это не совпадает с материалом ... третья часть из включенных в том рукописей — не восточнославянские, а южнославянские. Большая часть из этих рукописей впрочем не была в Киевской Руси, а попала в Россию только в XIX в. Особенно это очевидно в отношении староболгарских рукописей... Международный научный мир с удивлением должен будет узнать, но едва ли согласится, что Киевские листки (№ 1), Листки Ундольского (№ 11), Охридские листки (№ 13), Маринский кодекс (№ 4), Зографский кодекс (№ 15), Супрасльский сборник (№ 23) или Паренесис Ефрема Сирина из Рыльского монастыря (№ 25) впредь должно будет относить к „славяно-русским“ рукописям... Но и отнесение большого числа среднеболгарских и сербских рукописей к „славяно-русским“ также не приемлемо» [35]. В своей рецензии на [25] В. П. Вомперский отмечает: «Лингвист не может быть удовлетворен кратким указанием извода рукописи... Его интересует достаточно подробная аргументация принадлежности рукописи к той или иной языковой редакции...» [36].

Нарочитая тенденциозность заглавия книги [25] и ряда комментариев к рукописям у неискушенного читателя создает неверное представление о языковой принадлежности 175 древних славянских рукописей, бережно хранящихся в СССР. Древнерусское рукописное наследие — самое богатое из всех славянских (только в [25] описано 319 древнерусских рукописей), и «умножать» его за счет манускриптов других славянских народов нет ни малейшей необходимости, не говоря уже об искажении научной истины. Это лишь вредит престижу отечественной славистики.

В заключение необходимо констатировать, что в нашей стране СЯ и вообще древнеславянская письменность почти перестали изучаться. Как языковедческая дисциплина СЯ вошел в число редких, точнее, вымирающих специальностей. В журнале «Коммунист» в статье «Советская историческая наука в преддверии XXVII съезда КПСС» говорится: «У нас очень мало специалистов по так называемым редким специальностям — в области палеографии..., изучения ... древних языков — греческого, латинского, старославянского, древнерусского» [37]. Такое положение тем обиднее, если вспомнить, что в XIX — нач. XX в. наша страна занимала ведущее место по изучению СЯ. Совершенствоваться в области палеославистики к нам приезжали ученые из Европы и Америки (в Московском университете, например, учился Н. Ван-Вейк). В настоящее время центрами по изучению СЯ стали ЧССР и НРБ, отчасти и ФРГ.

СЯ плохо преподается в большинстве наших гуманитарных вузов, хотя на русском и славянском отделениях он считается обязательной дисциплиной. По данным ВАК, в стране функционирует 68 университетов и 200 пединститутов, но диссертации по СЯ не защищаются уже много лет. Издания старославянских памятников и пособия по СЯ давно уже стали библиографической редкостью, вузовские учебники устарели. Ошибочные и устаревшие данные переписываются из одного пособия в другое. Ограничусь единичными примерами, к сожалению, из значительного количества возможных. Так, слово *государство* в учебниках СЯ обычно называется старославянским по своему происхождению, между тем это слово русское, оно фиксируется словарями древнерусского языка с XV—XVI вв. и не имеет в своей структуре специфически старославянских примет (суф. *-ство*, видимо, принятый авторами за исключительно старославянский, известен всем славянским языкам, идет из праславянского и зафиксирован в народных говорах различных славянских языков). В приводимых примерах, как правило, игнорируется различная семантика и стилистика старославянских и русских слов (одинаковых или близких по написанию). Например, ст.-слав. *брѣгъ*, в отличие от русск. *берег*, обозначало «возвышенность, откос» (при этом не обязательно у воды), ст.-слав. *мѣва*, в отличие от русск. *мѣла* — «шум», ст.-слав. *вѣдовица* в СЯ было неологизмом, а *вѣдова* — архаизмом (в русском языке — наоборот).

Незнание старославянских текстов нередко приводит к неверным, но категорическим заключениям. Так, Г. А. Хабургаев утверждает, что писцы Енинского апостола «не отражают носовых гласных» [9, с. 8], хотя ж и а в этой рукописи употребляются этимологически правильно (отмечены суммарно в 463 словоформах!). Ограничимся несколькими примерами. В корнях: *сѣвжъ* 22б 5; *въ жтробѣ* 22а 14; *члдо* 1б 3; *начатъкъ* 7а 3; *азыци* 20б 17. В надежных формах: *жрътѣж* 34а 15; *въ прѣвжж скиниж* 29а 12; *земѣ* 32а 9—10; *мариѣ* 25б 13. В глагольных окончаниях: *режж* 14а 9; *быважтъ* 30а 7—8; *възнесжтъ сѣ* 2а 3. В причастиях: *осжжѣди* 4а 17; *приблѣди сѣ* 2б 12—13; *просѣ* 3бб 12. В одном из пособий в комментарии к евангельскому стиху «...они же и злиха въ пиѣхъ. глѣште. да распѣтъ бждетъ» (по Зографскому евангелию, Мт 27, 23) поясняется — «очень пьяные» (!) [38].

Подчеркивая самобытность русского литературного языка, богатство и выразительность его средств во взаимодействии с СЯ, преподаватели СЯ не показывают, как правило, на конкретных примерах широкие возможности русского языка, сумевшего не только взять из СЯ то или иное слово или оборот, но и развить их, вобрать в свою систему, подчинить ее законам.

Разумеется, в кругу филологических дисциплин СЯ принадлежит скромное место, но оно не должно заполняться неверными сведениями, от этого страдают не только наша наука и ее престиж, но опосредованно общий уровень культуры народа.

Хотелось бы надеяться, что изучение СЯ как первого письменно-литературного языка славян, а также его взаимодействия с различными славянскими языками эпохи раннего средневековья получит определенный импульс в советской славистике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Восток А. Х. Рассуждение о славянском языке // Филологические наблюдения А. Х. Востокова. СПб., 1865.
2. Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского // Сб. ОРЯС. Т. V. Вып. II. СПб., 1873. С. 1, 29, 135.
3. Бодянский О. М. О древнейшем свидетельстве, что церковно-книжный язык есть славяно-булгарский // ЖМНП. 1843. Ч. 38, июнь. Отд. II.
4. Билярский П. С. О среднеболгарском вокализме по патриаршему списку летописи Манассия. СПб., 1847.
5. Dobrovský J. Kyril a Metod — apoštolové slovanští. Praha, 1948.
6. Weingart M. Rukověť jazyka staroslověnského. Praha, 1937. S. 11—12.
7. Соболевский А. И. Древний церковнославянский язык. Фonetика. М., 1891.
8. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. IV. М., 1940. Стлб. 488.
9. Хабургаев Г. А. Старославянский — церковнославянский — русский литературный // История русского языка в древнейший период. М., 1984.
10. Мединцева А., Попконстантинов К. Надписи из Круглой церкви в Преславе. София, 1984.
11. Николова Св. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания // Старобългаристика. 1981. Кн. 4. С. 36.
12. Лозаев К. И. Вклад ученых Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета в разработку кирило-методиевской проблематики // Старобългаристика. 1985. Кн. 4. С. 6.
13. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды. Т. 1. М., 1956. С. 40.
14. Бауэр Я. Старославянский язык и язык жителей Великой Моравии // Magna Moravia. Прага, 1965. С. 469.
15. Тейка М., Лампрез А. К вопросу о славянском языковом единстве в период прихода в Моравию Константина и Мефодия // Magna Moravia. Прага, 1965. С. 463.
16. Веерка Р. Великоморавские истоки церковнославянской письменности в Чешском государстве // Magna Moravia. Прага, 1965. С. 495—496.
17. Petr J. K působení byzantské mise na Velké Moravě // Slovo a slovesnost. 1986. № 2. S. 87.
18. Щепкин В. Н. Русская палеография. 2-е изд., М., 1967. С. 22.
19. Бернштейн С. Б. В. Н. Щепкин. М., 1955. С. 24—25.
20. История культуры древней Руси. Под общ. ред. акад. Грекова Б. Д. и проф. Артамонова М. И. Т. II. Гл. IV. М.-Л., 1951. С. 123.
21. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л., 1973. С. 41.
22. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 243.
23. Дурново Н. Н. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов. Byzantinoslavica. I. 1929. С. 65.
24. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.). М., 1977.
25. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. Отв. ред. книги Жуковская Л. П., М., 1984.
26. Цейтлин Р. М. К истории слова «драгоценный» в русском литературном языке // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 179—180.
27. Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X—XI вв. София, 1986.
28. Кульбакин С. М. Охридская рукопись апостола конца XII века. София, 1907. С. 9.
29. Бирнбаум Х. О двух основных направлениях в языковом развитии // ВЯ. 1985. № 2. С. 38.

30. *Бернштейн С. Б.* К вопросу о периодизации истории болгарского языка // ИАН ОЛЯ. 1950. № 2. С. 113.
31. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 331.
32. Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1277.
33. Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Описание русских и славянских рукописей XI—XVI веков. Л., 1976.
34. *Щепкин В. Н.* Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899. С. II.
35. *Роте Х.* Ценен труд по описание на стари славянски ръкописи в СССР // Език и литература. 1985. Кн. 4. С. 111.
36. *Волперский В. П.* // ИАН СЛЯ. 1986. № 4. С. 367. Рец.: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв.
37. *Тихвинский С.* Советская историческая наука в преддверии XXVII съезда КПСС // Коммунист. 1986. № 1. С. 106.
38. *Дементьев А. А.* Сборник задач и упражнений по старославянскому. М., 1975. С. 241—242.

ХАБУРГАЕВ Г. А.

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА ПАЛЕОСЛАВИСТИКИ

Известная условность научных терминов обычно связывается с произвольностью языкового знака. Между тем о произвольности знака можно рассуждать, пока мы имеем дело с первичными номинациями языка как средства повседневного («живого») общения, но не с системой письменно-литературного языка, создание которого сопровождается с о з н а т е л ь н ы м отбором л е к с и к и, вводимой в него из родного языка, заимствуемой из других языков и даже создаваемой самими носителями литературного языка (см. [1, с. 35—38]). Тем более это относится к научной терминологии, «условность» которой существенно ограничивается необходимостью д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь исследуемые о б ъ е к т ы действительности, что и оказывается предметом возникающих время от времени терминологических дискуссий: термин, отражая в известной степени уровень авторского понимания объекта, сказывается на адекватности его описания, в конечном счете — на содержательности и научной ценности выводов. Об этом напоминает нам изданная недавно книга известного палеославииста Р. М. Цейтлин «Лексика древнеболгарских рукописей X — XI вв.» (София, 1986, 355 с.; далее — ЛДБР), терминологически объединяющая разные объекты языкового познания, которым именно в силу терминологической нерасчлененности приписываются не свойственные им признаки. Последствия допускаемой автором терминологической нерасчлененности требуют самого серьезного обсуждения в интересах поступательного движения палеославистических исследований.

На титульном листе новой книги Р. М. Цейтлин не указано, что она является переизданием монографии «Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.» (М., 1977; далее — ЛСЯ); но в предисловии отмечается, что «данная работа непосредственно связана» с предшествующей книгой автора. «В одних разделах она является сокращенным вариантом названной книги, в других — развитием и уточнением ее положений» (ЛДБР, с. 7). Знакомство с книгой обнаруживает, что «развитие и уточнение» главным образом затронуло терминологическое обозначение описываемого Р. М. Цейтлин объекта, который в новой книге представлен таким образом, что это не может не вызвать самого решительного возражения со стороны читателя-палеославииста.

В самом деле. В первом издании утверждалось, что «17 древнеболгарских рукописей» (ДР) (ЛСЯ, с. 3) использованы автором в качестве прямых источников изучения л е к с и к и с т а р о с л а в я н с к о г о языка — «письменного (литературного) языка, которым (в частности? — Х. Г.) владели книжники культурных центров Юго-Западной (Македонской) и Восточной Болгарии X—XI вв.» (ЛСЯ, с. 285; то же на с. 12 как де-

финиция старославянского языка), и что анализ этих рукописей «позволил установить число известных нам с т [а р о] с л [а в я н с к и х] слов (около 10 000)» (ЛСЯ, с. 285, разрядка наша.— Х. Г.). Теперь же оказывается, что т о т ж е круг «прямых источников (ДР) позволил установить число известных нам д р [е в н е] б о л г [а р с к и х] слов (около 10 000)» (ЛДБР, с. 286, разрядка наша.— Х. Г.).

Тем более обескураживают «уточнения», связанные с характеристикой выявленных автором особенностей словарного состава исследованных памятников (именно так, хотя во втором издании — в отличие от первого — Р. М. Цейтлин и избегает этого термина, связываемого с понятием «текст определенного содержания», используя для обозначения своих источников термин «рукопись», подчеркивающий обращение к определенному с п и с к у,— см. ЛДБР, с. 10). Из первого издания мы узнали, что «для СЯ (старославянского языка.— Х. Г.) в целом, а не только для языка СП (старославянских памятников.— Х. Г.) типично употребление значительного числа дублетов (в том числе и вариантов) различного характера» (ЛСЯ, с. 285), и что «для СЯ (старославянского! — Х. Г.) характерно увеличение объема слова: многие бессуффиксальные и простые (несложные) на уровне СЯ лексемы постепенно уступают место суффиксальным и сложным словам» (ЛСЯ, с. 286), при этом «многие из производных слов являются неологизмами СЯ» [с т а р о с л а в я н с к о г о языка] (с. 287), а точнее все же — церковнославянского (см. [2, с. 5—10]). Эти (и другие) выводы в свое время получили поддержку рецензентов, поскольку автору и в самом деле удалось «выделить такие особенности лексики СЯ, которые характерны для этого языка в целом, являются о б щ е с т а р о с л а в я н с к и м и» (ЛСЯ, с. 287, разрядка наша.— Х. Г.). И вот теперь «уточняется», что н е д л я старославянского, а «для ДЯ (древнеболгарского языка.— Х. Г.) этого времени в целом, а не только для болг[арских] рукописей X—XI вв. типично употребление значительного числа слов-дублетов (в том числе и слов-вариантов) различного характера» (ЛДБР, с. 286), и что именно для него «характерно увеличение объема слова как свойство определенной категории неологизмов ДЯ. Многие бессуффиксальные и простые (несложные) на уровне ДЯ лексемы постепенно уступают место суффиксальным и сложным словам» (ЛДБР, с. 287). И самое поразительное, что все эти особенности, как теперь утверждается, «характерны для ДЯ этого периода в целом, являются общераспространенными» (ЛДБР, с. 289) — в каком смысле? Ведь не может же всерьез идти речь об «общераспространенности» в древнеболгарских говорах (?) многоморфемной лексики отвлеченной семантики, которая в 1977 г. характеризовалась как «общестарославянская»!

Итак, сопоставление двух текстов показывает, что «уточнение положений» первого издания в новом издании выразилось в п е р е н е с е н и и лексикологических и историко-словообразовательных выводов со старославянского языка на древнеболгарский, который ранее не смешивался со старославянским [см. в ЛСЯ с. 13: «Мы не принимаем наименование для СЯ „древнеболгарский“, так как последнее дает прежде всего л о к а л ь н о - э т н и ч е с к у ю характеристику этого языка, снимая его определяющую функциональную особенность как первого письменно-литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения, сыгравшего первостепенную роль в истории культуры (не только письменности) всех славянских народов без исключения» (разрядка наша.— Х. Г.)], а теперь, приобретая все признаки «письменно-

литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения» (ЛСЯ, с. 13), рассматривается вместе с тем и как определенный этап истории собственно болгарского языка (ср.: «...Мы изучаем только один из периодов истории болгарского языка, а именно — язык X—XI вв.» — ЛДБР, с. 11).

Конечно, «ДЯ X—XI вв., т. е. того периода в истории болгарского (! — Х. Г.) языка, от которого до нас дошли наиболее ранние письменные источники, — чрезвычайно важный этап в истории болгарского языка. Его тщательное и детальное исследование на всех языковых уровнях должно послужить надежной основой... для объяснения кардинальных процессов последующей истории болгарского языка» (ЛДБР, с. 13). Но если под «болгарским» понимать язык болгарского народа (а я не могу представить себе иного понимания!), то изучение его истории по данным старейших памятников письменности должно осуществляться не теми методами, которые позволили Р. М. Цейтлин прийти к выводам о специфике словаря общеславянского литературного языка эпохи средневековья; оно, в частности, требует широкого привлечения данных болгарской диалектологии и лингвогеографии, чего в книге нет и не может быть, потому что, заменив термин «старославянский» прежде отвергавшимся ею термином «древнеболгарский», Р. М. Цейтлин описывает тот же самый объект (ср. цитированные выше формулировки из ЛДБР и ЛСЯ) — систему средневекового общеславянского книжно-литературного языка, декларативно подключая к нему онтологически иной объект — средство общения болгарского народа, который требует иных историко-лингвистических характеристик и иных методов исследования (ср. [1, с. 35—36])¹. В результате терминологического отождествления письменно-литературного языка с народно-разговорным задачи и перспективы изучения собственно болгарского языка оказываются искаженными², а генезис и дальнейшая история реально исследуемого в ЛДБР объекта приобретают, по формулировкам самого автора, «локально-этническую» окраску, за тушающую «его определяющую функциональную особенность как первого письменно-литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения...» (ЛСЯ, с. 13). Более того, как можно понять из заключительного тезиса на с. 34 ЛДБР (отсутствующего в ЛСЯ), Р. М. Цейтлин теперь выступает против понимания «первого письменно-литературного языка славян как некоего искусственного языка без определенных этнических и ареальных признаков».

Нельзя не отметить, что предпосылки отождествления общеславянского средневекового книжно-литературного языка с древнеболгарским содержались уже в первом издании монографии Р. М. Цейтлин, где изучение лексики старославянского языка было ограничено показаниями 17 древнеболгарских рукописей (см. ЛСЯ, с. 3). Сводя споры о содержании по-

¹ По существу и во 2-м издании автор отказывается от материала древнеболгарских граффити IX—XI вв. (см. ЛДБР, с. 9—10), хотя и не воспроизводит здесь мотивировку своего решения, сводящуюся к тому, что граффити «более связаны с историей живого болгарского языка своего времени, нежели с историей СЯ как первого письменно-литературного языка общеславянского значения» (ЛСЯ, с. 13).

² Еще в начале нашего столетия Ф. де Соссюр заметил, что «литературный язык, подчиняющийся иным условиям существования, нежели народный язык (то есть язык естественный), наслаивается на этот последний и за собой его от нас» [3, с. 173] (разрядка наша. — Х. Г.). Именно это и происходит с изучением старейшего этапа истории болгарского языка, что, впрочем, требует особого разговора.

нения старославянского языка к определению «состава письменных памятников для изучения этого языка» (ЛСЯ, с. 9), автор настаивает на том, что к числу старославянских не относятся «рукописи X—XI вв. и более поздние, если они не принадлежат к древнеболгарскому изводу. Их мы называем церковнославянскими» (ЛСЯ, с. 14). Между тем уже в «Тезисах» Пражского лингвистического кружка подчеркивалось, что «нет никаких оснований считать истинно старославянской лишь какую-то одну из этих (представленных в памятниках X—XII вв. — Х. Г.) редакций, а остальные рассматривать как отклонение от нормы» [4, с. 33]. А в 1952 г. В. Н. Сидоров в предисловии к русскому переводу известной книги А. Вайана разъяснял: «Если признавать, согласно А. Вайану, церковнославянским языком такую разновидность старославянского языка, которая сложилась путем видоизменения старой основы на местной диалектной почве, то придется считать церковнославянскими языками, подобно моравскому и русскому церковнославянским языкам, и древнемакедонский и древнеболгарский диалекты старославянского языка» [5].

Если автор действительно ставит себе целью изучить «лексику литературного общеславянского языка только X—XI вв. по данным его рукописей» (ЛСЯ, с. 14), то исключение Киевского миссала из числа прямых источников «литературного общеславянского языка» X—XI вв. не оправдано никакими рассуждениями, включая ссылки на прецеденты (см. с. 14—15); а вопрос о «поддельности» этого старейшего из сохранившихся древнеславянских текстов после превосходного издания В. В. Нимчука [6] вообще должен быть снят. И если в число старославянских (!) включается перенасыщенный восточноболгарскими диалектными особенностями Енинский апостол (и подобные ему рукописи), то исключение из «канона» достаточно строгого по языку Остромирова евангелия 1056—1057 гг. (текста более раннего, чем некоторые рукописи, «признаваемые» Р. М. Цейтлин, — ср. [7]), менее заметно отражающего местные (восточнославянские) особенности, чем тот же Енинский апостол, оказывается необъяснимым, ибо этот памятник (как, впрочем, и другие восточнославянские рукописи XI в.) без оговорок представляет «литературный общеславянский язык только X—XI вв. по данным его рукописей».

Проблема отграничения церковнославянского от старославянского — это, конечно, не проблема источников, а проблема того прецедента в истории древнеславянского литературного языка, который определил возможность творческого отношения средневековых книжников к языку христианской литературы. Таким эпохальным событием в истории раннеславянской письменной культуры явилось в в е д е н и е к и р и л л и ц ы (в современном значении этого термина), сложившейся в результате «устроения» (по образцу глаголицы) греческого письма, употреблявшегося в восточной Болгарии вплоть до решения Преславского собора 893 г. (именно против использования греческой графической системы в славянских книгах, как это явствует из известного сочинения черноризца Храбра, возражали появившиеся в Болгарии в 886 или 887 г. последователи солунских братьев, принесшие с собою специально созданную для записи славянской речи азбуку «Константина Философа, нарицаемого Кириллом»). Официальное признание кириллицы³ (долгое время сосу-

³ Н. С. Трубецкой остроумно заметил, что новый славянский алфавит, созданный «на основе греческого заглавного письма с добавлением некоторых букв глаголицы», лишь «по недоразумению принято называть „кириллицей“, хотя лучше было бы называть его „симеоницей“» 8, с. 62].

ществовавшей с глаголицей — ср. ЛДБР, с. 72) открывало возможности приспособления языка христианских книг к местным культурно-языковым условиям (иначе говоря, положило начало формированию местных изводов церковнославянского языка), что и отражено сохранившимися славянскими рукописями конца X—XI вв., в том числе и древнеболгарскими (хотя в глаголических евангельских кодексах местные черты проявляются значительно слабее, чем в кириллических рукописях, — см. ЛДБР, с. 71—72, ср. еще с. 292—294). Во всяком случае, наблюдения Р. М. Цейтлин не дают оснований для пересмотра утверждения, что «древнеболгарско-церковнославянский» язык «представляет из себя основательную переработку староцерковнославянского языка, предпринятую в старом Болгарском царстве» при Симеоне и его преемниках [8, с. 61].

В первом издании ограничение «прямых источников» изучения лексики старославянского языка «древнеболгарскими рукописями» оправдывалось... древнеболгарской диалектной основой старославянского языка (ЛСЯ, с. 13). В ЛДБР уточняется, что первый письменно-литературный язык славян был создан Кириллом и Мефодием во 2-й половине IX в. «на основе солунского говора болгарского языка» (с. 11), что и дает автору повод рассматривать его как этап в истории болгарского языка (см. выше). Поскольку подобное мнение в славистической литературе последних лет высказывается не впервые, на нем необходимо остановиться.

Уже Ф. де Соссюр обратил внимание на то, что отнесение тех или иных смежных диалектов к одному или разным языкам-идиомам — проблема социально-историческая, а не структурно-лингвистическая [3, с. 237—240]: по признакам языковой структуры «не представляется возможным провести демаркационную линию между языками голландским и немецким, между французским и итальянским» [с. 239], как и между русским и белорусским и т. п. Определяя тот или иной диалект как русский, белорусский, немецкий (и т. д.), мы имеем в виду не его структурные признаки в сравнении с признаками смежных говоров близкородственных языков, а то обстоятельство, что его носители считают себя русскими, белорусами, немцами, голландцами и т. д., иначе говоря — опираемся на их национальное самосознание, исторически сформировавшееся в составе той или иной социально-этнической общности (для эпохи средневековья — народности), сложившейся в пределах более или менее устойчивого территориально-политического объединения. И если, учитывая это, обратиться к славянским диалектам раннего средневековья, то мы не найдем оснований, чтобы определять их как диалекты того или иного славянского языка-идиома: к середине IX в. (ко времени деятельности первоучителей) это еще были близкородственные славянские диалекты «никакого» языка, характеризовавшиеся «волнообразной» непрерывностью от южных границ их распространения на Балканском п-ове до южной Прибалтики и от поречья Эльбы до верхнего течения Оки»⁴. Называть их древнеболгарскими, древнесловенскими, древнесловацкими, древнечешскими, древнерусскими и т. д. можно только с учетом их последующей судьбы, т. е. проецируя на карту распространения

⁴ Констатируя, что «отдельных славянских языков в это время еще не было» [8, с. 60], Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново на рубеже 20—30 гг. определяли их как диалекты праславянского языка, окончательный распад которого они относили к эпохе после падения редуцированных. Очевидно, однако, что носители славянских диалектов задолго до деятельности первоучителей не составляли единой («праславянской») лингво-этнической общности.

славянских диалектов IX в. границы более поздних диалектных объединений в составе формирующихся средневековых народностей. Иначе говоря, диалект Солуня и его окрестностей, на который ориентировался в своей языковтворческой деятельности Константин Философ в 60-е годы IX в., не мог быть древнеболгарским: это был один из балканских (географически — македонских) славянских диалектов; так же как не древнесловенскими, древнесловацкими или древнечешскими, а паннонскими и моравскими были славянские диалекты того среднедунайского населения, среди которого в 60—80 гг. IX в. протекала деятельность славянских первоучителей. Впрочем, на диалект Солуня этническое определение *древнеболгарский* нельзя проецировать и ретроспективно: регион его распространения в состав Болгарского царства не вошел, и, следовательно, его носители не могли быть охвачены процессом формирования славяноязычной древнеболгарской народности (ср. [9])⁵.

Все это хорошо понимали средневековые книжники всех славянских народов, единодушно именовавшие письменно-литературную систему, исследуемую Р. М. Цейтлин, *словенским/славенским* языком⁶; еще в XVIII в. этим термином пользовался в России М. В. Ломоносов, а в Болгарии его современник Паясий Хилендарский (см. [12]). Терминологическое уточнение понадобилось только в XIX в., когда сравнительно-историческое языкознание стало использовать этот термин для обозначения одной из индоевропейских групп языков. В России, где *славенский* сохранил за собой лишь функцию языка православной церкви, он получил название *церковнославянский*. Палеославистика, приняв этот новый термин для обозначения локальных вариантов общеславянского средневекового книжно-литературного языка, его исходное состояние стала именовать *древнецерковнославянским* (ср. [13, с. XI]) — термином, который и сейчас является достаточно распространенным (нем. *Altkirchenslavisch*, англ. *Old Church Slavonic* и под.). К этому ряду наименований относится и принятый в восточно- и западнославянском языкознании термин *старославянский/staroslověnsky*, сохраняющий в своем составе средневековое название этого языка.

Другой ряд наименований языка кирилло-мефодиевских переводов связан с очень актуальной для языкознания XIX в., особенно младограмматического — с его центральным вниманием к истории «живых» языков, — проблемой диалектной основы старославянского языка⁷. Именно

⁵ Г. Г. Литаврин приходит к выводу, что в ту эпоху славяне на территории Византии «сознавали себя, кажется, не столько родственными жителям Болгарии поселенцами, вынужденными подчиняться властям иллирий, сколько „ромейчи“» [10].

⁶ На протяжении длительного времени *савоенский* воспринимался средневековыми славянскими книжниками разных стран как кодифицированная (книжно-литературная) разновидность родного языка (см. [2, с. 12—21]; ср. [8, с. 60]); и лишь с XVI в. начинает осознаваться его инославянское (и не обязательно древнеболгарское) происхождение (см. [14]).

⁷ Создается впечатление, что многие современные исследователи, обращаясь к палеославистической традиции, не учитывают того, что на протяжении XIX в. и вплоть до начала 20-х годов нашего столетия старославянский язык представлял интерес как материал для сравнительно-исторических реконструкций, т. е. как самая ранняя фиксация славянской речи (ср. [14, с. 53]). Против этого решительно выступили члены Пражского лингвистического кружка, которые, учитывая общеславянскую литературную функцию старославянского языка, предупреждали, что «было бы методологически неверно считать этот язык одним из живых славянских языков X—XII вв. и изучать его с позиций исторической диалектологии» [4, с. 32]. Обоснованию принципиально нового подхода к изучению старославянского языка посвящены работы Н. С. Трубецкого (см. [8]) и Н. Н. Дурново (см., например, [15]) и развернувшуюся вокруг этой статьи полемику между Н. Н. Дурново и С. М. Куль-

в таком контексте и появляются обозначения типа *древнесловенский* (*altslovenisch*), *паннонско-словенский* (*pannono-slovenisch*) и под., включая и *древнеболгарский*, которому отдавали предпочтение некоторые сторонники локализации диалектной основы в восточной (а не западной) группе южнославянских говоров. А. Лескин признавался, что термины типа «(древне)церковнославянский» (как и «старославянский») его не устраивают только потому, что «не содержат указания на народ и страну» (явная недооценка общеславянской сущности созданного первоучителями книжно-литературного языка!); а термины типа «(панноно-)словенский» привязывают язык первых переводов к западославянской группе, в то время как сам А. Лескин защищал его принадлежность к южнославянским языкам, что и заставляло его предпочесть наименование «древнеболгарский», хотя он и предупреждал, что оно не имеет исторического оправдания («Diese Bezeichnung hat keine historische Berechtigung» [13, с. X—XI]), и, видимо, поэтому включил его в заглавие своего труда наряду с термином «древнецерковнославянский» [см., начиная с 1-го издания 1871 г., когда полемика о диалектной основе старославянского языка была в самом разгаре: *Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache*; конец этой полемики, как известно, был положен изданием в 1896 г. знаменитой работы В. Облака «*Macedonische Studien*» (Wien)].

Впрочем, в связи с исследовательскими интересами Р. М. Цейтлин нельзя не отметить, что диалектная основа языка кирилло-мефодиевских переводов менее всего обнаруживает себя в лексике: она проявляется в фонетике и в морфологии, которые в эпоху деятельности первоучителей были по говорам достаточно однообразны, но в редких случаях диалектной дифференциации указывают либо на балканские славянские говоры вообще (как, скажем, открытый [æ] и под.), либо на говоры Македонии, а не собственно Болгарии. Так, к примеру, нет сомнений, что Константин ориентировался на диалект, в котором сослагательное наклонение образовывалось с *бимь*, *би* — *бж* (в Зогр. и Мар. ев. на 56 и 97 случаев употребления этой формы образования с аористом *быхъ*, *бы* — *бышл*, отмечены соответственно 1 и 2 раза); между тем в кириллических древнеболгарских рукописях они являются лишь «статками» первоначальной морфологической системы: в Сав. кн. на 36 форм сослагательного наклонения с аористом приходится 6 образований с *бимь*, *би...*, а в Супр. на 127 примеров с аористом — 17 образований с *бимь* (и т. д.), соответствующих наблюдениям Р. М. Цейтлин относительно особенностей словоупотребления в этом памятнике, где «в цитатах из евангелия сохраняется простой стиль евангелия» (ЛДБР, с. 292) (вместе с архаическими формами!) — в отличие от житий и гомилий, включая те места, «в которых развиваются и свободно излагаются евангельские темы» (ЛДБР, с. 293).

Что же касается лексики, то, по подсчетам А. С. Львова, около 50% слов, извлекаемых из древнеславянских памятников, не связаны с живыми славянскими говорами (что для книжно-литературного языка нормально и в более поздние эпохи — ср. [2, с. 29—33]) и являются грецизмами оригиналов или (значительно чаще) книжными новообразованиями переводчиков, использовавших славянские корни и

бакинью); а опыты конкретных исследований, учитывающих генезис и многовековую историю старославянского (древнеславянского) как общеславянского литературного языка эпохи средневековья, относятся лишь к началу 60-х годов (см. [14] и последующие работы Н. И. Толстого).

словообразовательные средства [16]. Понятно, что в основной своей массе этот слой лексики, наиболее характерный для древнеславянских текстов и представленный большим числом суффиксальных образований со значением лица (ЛДБР, с. 139—176) и отвлеченных понятий (ЛДБР, с. 176—206), а также двукорневых (и более) сложных (ЛДБР, с. 207—285), не может определяться как «древнеболгарский»: эти образования (за редкими исключениями) обязаны словотворчеству первых переводчиков и постоянно пополнялись новообразованиями по их образцам. Утверждение, будто они «в славянских языках (преимущественно литературных) являются заимствованиями» (тем более — «из древнеболгарского языка!» — ЛДБР, с. 207), мне представляется искажением реальной истории функционирования общеславянского книжно-литературного языка (хотя оно довольно распространено): правильное было бы говорить в этих случаях о литературно-языковой приемственности, а не о заимствованиях.

Остальная часть древнеславянского словаря, охватывающая обозначения бытовых реалий, конкретных качеств, отношений и действий, а также служебные слова, представлена по преимуществу лексикой общеславянской (это основная масса слов, рассматриваемых в разделе «Корневые группы» — ЛДБР, с. 96—114). Диалектно ограниченная лексика в исследованных текстах составляет не более 10% всего их словарного состава и не связана с каким-либо одним раннеславянским диалектным ареалом; при этом слова, восходящие к разным славянским диалектам, характеризуют все рукописи — независимо от места их создания. Особенно показательны в этом отношении так называемые моравизмы (или панноно-моравизмы), которые в равной степени характеризуют как глаголические рукописи, обычно связываемые с Охридской школой, непосредственно наследовавшей кирилло-мефодиевские традиции (ср. ЛДБР, с. 72), так и собственно древнеболгарские кириллические рукописи, восходящие к Преславской школе, а также древнерусские (того же XI в.) и древнесербские памятники, в том числе и достаточно поздние по времени создания. Этот факт свидетельствует о том, что авторитет книжно-литературного языка, сформировавшегося в период деятельности славянских первоучителей среди подунайских славян, сохранялся и после того, как он вышел за пределы их епархии и стал распространяться в древней Болгарии и других странах *Slavia orthodoxa*.

Наблюдения над словоупотреблением в 17 рукописях X—XI вв. различного содержания позволили Р. М. Цейтлин предложить их группировку, в целом совпадающую с характеристиками, наметившимися в результате наблюдений над орфографией и морфологией тех же текстов. Одну (более архаичную по языку) группу составляют глаголические евангельские кодексы (Зогр., Мар. и Ассем.), куда, по мнению автора, «при всем своем лексическом своеобразии и вопреки утвердившемуся мнению, все же входит...» и кириллический евангельский текст Сав. кн. (ЛСЯ, с. 291; ЛДРБ, с. 294); ярким представителем другой группы является кириллическая Супр. рук. (ЛСЯ, с. 290—291; ЛДБР, с. 293—294). Именно для памятников, представляемых Супр., «характерно обилие мотивированных слов со значением лица и с отвлеченными значениями продуктивных моделей образования — с формантами *-ъникъ*, *-тель*, *-ъць*; *-ство*, *-ость*, *-ота*. Эти рукописи отличает наличие значительного количества сложных слов различной структуры и функций...», обилие прилагательных (и т. п.); им противостоит «простой стиль языка евангелия, в частности умеренное употребление эпитетов, композит», а также некоторые

гебраизмы и исчезающие впоследствии грецизмы (ЛСЯ, с. 288—289; ЛДБР, с. 291—292). С учетом этих наблюдений конечный вывод Р. М. Цейтлина, сводящийся к тому, что «лексическое своеобразие отдельных рукописей СЯ и их групп связано с их принадлежностью к разным территориальным диалектам и различным культурным центрам (школам письменности)» (ЛСЯ, с. 291), можно принять, но с уточнением, что школы книжности определяют особенности словопотребления, которые для специфически книжной лексики не могут иметь соответствий в диалектной речи; «принадлежностью к разным территориальным диалектам» обуславливаются орфографические (традиционно — «фонетические», а также морфологические) различия между славянскими рукописями конца X—XI в.: ж = ou (Мар.ев.) или ж = ъ (Ев.ап.); ѣ = <ѣ> и <'а> (Сав.кн.) или ѣ ∞ ѧ (Остр.ев.) и т. п. Только учитывая это уточнение, можно признать, что вывод, как он сформулирован в первом издании, концентрированно характеризует реальную историю старославянского языка, заключающуюся в сложении местных церковнославянских изводов.

В новом издании, где СЯ (старославянский язык) последовательно заменяется на ДЯ (древнеболгарский язык), тот же вывод приобретает совершенно абсурдный смысл: «Лексическое своеобразие отдельных манускриптов ДЯ и их групп связано с их принадлежностью к разным диалектам ДЯ и к различным культурным центрам (школам письменности)...» (ЛДБР, с. 294). Какие же особенности «разных диалектов древнеболгарского (!) языка» определяют нарастание типично книжных многоморфемных образований с отвлеченными значениями (см. ЛДБР, с. 292—294), никогда в диалектной речи не встречающихся? Перед нами пример того, как терминологическая неразборчивость независимо от авторской воли ведет к искажению результатов объективно ценных наблюдений и к отступлению от строго научной интерпретации фактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хабургаев Г. А. Специфика объектов науки о языке (методологический аспект) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1985. № 5.
2. Хабургаев Г. А. Старославянский — церковнославянский — русский литературный // История русского языка в древнейший период. Вопросы русского языкознания. Вып. 5. М., 1984.
3. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
4. Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
5. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 9.
6. Німчук В. В. Київські глаголичні листки — найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.
7. Lunt H. G. On dating Old Church Slavonic gospel manuscripts // South Slavonic and Balkan Linguistics. Rodopi, 1982. P. 224.
8. Грубейко Н. С. К проблеме русского самопознания. Собрание статей. [Париж], 1927.]
9. Живов В. М. Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.». София, 1985, 358 с.) // ВЯ. 1987. № 1. С. 53—54.
10. Литаврин Г. Г. Народы Балканского полуострова в составе Византийской империи в XI—XII вв. // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 173.
11. Толстой Н. И. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. Вып. 1. М., 1976.

12. *Паисий Хилендарски*. История славяноболгарская. 1762. Първи Софрониев препис от 1765 година. Юбилейно фототипно издание, посветено на 250 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. София, 1972, Лл. 8б — 9а.
13. *Leskien A.* Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache, Heidelberg, 1919.— Цит. по: *Лескин А.* Старобългарска граматика (фототипно издание). София, 1981.
14. *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961. № 1.
15. *Дурново Н. Н.* Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // *Byzantinoslavica*. Roč. 1. Praha, 1929.
16. *Хабургаев Г. А.* Старославянский язык. 2-е изд. М., 1986. С. 109—129.

ПЛОТОВСКИЙ Р. Г.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ И МАШИННЫЙ ФОНД РУССКОГО ЯЗЫКА

Инженерная лингвистика (ИЛ), являющаяся теорией и практикой использования лингвистических автоматов (ЛА)¹, сформировалась в результате взаимодействия таких научных стимулов и социальных потребностей, как стремление применить к исследованию языка объективные методы и новые идеи, выработанные в естественных науках и в математике, а также все растущие запросы информационной индустрии.

Создание Машинного фонда русского языка (МФ) является по своей сути инженерно-лингвистической задачей. Поэтому, планируя архитектуру и функционирование фонда, следует помнить о гносеологических, онтологических и прагматических особенностях инженерно-лингвистического подхода к изучению и описанию языка.

ИЛ иногда рассматривают как сугубо прикладную, подчиненную нелингвистическим задачам отрасль знаний. Однако это неверная оценка. Наряду с актуальными прикладными задачами ИЛ имеет свою совершенно самостоятельную, надстраивающуюся над узкотехнологическими задачами фундаментальную проблематику. В чем же состоит существо этой проблематики?

Чтобы лучше понять отличие проблематики ИЛ от методологических задач общего языкознания, рассмотрим соотношение биохимии и биофизики с такими классическими разделами биологии, как ботаника или зоология. Последние изучают явления жизни на наблюдаемом уровне. Что же касается биохимии и биофизики, то они исследуют жизнь на ненаблюдаемых микроуровнях — молекулярном и атомном. Сходным образом классическое языкознание изучает функционирование языка на наблюдаемом человеком уровне порождения и восприятия устной и письменной речи. Задача же ИЛ состоит в том, чтобы исследовать структуру языка и текстообразование на уровне предельной детализации лингвистических объектов и связей, некоторые из которых ненаблюдаемы (ср. такие лингвистические объекты, как дифференциальный признак фонемы или сема). Единственным возможным приемом изучения ненаблюдаемых объектов является метод моделирования. Отсюда следует, что МФ должен строиться как совокупность моделей тех лингвистических объектов, которые будут включены в этот фонд.

Какие же гносеологические требования следует предъявлять к лингвистическому моделированию? Первое требование определяет отношение лингвистической модели к ее оригиналу. ИЛ не может довольствоваться построением умозрительных гипотез, пусть даже облеченных в высокую математическую форму. Каждая модель должна быть подвергнута проверке с точки зрения того, как она объясняет реальность языка. Реали-

¹ Лингвистический автомат есть сочетание лингвистического алгоритма, реализующей его программы и компьютера.

зацию таких моделей, в том числе тех лексико-грамматических моделей, которые будут заложены в МФ, следует рассматривать не столько в плане практического внедрения, сколько с точки зрения проверки строгости и объяснительной силы данной модели. Поэтому теоретическим фундаментом ИЛ должна стать теория моделей воспроизводящих инженерно-лингвистических моделей (ВИЛМ). Второе требование относится к выбору принципа построения ВИЛМ. Сотни языковедов в нашей стране и за рубежом, работавших в 60—70-х годах в русле идеи порождающей грамматики и семантики, категорически высказывались в пользу построения чисто дедуктивных умозрительных моделей. К сожалению, как только эти модели подверглись экспериментальной проверке, обнаружилось, что их объяснительная способность крайне мала. Создатель первого в мире робота, способного принимать речевые сигналы и отвечать на них, Т. Виноград, жаловался на то, что «трансформационные алгоритмы способны обрабатывать лишь небольшие подмножества английского языка, да и те неэффективным образом» [1]. Можно показать, что существуют внутренние антиномии языка, препятствующие построению достаточно общих и «сильных» дедуктивных моделей [2].

Опыт построения и эксплуатации отечественных промышленных систем МП и логико-семантической обработки больших потоков иноязычных и русскоязычных документов [3] показал, что при построении МФ целесообразно ориентироваться на индуктивные или индуктивно-дедуктивные схемы, вырастающие на основе тщательного и целенаправленного изучения информационно-смысловой и синтактико-статистической структуры реального текста [4, 5].

Обратимся теперь к онтологическому аспекту построения разного вида ВИЛМ, который состоит в необходимости 1) постоянно учитывать те свойства речевой деятельности человека, которые резко противопоставляют эту деятельность языковым и речевым возможностям ЛА, и 2) не копировать подряд все детали лингвистического объекта, но выборочно моделировать в ЛА (и соответственно помещать в фонд) лишь те элементы и свойства этого объекта, которые оказываются абсолютно необходимыми для решения конкретных задач (в умении выделить эти элементы и свойства состоит профессиональное искусство инженерного лингвиста) ².

Непонимание соотношения онтологии естественного языка с существом «языка» ЛА дорого обходится «вычислительной» лингвистике: из сотен проектов, объявленных в конце 50-х и начале 60-х годов, до эксперимента и промышленной эксплуатации удалось довести к середине 80-х годов не более двадцати систем автоматической переработки текста (отметим, что в этих проектах по мере возможности учитывались указанные выше онтологические особенности естественного языка). Остальные дедуктивные проекты прекратили существование уже на начальных этапах своего развития. Исходя из всего сказанного, становится ясным, что современ-

² К этим свойствам в первую очередь относятся: а) метафорическая открытость и адаптивность естественного языка, которая основывается на способности человеческого сознания к бесконечной селекции и ассоциированию принимаемой информации; б) способность превращать при порождении текста обобщенное и размытое значение языкового знака в конкретное, четко очерченное значение речевого знака, а затем распознавать это значение путем сопоставления конкретных ситуативных условий употребления данного знака с его языковым значением. Современный ЛА полностью лишен этих возможностей: он использует в качестве своего «языка» либо заранее заданные номенклатуры языковых единиц, либо полностью лишенные метафорических возможностей исчисления [6].

ный ЛА нельзя рассматривать как автономно функционирующее устройство, черпающее из МФ всю необходимую для обработки русских текстов информацию. Полную обработку текста можно осуществить только в коммуникативной системе «человек — автомат — человек», обладающей обратной связью с человеком — потребителем информации.

Определим теперь основные принципы построения лингвистических автоматов ближайшего будущего, — принципы, которые закладываются в проектирование ЭВМ пятого поколения [7], в том числе таких компьютеров, в которых будет моделироваться самоорганизация и ассоциативное построение памяти (ЭВМ так называемого шестого поколения) [8]. Эти принципы должны быть учтены при построении и развитии МФ, которому суждено будет взаимодействовать с ЭВМ новых поколений. Таких принципов по крайней мере четыре.

1. Принцип интерактивной работы лингвистических автоматов. Смысл его состоит, с одной стороны, в том, чтобы обеспечить контроль человека над функционированием ЛА, а с другой стороны, чтобы разумно распределять лингвистические функции между ЛА и человеком. Так, например, при машинном переводе автомат должен осуществлять массовые рутинные и полурутинные операции по отождествлению единиц текста с единицами автоматического словаря, осуществлять простейший грамматический и смысловой анализ входного текста и находить эквиваленты результатам этого анализа на выходном языке. В то же время тонкие стилистические и семантико-синтаксические операции средствами выходного языка остаются пока в компетенции человека.

2. Принцип модульной архитектуры, который предусматривает построение ЛА в виде ансамбля программных модулей, каждый из которых воспроизводит определенный уровень и/или определенный аспект речемыслительной деятельности человека.

3. Принцип развития, который состоит в построении ЛА в виде открытой системы, развивающейся путем включения новых или обновления старых модулей. При этом указанные изменения, учитывающие идеи приложения теории нечетких множеств к моделированию процесса нововведения [9] (в нашем случае вторичного семйозиса), не должны вызывать существенных изменений в структуре ЛА. Реализация этого принципа особенно важна для построения эффективного МФ.

4. Принцип самостоятельного функционирования модулей ЛА. Реализация этого принципа позволяет отдельным модулям ЛА и их наборам работать автономно, выполняя при этом разнообразные виды автоматической переработки текста от самых примитивных (например, составление алфавитных, обратных или частотных словарей) до достаточно сложных семантико-синтаксических операций (например, составление реферета текста или решение с помощью ЭВМ, подключенной к МФ, некоторой историко-лингвистической задачи) [10].

Если согласиться с тем, что описанной стратегией построения ЛА, то основные технологические задачи построения МФ русского языка, который должен будет стать в первую очередь универсальной лингвистической информационной базой данных для всех автоматов, работающих с русским языком, можно свести к следующим пунктам:

1) должны быть сформулированы информационные, вероятностные и системные принципы отбора и включения в МФ лингвистических единиц (основ, морфем, словоформ, словосочетаний), а также их парадигматических связей и валентностей, особое внимание должно быть обращено

а)
**** ОПЕРАТОР
PERSONAL COMPUTER ACC 80000

ЛИЧНЫЙ ЭВМ ACC 8000

**** ОПЕРАТОР D
FOR BUSINESS APPLICATIONS PERSONAL COMPUTER ACC 8000 PROVIDES A
WIDE RANGE OF AC COUNTING, FINANCIAL PLANNING AND MANAGEMENT
CONTROL.

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПРИМЕНЕНИЙ ЛИЧНЫЙ ЭВМ ACC 8000 ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ (РАСЧЕТНЫЙ, РАССЧИТЫ-
ВАЯ), ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬ (КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ).

б)
***** ОПЕРАТОР L
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЫХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ ПРИ ТАКТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТАХ

THE USAGE OF SIMPLE MICROCALCULATORS BY(IN) TACTICAL CALCULATI-
ONS

***** ОПЕРАТОР
МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРЫ — ЭТО ПЕРЕНОСНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙ-
СТВА МАЛОГО РАЗМЕРА И НЕБОЛЬШОЙ МАССЫ (50—300 Г), ВЫПОЛНЕН-
НЫЕ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫ-
ШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ОБЛЕГЧАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСЛОЖНЫМИ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯМИ.

MICROCALCULATORS — IT IS PORTABLE CALCULATING DEVICE OF SMALL
SIZE AND SMALL WEIGHT (50—300 G), BUILT ON THE BASIS OF ELECTRONIC
ELEMENTS AND INTENDED FOR USAGE IN ANY CONDITIONS. THEY CON-
SIDERABLY INCREASE LABOUR PRODUCTIVITY AND FACILITATE PERFOR-
MING OF OPERATIONS, CONNECTED WITH RELATIVELY SIMPLE CALCU-
LATIONS.

Рис. 1. Фрагмент результатов работы системы СИЛОД по переводу английских (а)
и русских (б) текстов. Возможности системы СИЛОД демонстрировались в вычисли-
тельных центрах Индии, а также показывались представителям информационных
служб Финляндии, Венгрии и ФРГ.

на выявление и фиксацию имплицитных (не наблюдаемых непосредствен-
но) семантических связей;

2) все нечеткие лингвистические объекты, подлежащие включению
в фонд, должны преобразовываться по единой, заранее разработанной
процедуре в дискретные «машинные» лингвистические единицы (это в
первую очередь относится к значениям основ, словоформ и словосочета-
ний), особое внимание должно быть обращено на деятельное кодирование
этих единиц;

3) МФ должен строиться как открытая база данных, которую можно
легко, без существенной структурной перестройки пополнить и коррек-
тировать как за счет введения новых, так и за счет устранения ставших
ненужными лингвистических единиц.

И в заключение несколько слов о прагматическом аспекте планиро-
вания МФ.

МФ русского языка весьма дорогостоящий проект. Поэтому при пла-
нировании его создания и развития нельзя не учитывать потребностей

отечественной и зарубежной информационной индустрии, которая всегда будет надежным источником финансирования МФ.

В настоящее время в промышленную и экспериментально-промышленную эксплуатацию вышло несколько систем автоматической переработки научно-технических и деловых текстов (ср. рис. 1). Назовем здесь экспериментально-промышленные системы англо-русского МП, построенные под руководством К. Б. Бектаева, Л. Н. Беляевой и С. В. Соколовой, В. В. Гончаренко, Ю. Н. Марчука и Б. Д. Тихомирова, а также промышленную систему переработки иероглифического текста, выполненную под руководством С. Г. Пучкова и С. В. Соколовой. Отсутствие единого МФ русского языка не дало возможности сделать эти системы совместимыми в их выходной (русской) части. А ведь такая совместимость позволила бы сэкономить много времени, средств и творческих усилий создателей этих систем.

На международном рынке особый интерес привлекают алгоритмы русско-иноязычного МП (например, русско-английский, русско-финский, русско-арабский и т. п.).

Учитывая прагматические перспективы развития фонда, было бы желательным учесть интересы реального промышленного МП в том смысле, чтобы заложить в МФ информацию, которую можно было бы легко переносить в двуязычные алгоритмы. При этом следует учесть, что основной инженерно-лингвистической особенностью наших конкурентоспособных систем является компактность их словарных статей, обеспечивающаяся строгим отбором в них такой информации, которая абсолютно необходима и релевантна для нужд анализа русского входного текста (в первую очередь) и для его синтеза (во вторую очередь). Речь здесь, разумеется, идет о деловой, публицистической и научно-технической прозе. При этом имеются в виду не раритеты, а нормативные формы слова (здесь важно также определить разумный баланс между машинными основами и флексиями). Крайне важны сведения о многозначности и омонимии словоформ в указанных стилях, об их типовых валентностях.

Одновременно можно было бы подумать и о такой лингвистической информации русских входных словоформ, которая необходима для синтеза выходного текста на корневом (например, английском или китайском), агглютинирующем (например, венгерском или японском) или фузионном с внутренней флексией (например, арабском) языках.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноград Т.* Программа, понимающая естественный язык./Пер. с англ. М., 1976. С. 74.
2. *Piotrowski R.* Text processing in the Leningrad research group «Speech statistics». Theory, results, outlook // Literary and linguistic computing. 1986. V. 1. № 1.
3. *Чижиковский В. А., Бектаев К. Б.* Статистика речи. 1956—1986.: Библиографическое пособие. Кишинев, 1986.
4. *Fu K. S.* A step towards unification of syntactic and statistical pattern recognition // IEEE Transactions of pattern analysis and machine intelligence. 1986. V. 8. № 3.
5. *Piotrowski R.* Text—Computer—Mensch. Bochum, 1984.
6. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.
7. *Симонс Дж.* ЭВМ пятого поколения: компьютеры 90-х годов. М., 1985.
8. *Kohonen T.* Self-organisation and associative memory. Berlin, 1984.
9. *Nekola J., Novak V.* The application of fuzzy set theory in innovation process modelling // Fuzzy information knowledge representation and decision analysis proceedings: IFAC Symposium, Marseille, 19—21 July 1983. Oxford, 1984.
10. *Altmann G.* Das Piotrowski-Gesetz und seine Verallgemeinerungen // Exakte Sprachwandelforschung. Theoretische Beiträge, statistische Analysen und Arbeitsberichte/Hrsg. von Best K.-H., Kohlhasse J. Göttingen, 1984.

ПОЛЕНОВА Г. Т.

ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА НЕКОТОРЫХ ФОРМАНТОВ КЕТСКОГО ГЛАГОЛА

Исследования последних десятилетий значительно расширили представления кетологов о структуре кетского глагола, но эта область еще таит в себе много неизвестного, неожиданного, и растущий интерес исследователей к такой своеобразной глагольной системе, какой является глагольная система кетского языка, вполне понятен. В предлагаемой статье нам хотелось рассмотреть некоторые загадочные строевые элементы кетских глагольных словоформ, названные Е. А. Крейновичем детерминативами (*k, t, q, d, n, b, h, s*) [1]. В частности, мы сосредоточим внимание на детерминативах *b* и *q*. Руководствуясь тезисом, что нет ничего в грамматике, чего не было бы прежде в лексике и семантике [2], попытаемся восстановить исходное значение этих до сих пор непонятных формантов.

Отметив загадочность детерминативов, Е. А. Крейнович тем не менее предположил местоименное происхождение некоторых из них [1]. Ранее он точнее указывал эти элементы: *b, k, d, q, n* [3]. Дальнейший анализ структуры кетских местоимений и местоименных грамматических показателей подтвердил, что перечисленные согласные морфемы, а также *l, s*, сочетаясь с гласными морфемами *a/o, u, i, e*, формируют основные разряды местоимений: личные, указательные и вопросительные [4]. Они же представлены в субъектно-объектных показателях глагола групп Б и Д, в предикативных аффиксах личных местоимений (*b, k, d*), в формантах времени в глагольных словоформах (*n, l, s*). В свое время было выдвинуто предположение, что упомянутые согласные элементы имели классный характер, а гласные *a/o, u, i, e* являлись дейксисами широкого плана [4; 5, с. 37]. Если исходить далее из континентивно-типологической схематики, то для объяснения происхождения детерминативов можно использовать «возможность поисков отражения пройденного типологического состояния» [6, с. 160—161], что, собственно, уже и делалось при выявлении признаков активного строя в кетском языке ([7]; см. также [8, с. 168]).

По мнению А. П. Дульзона, строй енисейских языков должен восходить к архаичной структуре классифицирующего языка, в котором вместо личных глагольных показателей функционировали классные аффиксы [9]. И хотя, как отметил Г. А. Климов, дифференциальные признаки структур классного строя в настоящее время проявляются значительно менее отчетливо, чем признаки активного и эргативного строя [6, с. 216—217], тем не менее материал кетского языка обнаруживает следы классифицирующих формантов. Свидетелями классного строя в прошлом, как нам кажется, как раз и являются вездесущие «детерминативы» и приведенные гласные (см. [5]), т. е. мы полагаем, что в исходном состоянии консонанты *b, k, d, q, n, l, s, t* служили классными показате-

лями, например, при обозначении предметов утвари, деревьев, зверей, людей, духов, рыбы, воды и т. д. В этом значении они, сочетаясь с дейксисами *a/o*, *u*, *i/e*, образовывали дейктические частицы широкого плана типа *bi-bu-ba/bo*, *di-du-da*, *ki-ku-ka*, *si-su-sa*, *ni-nu-na*, *ti-tu-ta* и т. п., а в дальнейшем послужили базой для формирования различных грамматических показателей [4]. Реликтом классного строя представляется супплетивный кетский глагол «говорить»: *nima* «говорю», *kima* «говоришь», *bada* «он говорит», *tana* «она говорит». Интересно, что этот глагол не имеет категории времени. Кеты употребляют в качестве форм настоящего и прошедшего времени одни и те же словоформы.

С развитием черт активного строя классифицирующая функция названных выше формантов сменилась функцией индикаторов активности или неактивности денотата, и с возрастанием степени абстракции, с расширением сферы грамматики (морфологии) шло перераспределение и переосмысление в языке бывших классных показателей: одни из них (*b*, *d*, *k*) в сочетании с дейксисами сохранили свою связь с денотатом, указывая на лицо, активность/инактивность, другие явились мощным деривационным фактором. В этот период в системе глагола зарождается такой атрибут активного строя, как категория версии, отмеченная Г. К. Вернером [10]. Согласно его выводам, показатели рядов *ba* обозначали действие, замкнутое на активном актанта или происходящее на месте его пребывания, а показатели рядов *bo* несли информацию о действии, направленном за пределы активного актанта или от места его пребывания [10, с. 60]. Вырисовывается тесная связь со значением детерминативов.

Для ясности приводим таблицы субъектно-объектных личных показателей кетского глагола (см. с. 76). С этим согласуется наблюдение В. Г. Шабая, который, исследуя кетские глаголы с основой в конце слова (по общему признанию кетологов, наиболее древние) на синхронном уровне, отмечает связь употребления/неупотребления детерминативов с динамичностью/статичностью глагольных актанта [8]¹. По Г. А. Климову, версия является исключительной особенностью активного глагола [11, с. 132], а в кетском языке это глаголы с личными показателями группы Б [7, с. 38], и именно эти глаголы позволяют, как нам представляется, подойти к разгадке детерминативов².

Вернемся к дейктическим частицам. Исторически устанавливается, что гласный *a* связан с лицом говорящего (*Ich-Deixis*), *u* со 2-м лицом (*Du-Deixis*), по К. Бругману [12] (ср. основной падеж кетских личных местоимений: *ad* «я», *uk* «ты»); в то же время локальным дейксисом 1-го лица является гласный *i*, ср. первичные дейктические частицы *di-du-da*, выполняющие в современном кетском языке функции именных предикативных аффиксов: *oddi* «я здоров», *oggi* «ты здоров», *oŋdi* «он здоров», *oŋda* «она здорова» и т. д. (см. табл. 2). Эти же форманты появляются в роли субъектно-объектных глагольных показателей группы Д (см. табл. 2), например:

<i>di-γ-aq</i>	«я выйду»	<i>di-γ-aŋ-an</i>	«мы выйдем»
<i>ku-γ-aq</i>	«ты выйдешь»	<i>ku-γ-aŋ-an</i>	«вы выйдете»
<i>du-γ-aq</i>	«он выйдет»	<i>du-γ-aŋ-an</i>	«они выйдут»
<i>da-γ-aq</i>	«она выйдет»		

¹ По В. Г. Шабая, показатели рядов *ba/a* или *ba/bu* (1-е и 3-е лицо) маркируют статический актанта, а показатели рядов *bo/o* или *bo/bu* — динамический [8, с. 59].

² Ср. у Е. А. Крейновича: «Оказывается, в глаголах, не имеющих детерминативов, категория лица выражается только при помощи личных показателей группы Д, а в глаголах, образованных с участием детерминативов, категория лица может быть выражена при помощи личных показателей обеих групп» [13, с. 53].

Показатели Б

Число	Лицо	1 ряд	2 ряд	3 ряд	4 ряд
Ед.	1-е	<i>ba</i>	<i>ba</i>	<i>bo</i>	<i>bo</i>
	2-е	<i>ku</i>	<i>ku</i>	<i>ku</i>	<i>ku</i>
	3-е: муж. кл.	<i>a</i>	<i>bi</i>	<i>bi</i>	<i>o</i>
	жен. кл. вещ. кл.	<i>i</i> <i>i/θ</i>	<i>bi</i> <i>θ</i>	<i>bi</i> <i>θ</i>	<i>u</i> <i>u</i>
Мн.	1-е	<i>daŋ/dΛŋ</i>	<i>daŋ</i>	<i>daŋ/dΛŋ</i>	<i>daŋ/dΛŋ</i>
	2-е	<i>kaŋ/kΛŋ</i>	<i>kaŋ</i>	<i>kaŋ/kΛŋ</i>	<i>kaŋ/kΛŋ</i>
	3-е: вещ. кл.	<i>i/θ</i>	<i>θ</i>	<i>θ</i>	<i>u</i>
	невещ. кл.	<i>aŋ</i>	<i>bi</i>	<i>bi</i>	<i>oŋ</i>

Таблица 2

Показатели Д

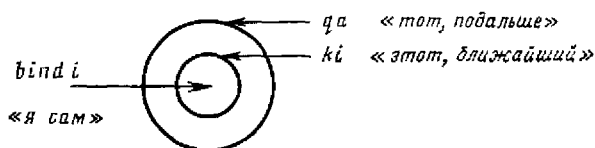
Число	Лицо	Префиксы		Инфиксы		Предигативные суффиксы
		1 ряд	2 ряд	1 ряд	2 ряд	
Ед.	1-е	<i>d i d t</i>	<i>di</i>	<i>di/d t</i>	<i>di d t</i>	<i>di?</i>
	2-е	<i>k g g i</i>	<i>ku</i>	<i>ku, gu/k</i>	<i>ku/gu/k</i>	<i>ku?</i>
	3-е: муж. кл.	<i>di d t</i>	<i>du</i>	<i>a, o</i>	<i>θ</i>	<i>du?</i>
	жен. кл. вещ. кл.	<i>da</i> <i>b, θ da</i>	<i>d</i> <i>bi/θ</i>	<i>i</i> <i>b, m</i>	<i>θ</i> <i>b/π</i>	<i>da?</i> <i>am</i>
Мн.	1-е	<i>d i d t</i>	<i>di</i>	<i>daŋ</i>	<i>daŋ</i>	<i>dΛŋ</i>
	2-е	<i>k g g i</i>	<i>ku</i>	<i>kaŋ/gaŋ</i>	<i>kaŋ/gaŋ</i>	<i>kΛŋ</i>
	3-е: вещ. кл.	<i>b/θ da</i>	<i>bi, θ</i>	<i>b/m</i>	<i>b/m</i>	<i>am</i>
	невещ. кл.	<i>di/d t</i>	<i>du</i>	<i>aŋ oŋ</i>	<i>aŋ/oŋ</i>	<i>aŋ</i>

Таким образом, сфера «я, здесь, сейчас» оказывается выраженной, с одной стороны, гласным *a*: *ad* «я», а с другой стороны, гласным *i* в предикативных и глагольных показателях, но все становится понятным, если исходить из того, что первичная форма личного местоимения 1-го лица была *a*, 2-го — *u*, а форма 3-го лица *bi* восходит к указательному местоимению [4]; т. е. комплекс $a + di > adi$ выражал состояние, неактивность 1-го лица, а $a + ba > aba$ — активность [4], его заинтересованность в действии или предмете, его причастность к ним.

Поскольку первичная функция приведенных элементов была дейктического характера, то необходимо вспомнить о сохранившихся в языке указательных местоимениях (в праязыке они представляли собой, вероятно, множество рядов, соответственно классным показателям [4]), ср.: *ki* «этот, ближайший» (очевидно, сфера говорящего), *tu* «этот, тот» (Der-Dexis) [12], *qa* «тот, подальше» (Jener-Deixis).

Согласные *k*-, *t*-, *q*-, неся информацию о классе денотата в своей первичной функции, приобрели значение уточнителя степеней удаленности от центра ситуации. Сам же этот центр выражался звуком *b*. Так позволяет думать сравнение местоимения *bin* «сам» и *ki* «этот». Схематично это можно представить следующим образом (см. рис. на с. 77).

При таком подходе к проблеме детерминативов становится понятной закономерность замены детерминатива *b* на детерминатив $q \sim g \sim k$



в формах императива, давно отмечаемая кетологами [14, с. 457], причем это явление характерно и для коттского языка [15, с. 130—131]. Наиболее показательным в этом отношении является очень широко представленный и очень продуктивный в кетском языке глагол *-bet* «делать».

<i>dibbet</i> ³	«я это сделаю»
<i>kubbet</i>	«ты это сделаешь» (сам. — П. Г.)
<i>dubbet</i>	«он это делает»
<i>dabbit</i>	«она это делает»
<i>bibbet</i>	«оно это делает, оно делается»

Императив: *il'get* «сделай это!» Форма императива демонстрирует, на наш взгляд, отсутствие говорящего в названном действии и направленность последнего за пределы говорящего, отчуждение этого действия, в то время как в индикативе подчеркнуто присутствие, участие, заинтересованность субъекта. Еще более подтверждает такое понимание семантики детерминатива *b* тот факт, что снабженный субъектными показателями группы Б этот же глагол имеет значение обладания, ср.: *s'ul'-ba-j-bät* «нарту-я-имею» (при себе. — П. Г.), *s'ul'-ku-j-bät* «нарту-ты-имеешь» [13, с. 141].

В. Г. Шабаев, например, пишет о словоформах, включающих наряду с показателями ряда *ba/a* еще и элементы *-b/-v/-p-*, следующее: «Особый интерес представляют глаголы, в составе которых наряду с показателями ряда *ba'a* имеется еще и формант *-v/-b/-p-*, который Е. А. Крейнович в своих работах характеризует как еще один „детерминатив“, и далее: «По формальным признакам обсуждаемый формант ведет себя как объектный маркер ряда *d/a*: во-первых, как и всякий показатель 3-го лица объекта ряда *d a*, он всегда располагается перед видо-временными показателями (*-a-*, *-o-*, *-l-*, *-n-*), и, во-вторых, в формах императива он отсутствует, проявляя тем самым обычную закономерность для объектного показателя класса вещей» [8, с. 131]. В. Г. Шабаев считает связь форманта *-v/-p/-b-* с показателями класса вещей у глаголов указанной группы «весьма вероятной», но тут же добавляет: «...хотя его основная функция здесь часто проявляется не совсем очевидно, в результате чего этот формант выполняет роль, казалось бы, формальной, „пустой“ морфемы» [8, с. 132]. Он ссылается при этом на работу Е. А. Крейновича [13, с. 37—38, 40, 53, 255]. Нам же представляется, что значение вещного класса у элемента *b* вторично. Исходной его функцией было выражение принадлежности человеческому телу, лицу. Данное предположение подтверждается тем, что формант *b* обнаруживается в кетском языке: (1) в форме притяжательного местоимения 1-го лица *ab* «мой»; (2) в форме личного местоимения 3-го лица *bi* «он, она» (для замещения имен неодушевленного класса у кетов нет личного местоимения); (3) в форме возвратно-определятельного местоимения *bin* «сам»; (4) в форме предикативной частицы атрибутивных местоимений: *abbi* «мой», *butbi* «ее», *andabi* «чья-то»; (5) в формах вопро-

³ *[di-b-b-e-t* (*di* «я», *-b* «это», *-b* — детерминатив, *-e/-i* — основообразующий элемент, *-t* — показатель способа действия).

сительных местоимений: *bes'e* «кто» (о женщине), *bis's'e* «кто?» (о мужчине); (6) в формах следующих имен существительных: *ba·t* «лицо», *ba : t* «старик», *ba : m* «старуха», *beʔp* «дядя, зять, муж старшей сестры», *bu:l'* «нога», *biʔŋ* «рука», *bajbul'* «коса» (волосы), у А. Кастрена *ul'bei* «душа», *buŋ* «труп», ср. кет. *bo·ŋ* «покойник»; (7) в форме прилагательного *bi·k* «чужой, другой» (отчуждение сигнализирует элемент *k*).

Если такое предположение верно, то *b* в глаголах «выстрелить», «влететь» (об искре), «спросить», «нарисовать», «приставать» (лезть), «оставить», «одеть» [8, с. 131] можно понимать как формант, восходящий к самостоятельному слову «лицо, тело», и тогда снимается вопрос о вещном классе, ср.: *ba-ŋ-i-v-raŋ* «в-меня-выстрелит» (в мое лицо, в мое тело выстрелит. — П. Г.), где *-ŋ-* выражает центробежность действия по отношению к его исполнителю; *saŋŋŋ ku-ŋ-ä-v-uk* «искра в-тебя-влетит» (искра в твое тело влетит), где функция *-ŋ-* та же [13, с. 81—82]; *ba-R-i-v-d-il'* «меня оденет» (мое тело оденет), где *R > q* имеет указанное выше значение, а *d* — классный показатель субъекта, обозначающий «живой»; *d-a-t-p-es'* «он-его-нарисует» (его тело нарисует); *ba-t-ä-p-lät* «ко-мне-пристает, лезет» и т. д.

Из рядов группы Б ряды *ba/a* и *bo/o* наиболее древние, первичные по отношению к рядам *ba/bu* и *bo/bu*. Это связано с грамматизацией классного показателя *b*. С одной стороны, он становится выразителем неживого, вещного класса, а с другой, формирует личное местоимение 3-го лица *bu* «он, она», которое в составе глагола выражает идею, что действие совершается для субъекта (им же самим для себя, над собой) [8, с. 40]. Например:

<i>ba-t-ok</i>	«я-вздрогну»	<i>ba-ŋ-s-u-Ro</i>	«я-смотрю»
<i>ku-t-ok</i>	«ты-вздрогнешь»	<i>ku-ŋ-s-u-Ro</i>	«ты-смотришь»
<i>bu-t-ok</i>	«он-вздрогнет»	<i>bo-ŋ-s-u-Ro</i>	«он-смотрит»

В глаголах с рефлексивным значением аффиксы рядов *ba/bu* и *bo/bu* ведут себя как показатели прямого объекта [8, с. 47], ср.:

<i>ba-t-i-s'uk</i>	«я-оттолкну» (от берега)
<i>ku-t-i-s'uk</i>	«ты-оттолкнешься»
<i>bu-t-i-s'uk</i>	«он-оттолкнется»
<i>da-bu-t-i-s'uk</i>	«она-оттолкнется»

Примечательно, что детерминатив *b* в приведенных примерах отсутствует. Ряды *ba/bu* и *bo/bu* появляются, на наш взгляд, с развитием субъектно-объектных отношений, с утверждением аффиксов группы Д как субъектных показателей в условиях, когда в языке возобладали черты номинативного строя. Мы полагаем, что приведенные примеры представляют собой переходный этап в становлении рефлексива на базе показателей Д, что зафиксировано у А. П. Дульзона. Очевидно, *bu* «он, она» (личное местоимение 3-го лица муж. и жен. классов) было введено в парадигму, чтобы подчеркнуть центральную роль производителя действия. То, что они послужили ступенькой к возникновению рефлексива, демонстрирует такой пример: *d-aŋ-ba-gyne* «я привязался», *d-aŋ-ba-gyne* «он меня привязал», но *d-aŋ-bu-gyne* «он привязался», *d-aŋ-a-gyne* «он привязал его». Ср. сходные различия в формах с показателями Д: *di-l'-di-s'* «я оделся»; *dil'dis'* «он меня одел», *di-l'-ä-s'* «он оделся», *d-ol'-s'* «он его одел». В пользу выдвинутого нами предположения говорит отсутствие вещного показателя *b* в рядах группы Б и типологически более поздняя грамматизация форм 3-го лица, в которых классно-личный принцип оказывается наиболее устойчивым [11, с. 193]; ср. *k'et-a-avRan* «он обидится» и *k'et-k-avRan*

«она обидится», где значение класса женщин выражено «детерминативом *k*» [13, с. 32], который явно является реликтом классного строя; что же касается обычных современных форм глагола, то классно-личный характер 3-го лица выражен показателями в группе Б: муж. кл. *-a/-o-*; жен. кл. *-i/-u-*, при помощи которых может выражаться также и значение класса вещей. В группе показателей Д 3-е лицо ед. числа разделяется на мужской класс с показателями *-a/-o-*, женский — с показателем *-i-*, класс вещей — с показателем *-b-*. Показатели муж. и жен. классов совпадают по рядам и в группе Б, и в группе Д, что говорит об их исконности, в то время как показатель вещного класса — явная инновация: в период широкого распространения в енисейских языках черт активного строя вещный класс, видимо, вообще не отражался, и соответствующие действия могли соотноситься только с одушевленными актантами [5, с. 34]. По всей вероятности, в позднеактивный период появляется необходимость выразить вещный класс, и эту функцию берут на себя показатели жен. класса в группе Б (см. табл. 1). По аналогии среди показателей 3-го лица ед. числа группы Д появляется показатель жен. класса имен: *-b-*. То, что *-b-* выражало женский класс, подтверждают примеры типа *ba:t* «старик» — *ba:m* «старуха», *blas'l'iγit* «вдовец» — *blasām* «вдова», *qim* «женщина», *am* «мать», *b'er* «жена старшего брата», где проявляется оппозиция окончаний существительных, обозначающих мужчин (*-t*) и женщин (*-m < b*). Таким образом, для форманта *b* вырисовывается такая эволюция его семантики: классный показатель, восходящий к слову со значением «тело, лицо, душа» (без различия мужчин и женщин) → классный показатель женщин → классный показатель вещей. Показатели женского и вещного классов, как нам кажется, размежевались позднее, когда в строе кетского языка возобладали черты номинативности, а на более ранней ступени развития кетского языка, когда он еще характеризовался чертами активного строя, существовало лишь противопоставление активного и инактивного начал с помощью показателей *a ~ o* (активность), *i ~ u* (инактивность); кроме того, *a*, *i* выражали центростремительность, сферу «я, здесь, сейчас», а *o*, *u* — центробежность, сферу «не-я, там, туда, тогда». Последним гласным элементам по значению соответствовал согласный *q > γ*, ср.: *qa ~ γa* «прочь, ввысь, вниз», *qa* «тот» (подальше). В своем первоначальном значении, на наш взгляд, рассматриваемый формант сохранился в глаголе «идти»:

<i>bo-γ-ā-t'-n'</i>	«я иду, я пойду»	<i>bo-γ-o-n'</i>	«я пошел, я шел»
<i>ku-γ-ā-t'-n'</i>	«ты идешь, ты пойдешь»	<i>ku-γ-o-n'</i>	«ты пошел, ты шел»
<i>o-γ-ā-t'-n'</i>	«он идет, он пойдет»	<i>o-γ-o-n'</i>	«он пошел, он шел»
<i>u-γ-ā-t'-n'</i>	«она идет, она пойдет»	<i>u-γ-o-n'</i>	«она пошла, она шла» ⁴ .

В свете рассматриваемых вопросов интересно замечание В. Г. Шабая, который, анализируя глагол «лететь», отмечает, что введение детерминатива *q* придает глаголу значение «улететь»: *at qajog* «я улечу», *qojog* «улетел» [8, с. 87]. Интересен в этом отношении также глагол «смотреть»:

<i>di-γ-ā-r'o</i>	«я-смотрю»	<i>k-o-l'-do</i>	«я-смотрел»
<i>ku-γ-ā-r'o</i>	«ты-смотришь»	<i>k-o-l'-do</i>	«ты-смотрел»
<i>du-γ-ā-r'o</i>	«он-смотрит»	<i>k-o-l'-do</i>	«он-смотрел»
<i>da-γ-ā-r'o</i>	«она-смотрит»	<i>da-k-o-l'-do</i>	«она-смотрела».

Последняя парадигма сохранила ряд черт дономинативного прошлого в развитии кетского языка, о чем свидетельствует ряд фактов: во-первых,

⁴ Мы приводим формы только ед. числа как типологически наиболее древние.

субъектные показатели представлены рядом *di/du* группы Д, который идентичен ряду предикативных формантов имени; в системе глагола эти элементы передавали идею статичности, инактивности субъекта; во-вторых, в прошедшем времени фактически отсутствует категория лица, кроме формы 3-го лица жен. класса, что является инновацией⁵; в-третьих, чередование *a : o* выражало первоначально не категорию времени, а противопоставление понятий: «здесь, сейчас» и «там, тогда», а *-l'* выражало длительный способ действия, типа английского Continuous или индоевропейского аориста (ср. [16, с. 64]). Вероятнее всего эти формы являются реликтами позднеактивного состояния кетского языка, когда категория времени еще не сформировалась; см. [11, с. 194].

Кроме приведенной парадигмы глагола «смотреть», сюда следует отнести словоформы глаголов: «подниматься в гору» и «приставать (к берегу)», ср.: *di-γ-ä-R-ut* «я-поднимусь-в гору» — *k-o-n-ut* «поднялся-в-гору», *du-γ-ä-raḡ* «я-пристаю (к берегу)» — *x-u-n'-daḡ* «приставал (к берегу)» (чередуются гласные *a > ä : o/u*, показатель *n'/n* выражает завершенность действия, перфективность; элемент *γ ~ k ~ x* передает идею центробежности действия).

Таким образом, нам представляется, что форманты кетского глагола *b* и *q* являются в тех случаях, где их грамматическое, а тем более лексическое значение не объясняются на синхронном уровне, реликтовыми уточнителями версии, а именно: *b ~ v ~ m* выражает центростремительность, замкнутость действия на активном актанте-субъекте, т. е. что оно выполняется для него или принадлежит ему, внутренне присуще ему, сосредоточено в нем, ср.:

Настояще-будущее время		Прошедшее завершенное время	
<i>di-v-ä-ris'</i>	«я-бранюсь»	<i>b-i-l'-dis'</i>	«я-бранился»
<i>ku-v-ä-ris'</i>	«ты-бранишься»	<i>b-il-gu-ris'</i>	«ты-бранился»
<i>du-v-ä-ris'</i>	«он-бранился»	<i>b-i-l'-ä-ris'</i>	«он-бранился»
<i>dä-v-ä-ris'</i>	«она-бранилась»	<i>dä-b-i-l'-ä-ris'</i>	«она-бранилась»

Формант *q ~ g ~ γ ~ k* указывает на распространенность действия за пределы ее носителя, например: *di-γ-aḡ* «я-выйду», *ku-γ-aḡ* «ты-выйдешь»; *du-γ-aḡ* «он выйдет», *dä-γ-aḡ* «она-выйдет», или: *bo-γävitn* «я выбегу, убегу»; *bo-goḡbej* «я-улетел» и т. п.

Каузирующую функцию морфемы *q ~ γ ~ g* следует, на наш взгляд, считать вторичной, развившейся с появлением категории переходности/непереходности в кетском глаголе, с выражением субъектно-объектных отношений в кетском синтаксисе. Причем в кетских глаголах можно проследить переходный этап от конструкции активного строя к конструкции номинативного типа, ср.: югск. *di-ba:ḡso* «я смотрю». Здесь субъект выражен дважды: старый показатель активного актанта *-ba-* и новый субъектный показатель *di-*, но позиция *ba* уже та же, которая характерна для прямого объекта, ср.: *ba-γ-ä-r'o* «на-меня-смотрит»; *d-a-γ-ä-r'o* «он-на-него-смотрит». В данном случае показатели ряда *ba/a* группы Б явно объектные, и интересующий нас детерминатив *q ~ γ ~ g* становится выражителем направленности действия на объект в широком плане, сочетаясь не только с аффиксами ряда *bo/o*, но и с показателями ряда *ba/a*, которые утрачивают свою первоначальную версиюнную функцию: центростремительность/центробежность.

⁵ См. у Е. А. Крейновича: «Личные префиксы ряда *di/du* встречаются главным образом в типе глаголов с основой в конце слова и, как правило, только в настоящем будущем времени» [13, с. 53].

В этом процессе дальнейшей грамматизации форманта $q \sim \gamma \sim g$ следует выделить особо этап выражения направленности действия на актант, что передавалось сочетанием обоих рассматриваемых нами формантов в одной глагольной словоформе с показателями субъекта ряда *bo/o*. Одновременное употребление *-g-* и *-b-* характерно, например, для глаголов: «поскользнуться», «упасть в обморок», «венчаться», ср.:

Настояще-будущее время		Прошедшее время	
<i>bo-g-b-un'</i>	«я-поскользнусь»	<i>bo-g-bin'-un'</i>	«я-поскользнулся»
<i>ku-g-b-un'</i>	«ты-поскользнешься»	<i>ku-g-bin'-un'</i>	«ты-поскользнулся»
<i>o-g-b-un'</i>	«он-поскользнется»	<i>o-g-bin'-un'</i>	«он-поскользнулся»
<i>u-g-b-un'</i>	«она-поскользнется»	<i>u-g-bin'-un'</i>	«она-поскользнулась»

Здесь элемент *-g-* сигнализирует о направленности действия от активного актанта, исполнителя действия, а *b* возвращает действие на сам актант. Интересно, что в прошедшем времени компонент *b* разрастается до *bin'* «сам». К этим кетским глаголам, пожалуй, полностью можно отнести определение Н. М. Терещенко, данное ей соответствующим иганасанским глаголам: «Обозначаемое этими глаголами действие мыслится как совершаемое действующим лицом не над каким-либо объектом, а над самим собой» [17]. С другой стороны, Ю. С. Степанов характеризует такие глаголы как «явно или скрыто каузативные» [18, с. 167], когда производителем действия выступает «человек как особая сущность, а объектом — человек как тело» [18, с. 305]. Вероятно, подобное проявление каузации можно считать аутокаузативом. Сюда примыкают глаголы «выскочить», «слышать», «одеваться», «сердиться», «слететь с берега, с обрыва в воду» и др., ср.: сург. *olä boyavitr* «я выскочу», *ku: yavitr* «ты выскочишь», *oyobitr* «он выскочит», *oyobinden* «он выскочил», *uyabinden* «она выскочила»; *ba-ya:bda* «я слышу», *ku-yabda* «ты слышишь», *ayabda* «он слышит», *iyabda* «она слышит». В последнем примере оба «детерминатива» сочетаются с показателями ряда *ba/a* группы Б, т. е. здесь мы видим расширение сферы употребления форманта $q > \gamma$.

В глагольных словоформах со значением «обвенчать» и «бранить», имеющих тоже сочетание элементов *-g-b-*, появляется в 3-м лице субъектный показатель *d-*, а *-g-* выражает уже направленность не на агенса, а на пациенса, ср.:

Настояще-будущее время		Прошедшее время	
<i>bo-g-b-ä-ris'</i>	«меня-бранит»	<i>bo-g-b-i-l'-dis'</i>	«меня-бранил»
<i>ku-g-b-ä-ris'</i>	«тебя-бранит»	<i>ku-g-b-i-l'-dis'</i>	«тебя-бранил»
<i>d-o-g-b-ä-ris'</i>	«он-его-бранит»	<i>d-o-g-b-i-l'-dis'</i>	«он-его-бранил»
<i>d-u-g-b-a-ris'</i>	«он-ее-бранит»	<i>d-u-g-b-i-l'-dis'</i>	«он-ее-бранил»

Но и показатели ряда *bo/o* группы Б здесь являются объектными, выражая объектную версию (см. [10, с. 61]); трансформировался и формант *-b-*, ставший уточнителем объектной версии. В пользу того, что рассматриваемые явления следует отнести к периоду развития номинативных черт в кетском языке, говорит тот факт, что в 3-м лице идентичное оформление получают глаголы с вещным субъектом, ср.: *avl'ovät bimb-u-Rut* «моя работа кончится», *avl'ovät bin-yut* «моя работа кончилась». Здесь уже трудно говорить о «теле» или «лице», и *b* выступает как показатель вещного класса субъекта, ср.: *o-g-b-u-Rut* «он-упадет-в-обморок», *u-g-b-u-Rut* «она упадет-в-обморок».

Следующую ступень эволюции формантов *-g-b-* демонстрирует глагол «увести»/«унести», «нести», ср.:

<i>bo-k-ku-Rus</i>	«я-тебя-уведу»	<i>bo-g-b-it</i>	«я-это-несу»
<i>bo-γ-ā-Rus</i>	«я-его-уведу»	<i>bo-γ-a-γ-it</i>	«я-его-несу»
<i>bo-Rus</i>	«я-ее-уведу»	<i>bu-g-b-it</i>	«он-это-несет»
<i>bo-g-bi-Rus</i>	«я-это-унесу»		
<i>bu-g-di-Rus</i>	«он-меня-уведет»		

Здесь строевой элемент *-b/-bi-* является уже только показателем вещного класса, а *k ~ g ~ γ⁶* выражает каузирующее воздействие субъекта на объект. То, что это пример довольно позднего словообразования, подтверждает наличие параллельных форм с субъектными показателями группы Д и появление форманта *bu* в словоформе 3-го лица, ср.:

<i>di-bo-b-byn</i>	«несу-это»	<i>dλγ-byxon</i>	«мы-понесем-это»
<i>ku-b-byn</i>	«несешь-это»	<i>k-kλγbyxon</i>	«вы-понесете-это»
<i>dbubbyn</i>	«он-несет-это»	<i>d-bubbyxon</i>	«они-понесут-это»
<i>dabubbyn</i>	«она-несет-это»		

В данном случае в ед. числе отсутствует детерминатив *q*, зато налицо удвоенное выражение как субъекта (присутствие показателей группы Д и группы Б), так и объекта: *-bb*. Этот глагол, видимо, является свидетельством того, как тип языка перестраивался из языка активного строя в язык номинативного строя. Он демонстрирует процесс вытеснения аффиксов группы Б с позиции показателя субъекта действия (*resp.* активного актанта) и показывает переориентацию языкового типа на передачу субъектно-объектных отношений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крейнович Е. А. Способы действия в глаголе кетского языка // Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968. С. 75.
2. Виноградов В. В. Потехина А. А. // Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 318.
3. Крейнович Е. А. О явлениях развития кетского языка от форм аналитических к формам синтетическим // Аналитические конструкции в языках различных типов. М. — Л., 1965. С. 287.
4. Живова Г. Т. Местоимения в кетском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1978.
5. Вернер Г. К., Живова Г. Т. К характеристике классной системы в енисейских языках // ВЯ. 1981. № 5.
6. Климов Г. А. Принципы континентальной типологии. М., 1983.
7. Вернер Г. К. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке // ВЯ. 1974. № 1.
8. Шабазов В. Г. Функциональный анализ системы субъектно-объектных показателей кетского глагола: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.
9. Dulson A. Eine vorgeschichtliche Sprachgemeinschaft in Zentralasien // Acta Linguistica Scientiarum Hungaricae. 1969. 19 (1—2). S. 20—21.
10. Вернер Г. К. Типология элементарного предложения в енисейских языках // ВЯ. 1984. № 3.
11. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
12. Brugmann K. Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen // Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1904. Bd. XXII. № VI. S. 9—12.
13. Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л., 1968.
14. Дульзон А. П. Кетский язык. Томск, 1968.
15. Castrén M. A. Versuch einer Jenessei-Ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen. SPb., 1858.
16. Гайер Р. С. Формы императива простых глаголов кетского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1973.
17. Терещенко Н. М. Нганасанский язык. Л., 1979. С. 19.
18. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.

⁶ Каузатив, как правило, выражается увулярно, т. е. морфемой *q ~ x*, но учитывая, что ряды звуковых соответствий часто нарушаются и кетскому *q* в других енисейских языках соответствует *k*, можно предположить, что *k* восходит к увулярному *q*, ср. югск. *ka:t* «тот» — кет. *qa:t* «тот».

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ИСАЕВ М. И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЭСПЕРАНТО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ (К столетию создания и развития)

Консервативная мысль упрямо доказывает, что эсперанто утопическая идея. Живая, закономерно развивающаяся действительность, не торопясь, но все более решительно опровергает мнение консерваторов

(А. М. Горький)

Уже сто лет функционирует и развивается плановый язык эсперанто, созданный в процессе поисков оптимальных путей решения языковых проблем многонационального человечества. Уникальный эксперимент успешного функционирования и развития сознательно сконструированного средства общения — языка эсперанто — привлекает к себе все большее внимание как в теоретическом плане, так и с точки зрения его практической и общественной значимости.

Предыстория эсперанто простирается более чем на два тысячелетия. Известно, например, высказывание древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 до н. э.) о том, что боги облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык [1]. Развитие учения об общем языке для всего человечества сопровождалось многочисленными попытками его практического осуществления. По-видимому, одним из авторов самых первых языковых проектов явился древнеримский врач и философ, большой почитатель платоновских идей Клавдий Гален (129—199 н. э.). Значительное развитие идея общего языка получила в средние века. Известны не только высказывания о необходимости для многонационального человечества единого средства общения, но и конкретные шаги к его созданию. Так, арабскому шейху Мохиеддину (XI в.) приписывается конструирование системы международно-межплеменного языка. Позже идею общего языка подхватили и развивали великий социалист-утопист Т. Мор (1478—1535), а также испанский философ и просветитель Х. Л. Вивес (1492—1540), писавший, что «было бы счастьем, если бы существовал единый язык, которым могли бы воспользоваться все народы» [2]. В эту же эпоху идею общего языка разрабатывают многие выдающиеся представители человечества, такие, как философ-утопист Т. Кампанелло (1568—1639), родоначальник английского материализма и методологии опытной науки Ф. Бэкон (1561—1626), выдающийся французский философ и математик Р. Декарт (1596—1650), который в отличие от многочисленных своих предшественников осуществление идеи единого языка обуславливал необходимостью проведения больших социальных перемен в обществе [3]. Великий чешский педагог-гуманист и философ Я. А. Коменский (1592—1670) также плодотворно трудился над реализацией этой идеи и в 1641 г. в своем трактате «Путь к свету» писал, что «мир нуждается в общем языке, ... в создании нового языка, более легкого, чем известные» [4].

Идеей всеобщего языка специально занимались такие выдающиеся представители науки, как И. Ньютон (1642—1727), его современник Г. В. Лейбниц (1646—1716), а позже и ряд других ученых и государственных деятелей XVIII в. (Ф. М. Аруа, Ш. Л. Монтескье, Д. Дидро, П. Л. Моро де Мопертюи, А. М. Ампер, Ж. Верн, А. Бебель и др.). В XIX в. появляются проекты, получившие некоторое распространение [5, с. 5 и сл.]. Так, в 1817 г. француз Ж. Ф. Сюдр (1787—1862) предложил проект музыкального языка «Сольресоль», составленный из комбинаций музыкальных нот. Лексика состояла из семи односложных, 49 двусложных, 336 трехсложных, 2268 четырехсложных и 9 072 пятисложных слов, всего в проекте предусматривалось 11 733 слова. Проект вызвал оживленный интерес, однако подлинного успеха не имел. Причина неуспеха заключалась в принципе *a priori*, который характеризовал также предыдущие проекты. Как выяснилось позднее, подлинный плановый язык может быть построен лишь на базе лингвистических явлений, характерных для обычных этнических языков, т. е. по принципу *a posteriori*.

Последовательное проведение именно этого принципа принесло первые ощутимые результаты в создании планового языка, автором которого явился католический прелат из Баварии И. М. Шлейер (1831—1912), известный полиглот, автор «всемирного алфавита», его проект под названием «волапюк» (*volapük* — деформация английских слов *world* и *speak*, т. е. «всемирный язык») был опубликован в 1880 г. и сразу имел большой успех [6]. Рассматривая структуру волапюка, создается впечатление, что в погоне за универсализацией своего языка Шлейер старался включить в его систему побольше элементов из существующих языков. В результате мы имеем чрезвычайно громоздкий грамматический аппарат смешанного апостериорно-априорно-логического типа. Кстати сказать, именно искусственно раздутая сложность грамматики и является первопричиной появлений трений среди виднейших волапюкистов, что в конечном счете привело к распаду всего их движения. Этому в немалой степени способствовал и появившийся уже эсперанто, своими качествами намного превосходивший волапюк. Но волапюк, несмотря на все, в значительной мере послужил идее общего планово созданного языка. Отныне вековая мечта многих мыслителей приобретает реальные черты, а созданный человеческим гением проект оживает и начинает функционировать как настоящий язык.

Явившись результатом двадцативековой истории развития идеи всеобщего языка, волапюк в то же время завершает всю предысторию возникновения эсперанто, победившего всех своих конкурентов и функционирующего на протяжении вот уже ста лет.

История эсперанто начинается с 1887 г., с момента, когда движение волапюкистов как раз достигло своего зенита, но наиболее дальновидные люди за горизонтом уже видели его закат [7].

Автор планового языка, варшавский врач-окулист Людвиг Лазарь (или по-русски Людовик Маркович) Заменгоф (1859—1917) был представителем гуманистической интеллигенции своего времени. В отличие от многих своих предшественников он к идее общего языка шел не от теории, а от практики. Заменгофу приходилось лечить пациентов многих национальностей — поляков, русских, немцев, евреев, украинцев и др. Владея целым рядом языков, он не мог не заметить как их общие черты, так и их различия. В стремлении помочь людям преодолеть языковой барьер он желал создать более совершенное орудие общения, чем это сделал Шлейер.

Наиболее принципиальные возражения Заменгофа против волапюка касались элементов априоризма. Вместо произвольного набора лексем

Заменгоф предлагает использовать слова и термины, «уже успевшие сделаться интернациональными», или же брать лексику из латинского «как языка полуинтернационального». Таким образом, как на один из основных принципов отбора словаря эсперанто мы можем указать на его интернационализм. Это значит, что автор нашел оптимальный подход к определению лексики предлагаемого им языка. Что касается романского характера большинства предложенных Заменгофом корней, то это, пожалуй, скорее вопрос этимологии. Он проистекает из той роли, которую многие столетия играла латынь в культурном развитии народов Европы.

Первоначально Заменгоф предлагает 900 корней, из которых по четким правилам образуется множество новых слов. Огромно значение эсперантского словообразования, не знающего исключений и проводимого с математической четкостью. В принципе образование новых слов возможно от любой основы и даже словообразовательного элемента. Это делает словообразовательный механизм чрезвычайно гибким и позволяет обходиться в несколько раз меньшим количеством корней, чем в любом «естественном» языке.

Характерно, что если по составу первоначально предложенной лексики эсперанто тяготеет к европейским языкам (точнее, романским), то по грамматическому строю он скорее примыкает к агглютинативным языкам, распространенным на Востоке [8, с. 22 и сл.].

Одной из примечательных особенностей эсперанто является его способность к совершенствованию. В этом плане он напоминает самооттачивающийся механизм. Вспомним, что Шлейер стремился к тому, чтобы его язык с самого своего зарождения был обеспечен всеми возможными выразительными средствами. В противоположность этому Заменгоф заложил лишь основы своего языка, способного к саморазвитию в процессе своего использования. Таким образом, своими принципиальными качествами язык эсперанто в такой степени превосходил детище Шлейера, что несмотря на подъем движения волапюкистов, он сразу же начал приобретать своих сторонников даже среди последователей Шлейера.

На первых порах наиболее энергичными приверженцами и пропагандистами эсперанто были преимущественно граждане России. Ряды сторонников эсперанто быстро множилось и в других странах. Так, в Германии к числу первых эсперантистов принадлежал писатель Л. Эйнштейн, основавший еще в 1888 г. первое общество эсперантистов и в 1889 г. журнал «La esperantisto». Во Франции за пропаганду нового языка энергично взялись Г. Мок и Л. де Бофрон, филолог по образованию. В начале 1898 г. он основал Общество пропаганды эсперанто и наладил ежемесячное издание журнала «L'esperantiste», выходившего в течение девяти лет. Вопрос об эсперанто обсуждался в Институте Франции Парижской Академии наук.

Однако подлинно международный период Функционирования эсперанто и развития эсперанто-движения начинается с ежегодных конгрессов, первый из которых был созван в 1905 г. На нем, кстати, было решено образовать «Лингвистический комитет», из которого в 1908 г. выделилась «Академия эсперанто», в компетенцию которой вошли вопросы нормирования языка. В том же году создается всемирное объединение эсперантистов «Universala Esperanto-Asocio» («Всеобщая ассоциация эсперантистов»), успешно функционирующее и до сих пор; оно имеет консультативный статус при ЮНЕСКО и ЭКОСОС (Экономический и социальный совет ООН).

Следует специально отметить, что эсперанто победил в ожесточенной теоретической и организационной борьбе, которая прежде всего велась

с все еще процветающим в конце 80-х годов волапоком. Но немало других испытаний пришлось выдержать новому языку в процессе своего утверждения и развития. Одно из них связано с кризисом 1907—1908 гг., вызванным действиями так называемых «реформистов» во главе со сторонниками нового языкового проекта идо, реформированного проекта эсперанто [7]. Другим тяжелым испытанием для международного языка явилась первая мировая война, которая почти полностью прервала международные контакты эсперантистов. Вместе с тем произошел раскол эсперантского движения на «рабочее» и «буржуазное». Однако язык эсперанто выжил благодаря тому, что к этому времени он уже был функционирующим языком, обслуживающим, как и другие языки, не отдельные классы общества, а различные категории и группы людей.

С окончанием мировой войны и началом восстановления мирных контактов между странами постепенно возрождается и движение эсперантистов, которые, кстати сказать, внесли свою лепту в антивоенную пропаганду и укрепление солидарности людей труда различных государств. Новое широкое распространение получает эсперанто-движение и в нашей стране, укрепляются его организационные формы. В начале 20-х годов создается Союз эсперантистов Советских Республик — СЭСР, число членов которого доходило до 30 тыс. СЭСР проводил важную работу по налаживанию интернациональных связей советских людей, велась пропагандистская работа среди рабочих-эсперантистов других стран. Работу Союза поддерживали комсомольские организации страны. Органы культуры широко использовали эсперанто в пропаганде идей коммунизма среди зарубежных эсперантистов. Велась большая издательская работа. К середине 30-х годов нашего столетия уже появилось довольно большое количество книг и статей, посвященных различным вопросам международного языка. Некоторые положения этих работ уже устарели. Однако они сохраняют свое значение как определенные исторические свидетельства энергичности поисков в самый интенсивный период развития эсперанто-движения. В связи с этим важной задачей является изучение наследия русских и советских интерлингвистов-эсперантистов.

Морально-этические принципы требуют внимательного обращения с историей вопроса, занимающей важное место в развитии любой науки. Дело в том, что наступившая в период второй мировой войны очередная приостановка эсперантской деятельности привела к известному хаосу и в научном наследии целого поколения довоенных интерлингвистов и эсперантологов. Многие из них ушли из жизни, и до сих пор мы не всегда имеем доступ к их разбросанным архивам.

Во второй половине 50-х годов наблюдается восстановление прерванных второй мировой войной международных связей эсперантистов различных стран. В частности, продолжился созыв международных конгрессов Всеобщей эсперантской ассоциации (УЭА).

В СССР значительный импульс к восстановлению эсперанто-движения дал VI Московский международный фестиваль молодежи и студентов 1957 г., в рамках которого проходили международные встречи молодых эсперантистов из многих стран. В период, непосредственно предшествовавший фестивалю, была проделана значительная работа по подготовке группы молодых советских эсперантистов, что было связано с определенными трудностями — отсутствием необходимых пособий, квалифицированных кадров преподавателей и др. Вся необходимая работа была успешно выполнена благодаря усилиям группы эсперантистов-энтузиастов во главе с известным советским ученым-филологом, интерлингвистом и

опытным эсперантистом проф. Е. А. Бокаревым, которому было суждено стать во главе движения в наступивший период эсперантского ренессанса в СССР.

Эсперанто-движение набирало силы, что привело в 1962 г. к созданию при Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД) общественной комиссии по международным связям советских эсперантистов, которая возглавила организацию поездок наших представителей за границу (на международные конгрессы, совещания, встречи и т. п.). Комиссия также занималась подготовкой различных материалов (пропагандистских, информационных, переводов художественных произведений) к изданию для распространения как среди советских эсперантистов, так и среди зарубежных коллег.

Выросшее движение эсперантистов требовало новых, более эффективных организационных форм. В результате в марте 1979 г. по инициативе ССОД, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ на базе эсперанто-комиссии была создана Ассоциация советских эсперантистов (АСЭ), деятельность которой проходит при ССОД на основе принятого на учредительной конференции «Положения об Ассоциации советских эсперантистов».

АСЭ сотрудничает со многими национальными и международными организациями. Наиболее интенсивные контакты существуют у АСЭ с эсперанто-организациями соцстран. С некоторыми из них (эсперанто-организации ГДР и Болгарии) это сотрудничество происходит на основе заключенных двусторонних соглашений. На многосторонней базе представители эсперанто-организаций соцстран ежегодно встречаются для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем эсперанто-движения.

Советские эсперантисты наиболее активно участвуют в Движении эсперантистов за мир во всем мире (МЭМ), которое объединяет борцов за мир из эсперантистов многих стран, как социалистических, так и капиталистических. МЭМ издает журналы «Расо» («Мир») и «Pasaktivulo» («Активист движения за мир»). В 1974 г. МЭМ заключило соглашение со Всемирным Советом Мира [8].

АСЭ принимает известное участие и в деятельности наиболее представительной организации эсперантистов Всеобщей эсперанто-ассоциации (УЭА — «Universala Esperanto-Asocio»). Делегации АСЭ участвуют в работе многих ежегодных конгрессов УЭА, выступая с докладами и сообщениями. Членами УЭА являются национальные ассоциации, отраслевые организации и отдельные эсперантисты на индивидуальной основе. В настоящее время в УЭА входят 44 национальные организации, включая социалистические: болгарскую, венгерскую, ГДР, китайскую, кубинскую, польскую, чехословацкие (словацкую и чешскую) и югославскую.

ЮНЕСКО оказывает определенную моральную поддержку деятельности УЭА, о чем свидетельствует, в частности, ряд резолюций по эсперанто-движению [9].

Из года в год на конгрессах УЭА все большее значение придается использованию эсперанто в целях распространения идей мира, ядерного разоружения и дружеских контактов между представителями различных стран. Заключено соглашение о сотрудничестве между УЭА и МЭМ, которое обычно свои годовые собрания приурочивает ко времени ежегодных конгрессов УЭА.

В деятельности эсперантистов большое значение придается издательскому делу. В этом отношении достигнуты немалые успехи. Так, за столетие существования эсперанто на нем изданы десятки тысяч оригинальных произведений и переводов со многих десятков национальных языков,

«больших» и «малых». Например, Британская эсперанто-библиотека насчитывала в 1970 г. 33 тысячи наименований книг на эсперанто.

Нередко эсперанто используется как язык-посредник для перевода с одного национального языка на другой. По имеющимся сведениям, более ста произведений переведено посредством эсперанто с 26 национальных языков на 25 других языков, в том числе произведения Пушкина, Гоголя, Горького, Л. Толстого, А. Толстого, Тургенева, Маяковского, Мамин-Сибиряка, Новикова-Прибоя на китайский и японский языки. «Каталог книжной службы УЭА» на 1984—1985 гг. предлагает для продажи читателям более 3000 наименований разнообразной литературы на эсперанто, 163 издательства выпускают на эсперанто художественную, политическую, научную, учебно-методическую, религиозную и другую литературу. Что касается СССР, то в период с 1963 по 1972 гг. Комиссия по координации международных связей советских эсперантистов ССОД выпустила 42 брошюры на эсперанто, в том числе Директивы съездов КПСС, Тезисы ЦК КПСС к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и другие политические материалы, 12 номеров социально-политического и литературно-художественного сборника «Por la raso» («За мир»), произведения Горького, Шолохова, Маяковского, Лермонтова, Гайдара, Лавренева, Райниса, Есенина, Леси Украинки и др. — всего 18 изданий. Эти брошюры пользовались большим успехом у зарубежных эсперантистов, о чем свидетельствуют многочисленные письма и рецензии в эсперанто-прессе того времени. За последние годы у нас издается в основном политическая литература (в АПН). В некоторых республиках печатаются также отдельные художественные произведения в переводе на эсперанто. К сожалению, в области пропаганды достижений многонациональной советской литературы у наших эсперантистов остаются неиспользованными огромные возможности.

Широкое употребление языка эсперанто как в устной, так и, в особенности, в письменной форме не может не приводить к его «шлифовке», развитию. На этом вопросе целесообразно остановиться специально, т. к. речь идет не об обычном литературном языке, а о планомерно созданном, не имеющем такой «субстратной базы», каковая обычно существует у национальных литературных языков (язык устного народного творчества, диалектная речь и т. п.).

Развитие эсперанто — такой же непреложный факт, как и развитие любого «живого» литературного языка. Однако многие вопросы развития планового языка имеют свои специфические особенности. При этом имеется в виду такой процесс, который ведет к совершенствованию языковой структуры, прогрессу его выразительных возможностей. Как известно, не любые изменения в языках способствуют их явному «прогрессу». Исходя из этого, применительно к плановому языку целесообразнее говорить о развитии в смысле совершенствования, а не просто об эволюции, как это делается в некоторых интерлингвистических работах.

Сам Заменгоф четко представлял себе необходимость и обстоятельства дальнейшего совершенствования своего детища. Еще при создании своего языкового проекта он призывал всех предлагать пути для возможного улучшения эсперанто. Одновременно он категорически возражал против бесконечных изменений, которые могут лишь расшатать здание языка, лишить его столь необходимой стабильности.

Для возможных предложений по совершенствованию структуры языка его создатель определил конкретный срок — один год, по прошествии которого «за языком будет закреплена окончательная постоянная форма».

Право решения судеб поступивших за год предложений Заменгоф остав- лял за собой. Затем должен наступить период «коллективной ответствен- ности» за язык, который «и впоследствии не будет замкнут для всевозмож- ных улучшений, — подчеркивает Заменгоф, — с той только разницей, что тогда право изменять будет принадлежать уже не мне, а авторитетной, общепризнанной академии этого языка» [10, с. 11].

«Официально установленная грамматика» эсперанто из 16 правил на французском, английском, немецком, русском и польском языках, 42 па- раграфа упражнений, признанных «официальным образцом эсперантско- го стиля», и «основной словарь, заключающий в себе все официально уста- новленные слова эсперанто», были опубликованы Заменгофом накануне I Всемирного конгресса эсперантистов в г. Булонь-сюр-Мер (Франция, 1905 г.) [11]. В полном соответствии с волей самого Заменгофа конгресс, принимая по существу принцип фундаментализма, проявляет вместе с тем исключительно гибкий подход к вопросу дальнейшего развития планового языка. «Любую идею, — говорится в принятой „Декларации“, — которая не может быть подходящим образом выражена с помощью материала, имею- щегося в „Fundamento de Esperanto“, каждый эсперантист имеет право выражать тем способом, который он находит наиболее правильным, точно так же, как это делается во всяком другом языке. Но ради полного един- ства языка всем эсперантистам рекомендуется следовать как можно боль- ше тому стилю, который применяется в работах создателя эсперанто» [12]. Вот подлинно диалектический подход к языковому развитию — фундамен- тализм, устойчивость, с одной стороны, возможность развития, совершен- ствования — с другой.

Примечательно, что говоря о возможных изменениях, Заменгоф имеет в виду не столько грамматическую структуру языка, сколько его словарь и стилистику. «Если какого-либо слова недостает в изданном мной слова- ре, — писал он, — и это слово невозможно построить по правилам слово- образования или заменить его другим выражением, — тогда всякий может создать его по собственному усмотрению...» [13].

Первоначальные установки на последующее совершенствование эспе- ранто открыли широкие возможности развития прежде всего лексики язы- ка, которую принято делить на «официальную» и «неофициальную». В пер- вую группу входят слова, утвержденные Академией эсперанто, во вторую — неологизмы и окказионализмы, применяемые различными авторами, но не получившие официального утверждения. Именно последние служат важнейшим резервом пополнения «официальной» лексики эсперанто.

В ряде словарей соответствующими пометами обозначены слова, офи- циально утвержденные в различные периоды истории эсперанто, что поз- воляет ученым исследовать процессы совершенствования лексики плано- вого языка. Так, в известном «Эсперанто-русском словаре» В. Г. Сутков- ского [14] представлена любопытная картина расширения словарного состава эсперанто за 40 лет (1887—1927). В словаре обозначены а) фундамен- тальные слова, данные в первых трудах Заменгофа, б) неологизмы, при- нятые с одобрения самого автора языка, в) слова, утвержденные Акаде- мией после смерти автора, г) неофициальная лексика, собранная Сутков- ским из опубликованной к тому времени литературы.

Картину развития эсперантской лексики последующих десятилетий можно проследить также по материалам отдельных изданий — «Plena vortaro de Esperanto» («Полного словаря эсперанто») и других словарей. Анализ фактического материала, содержащегося в указанных и других лексикографических трудах, позволяет ученым отметить определенные

закономерности развития эсперантской лексики в разные периоды ее развития. Так, Н. Ф. Дановский отмечает шесть таких периодов, характеризующих определенными специфическими особенностями: в первый период (1887—1905) эсперанто развивается главным образом в письменной форме. Устное его употребление (наряду с продолжением и расширением на нем литературного творчества) начинается в основном со второго периода (1905—1914). Почти полная приостановка эсперанто-движения и развития планового языка присущи третьему периоду (1914—1919), совпадающему с первой мировой войной. Характерным для всех трех периодов является сильное влияние на эсперанто русского языка, а само это время обычно называют «русским периодом» развития планового языка, т. е. наиболее активные его пропагандисты были гражданами России. Характерно, появление в это время калек с русского типа *subfosi* «подкопать», *surtiri* «натянуть», *aldoni* «прибавить», *subauskulti* «подслушивать» и т. д. Что касается общего развития языка, то оно происходит в рамках «фундаментальной» лексики и форм, определенных Заменгофом [15, с. 94—95].

Наиболее интенсивное развитие эсперанто наблюдается в четвертый период, период между двумя мировыми войнами (1920—1939). В это время возникает массовое пролетарское движение эсперантистов, стимулом для которого стали Великая Октябрьская социалистическая революция и революционный накал во многих странах. Этот период характеризуется процессами революционных преобразований и началом научно-технического прогресса, в плановом языке появляются целые пласты новой лексики, отражающей новые реалии (*soveto* «совет», *kolhozo* «колхоз», *mitingo* «митинг», *agregato* «агрегат» и т. д.).

Пятый период совпадает со второй мировой войной (1939—1945) и, как и третий, характеризуется деградацией эсперанто-движения и застоем в развитии самого языка.

Наступивший в послевоенную эпоху шестой период развития эсперанто-движения происходит в условиях значительного увеличения удельного веса социализма на земле, роли социалистических стран во всемирном эсперанто-движении. Небывало расширилась география распространения эсперанто, а также сфера употребления его в различных общественных, естественных и технических науках. В новый период изменяется также внешняя ориентированность эсперанто на те или иные языки-источники. Как уже было сказано, в первые три периода плановый язык развивался почти под безраздельным влиянием русского языка, внесшего большой вклад в развитие различных уровней структуры эсперанто (этому вопросу посвящена тема успешно защищенной кандидатской диссертации Б. Г. Колкера [16]). В новый период своего развития эсперанто претерпевает большое влияние английского и французского языков. Вместе с тем в произведениях, публикуемых в различных странах, нередко встречаются «окказионализмы», появившиеся под влиянием разных языков (скажем, вьетнамского, китайского, японского, болгарского, венгерского и др.), которые также (подобно обычным диалектизмам) служат немалым резервом для дальнейшего развития эсперанто.

Как показывает анализ особенностей развития структуры эсперанто, проведенный специалистами за последние годы, наиболее значительные изменения происходят в области аффиксального словообразования. Напомним лишь основные, сославшись на интересную работу одного из опытейших эсперантистов и интерлингвистов Н. Ф. Дановского [15, с. 92]. К аффиксам, попавшим в «Fundamento» Заменгофа, Академия эсперанто прибавила суф. *-end*. Таким образом, «фундаментальных», «офи-

циальных» аффиксов насчитывается 41 [17]. Однако на практике, в художественной и особенно в научной литературе встречается значительно большее количество аффиксов. Так, лексикографы отмечают префиксы: *cis-*, *retro-*, *neo-*, *hidro-*, *mega-*, *hipo-*, *bi-*, *di-*, *nitro-*, *oftalmo-*, *penta-*, *pseudo-*, *tele-*, *termo-*, *tetra-*, *ultra-* и др. Разумеется, не все они должны стать «официальными», т. е. признанными Академией эсперанто. Но сам факт их функционирования в текстах свидетельствует о дальнейших возможностях совершенствования эсперанто. Сказанное дает право утверждать, что структура эсперанто не только достаточно гибка для выражения любых оттенков мыслей и чувств, но и легко поддается дальнейшей шлифовке. Все зависит от тех задач, которые могут быть поставлены перед плановым языком, а также усилий специалистов-эсперантистов в области языкового строительства, в котором плановый язык нуждается в еще большей мере, чем национальные литературные.

В связи с этим необходимо отметить, что эсперантологи отстали от практики по крайней мере в области ономастики. Нет стабильности и единства в подаче географических названий и антропонимов. Многочисленные статьи и дискуссии по этой проблематике до сих пор не дали ощутимых результатов. Перед учеными стоят определенные задачи и в области терминологии. Значение этого пласта лексики в наш век научно-технической революции трудно переоценить, особенно для планового языка.

Но здесь мы уже переходим к заключительной части данной статьи — к сугубо теоретическим вопросам, на которых необходимо остановиться хотя бы вкратце.

В плане теории прежде всего требуют разъяснения понятия «эсперантология» и «интерлингвистика», в употреблении которых среди специалистов существует известный разнобой. Пожалуй, меньше расхождений имеется в понимании термина «эсперантология», имеющего довольно прозрачную внутреннюю форму. Термин этот предложен еще в 1921 г. Э. Вюстером [18] и с тех пор означает «учение об эсперанто» или «теорию эсперанто». Под этим подразумевают обычно историю возникновения языка эсперанто, методологические предпосылки его создания, теоретические вопросы, связанные с его структурой и функционированием. Эсперантология предстает как составная часть более широкого круга проблем, объединяемых в понятие «интерлингвистика», по которой существует довольно обширная литература [19]. В данном случае важно отметить, что среди многочисленных определений данного понятия основной план расхождений касается вопросов его объема. Первоначально автор самого термина «интерлингвистика» (от *interlangage* «международный язык»), бельгийский ученый Ж. Майсманс, говорил о новой научной дисциплине, изучающей «естественные законы» формирования общих вспомогательных языков-посредников — как «естественных», так и «искусственных» — [20]. Двумя десятилетиями позднее на II Международном конгрессе лингвистов в Женеве О. Есперсен дал свое классическое определение этому термину как «отрасли языкознания, которая исследует структуру и основные понятия всех естественных языков, имея целью установление норм для интерязыков, т. е. вспомогательных искусственных языков, предназначенных для устного и письменного общения между людьми, которые не могут объяснить-ся с помощью родного языка» [21].

Такое содержание понятия «интерлингвистика» в принципе характерно для целого ряда работ, появившихся в 30-х и 40-х годах. Их авторы (Э. Сепир, М. Сводеш, У. Коллинсон, Ш. Балли, А. Сеше, А. Дебруннер,

О. Функе, А. Мартине и некот. др.) подчеркивали общезыковедческий характер интерлингвистики.

В противовес этому с конца 50-х годов в некоторых научных трудах объем понятия «интерлингвистика» как бы сужается и она начинает осмысляться только с точки зрения роли, которую может сыграть международный вспомогательный язык в преодолении языковых барьеров на международной арене. Это нашло свое отражение и в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахматовой. Согласно ее определению, интерлингвистика — это «раздел языкознания, изучающий разнообразные вопросы, связанные с созданием и функционированием различных вспомогательных языков — от международных языков типа эсперанто, интерлингва и т. д. до математических языков-посредников, информационно-логических языков и вспомогательных кодов для машинного перевода, информационных машин и т. п.» [22]. Подобный сдвиг в понимании интерлингвистики, по-видимому, объясняется двумя причинами. Во-первых, уже накоплен значительный опыт использования эсперанто в различных сферах международных контактов (международная переписка, проведение на эсперанто конгрессов, симпозиумов, совещаний и т. п., издание разнообразной литературы и т. д.), который требовал своего специального осмысления. Во-вторых, в 50-е и 60-е годы значительного уровня достигли успехи ученых по решению проблемы машинного перевода (были составлены различные коды и «машинные языки»), что требовало также своего интерлингвистического осмысления. В настоящее время в целом ряде книг уже получили освещение основные интерлингвистические концепции. Поэтому ограничимся упоминанием наиболее известных имен, внесших свою лепту в развитие этой молодой лингвистической дисциплины: Г. Шухардт, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. С. Трубецкой, О. Есперсен, Н. Я. Марр, Э. Сепир, А. Мартине, М. В. Щерба, Н. В. Юшманов, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, А. М. Пешковский, Л. А. Булаховский, Л. И. Жирков и др. (подробнее см. [23]). Особенно хочется подчеркнуть имя выдающегося советского руководителя эсперанто-движения в 20—30-х годах Э. К. Дрезена, интерлингвистическая деятельность которого до сих пор не оценена по достоинству. В послевоенный период наиболее значительной фигурой в советской интерлингвистике явился замечательный кавказец и эсперантист проф. Е. А. Бокарев, которому принадлежит целый ряд разъяснений по конкретным вопросам о характере и роли эсперанто как международного вспомогательного языка [24, 25]. В частности, он как профессиональный лингвист ратовал за то, чтобы сделать эсперанто полноценным объектом исследования. Что касается задач ученых в области решения проблемы международного вспомогательного языка, то Бокарев указывал прежде всего на необходимость «серьезного изучения всех аспектов этой проблемы в одном научном центре (или нескольких центрах), широкой пропаганды самой проблемы в научных кругах, для подготовки таким образом авторитетной постановки вопроса в авторитетной международной инстанции» [25]. Хочется отметить, что в послевоенный период развития интерлингвистики немалую роль сыграли принципиальные статьи одного из последователей Е. А. Бокарева, академика Академии эсперанто проф. В. П. Григорьева. В его работах дается аргументированный ответ на целый ряд возражений противников эсперанто [26—29]. Определенное положительное значение имело и появление книги Э. Свадоста [1], в которой, несмотря на ряд спорных положений, имеется подробная сводка материалов по истории возникновения идеи всеобщего языка и конкретным попыткам построить проекты такого языка. Ученики

и последователи Бокарева в своих работах стараются развить его научные положения. В частности, члены Проблемной группы по интерлингвистике (Институт языкознания АН СССР) за последние годы осуществили ряд публикаций [5, 8, 12, 30, 31]. Необходимо также сказать о той ценной работе, которую проводит по интерлингвистике профессор Тартуского университета А. Д. Дуличенко. Особенно хочется подчеркнуть значение подготавливаемых им сборников «*Interlingvistica Tartuensis*» (уже вышли 3 сборника [32—34]), в которых поднимаются и анализируются самые различные вопросы интерлингвистики и эсперантологии.

Немало делают и наши зарубежные коллеги — в Болгарии, Венгрии, Польше, ГДР, ФРГ, Англии, США и др. странах. Среди десятков имен ученых, занимающихся в настоящее время различными аспектами интерлингвистики и эсперантологии, пожалуй, наиболее ярко выступает имя видного деятеля эсперанто-движения в ГДР, крупного ученого-интерлингвиста Д. Бланке. За последние годы его практическая деятельность в эсперанто-движении проходит на фоне активной научной разработки целого ряда проблем интерлингвистики и эсперантологии [35, 36].

Ясно, что одной из актуальных задач деятельности советских интерлингвистов является налаживание более тесной координации исследовательской работы не только внутри страны, но и в международном масштабе. Важно, в частности, шире привлекать эсперанто для типологических исследований. Вспомним, например, сколько усилий приложено лингвистами, чтобы выявить так называемые универсалии. В структуре планового языка можно вскрыть эти «универсалии», да еще не разрозненными, а в целостной системе.

Приходится констатировать, что общее языкознание в долгу перед интерлингвистикой, в которой сокрыто немало возможностей для решения многих теоретических и социологических проблем языковой жизни современного многонационального человечества. В то же время многовековая история развития идеи вспомогательного языка, столетний опыт его функционирования нуждаются в глубоком философском и лингвосоциологическом анализе.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Свадост Э.* Как возникнет всеобщий язык? М., 1968. С. 76.
2. *Дрезен Э.* Проблема международного языка на текущем этапе его развития. М., 1932. С. 8.
3. *Descartes, Oeuvres.* I. Correspondence: Avril 1622 — Fevrier, 1638. P., 1897.
4. *Bibliorgafio 1929* // *Bibliografio de internacia lingvo.* Genève, 1929. P. 32.
5. *Кузнецов С. Н.* Основные понятия и термины интерлингвистики. М., 1982.
6. *Холин И.* Volarük. Всемирный язык Шлейера. СПб., 1886.
7. *Жирков Л. И.* Почему победил эсперанто? М., 1930.
8. *Исаев М. И.* Язык эсперанто. М., 1983.
9. *Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la internacia lingvo.* London — Rotterdam, 1974. P. 624.
10. *Заменгоф Л. Л.* Международный язык. Предисловие и полный учебник. Варшава, 1887. С. 29.
11. *Заменгоф Л. Л.* Основы международного языка эсперанто. М., 1911. С. 3.
12. *Кузнецов С. Н.* Основы интерлингвистики. М., 1982. С. 73.
13. *Заменгоф Л. Л.* Прибавление ко второй книге международного языка. Варшава, 1889. С. 73—74.
14. *Сутковский В. Г.* Эсперанто-русский словарь. Л., 1927.
15. *Дановский Н. Ф.* Эволюция эсперанто // Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1976.
16. *Колкер Б. Г.* Вклад русского языка в формирование и развитие эсперанто: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
17. *Русско-эсперантский словарь.* М., 1950. С. 533—536.

18. *Wuster E.* Esperantologio kaj esperantologoj // *Esperanto trimfonta*. 1921. № 41—42.
19. *Дуличенко А. Д.* Интерлингвистика / Актуальные проблемы современной интерлингвистики. Тарту, 1982. С. 5.
20. *Maymans J.* Une science nouvelle // *Lingua internationale*. Bruxelles, 1911. № 8.
21. *Jespersen O.* A new science: interlinguistics. Cambridge, 1931.
22. *Азманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
23. *Дуличенко А. Д.* Обзор важнейших интерлингвистических изучений в СССР // История и современное состояние интерлингвистики. Тарту, 1982. С. 3.
24. *Исаев М. И.* Е. А. Бокарев и интерлингвистика / Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1975. С. 5.
25. *Бокарев Е. А.* О международном вспомогательном языке науки // Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1975. С. 25.
26. *Григорьев В. П.* Бодуэн де Куртене и интерлингвистика // И. А. Бодуэн де Куртене (К 30-летию со дня смерти). М., 1960.
27. *Григорьев В. П.* Об интерлингвистической языковой форме / Проблемы современной филологии. М., 1965.
28. *Григорьев В. П.* О некоторых вопросах интерлингвистики // ВЯ. 1966. № 1.
29. *Григорьев В. П.* Искусственные вспомогательные международные языки как интерлингвистическая проблема // Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1975.
30. *Кузнецов С. Н.* Направления современной интерлингвистики. М., 1984.
31. *Семенова Э. В., Исаев М. И.* Учебник языка эсперанто. М., 1984.
32. Актуальные проблемы современной интерлингвистики. Тарту, 1982.
33. Теория и история международного языка. Тарту, 1983.
34. История и современное состояние интерлингвистики. Тарту, 1984.
35. *Blanke D.* Esperanto und Wissenschaft. Berlin, 1982.
36. *Blanke D.* Internationale Plansprachen. Eine Einführung. Berlin, 1985.

СИЛИН В. Л.

К ПРОБЛЕМЕ СИНОНИМИИ

Тождество, или равнозначность понятий, закрепленных за разными словами, — общепризнанное условие образования лексической синонимии [1]. В то же время в синонимические отношения могут вступать слова, соотносящиеся по семантике как род и вид, т. е. имеющие генерализованные и специализированные значения. В отличие от логического тождества семантическое тождество лексических единиц имеет место и при наличии у них различий стилистического или идеографического порядка. Последние и приносят смысловые оттенки в лексическое значение, отсутствующие у нейтрального слова данного ряда, понятийное содержание которого беднее и менее конкретно, чем у соотносимых слов с видовыми значениями.

Среди многих советских и зарубежных языковедов распространено мнение, что слова, соотносимые по семантике как вид и род, не являются синонимами [2—4]. Эта мысль в нашей стране впервые была высказана в статье А. Б. Шапиро «Некоторые вопросы теории синонимов»: «Не синонимичны, — пишет он, — слова, из которых одно обозначает родовое понятие, а другое (или другие) видовое (или видовые)» [5, с. 75]. Факты многих языков убеждают нас в том, что в этой формулировке допущено неоправданное обобщение, и мы попытаемся показать это на материале разных языков.

Лат. *flos* (род. п. ед. ч. *floris*) «цветок» в разное время проникло в германские языки. Его освоение английским языком обусловило появление омонимов: *flower* «цветок» и *flour* «мука» (< ст.-франц. *flor*, *flour*, совр. франц. *fleur* «цветок» < и.-е. **bhlō-* [6]). Причем само по себе слово *flower* означало когда-то и то, и другое (ср.: *flower* «the finest quality of meal» [7]). Значение «мука» сосуществовало с исходным «цветок» вплоть до распада полисемии. Графическое размежевание омонимов в таких случаях дает основание говорить о том, что перед нами омофоны. Родственному слову других германских языков присущи значения «цвет», «цветение» (нем. *Flor*, дат., норв., швед. *flor*), «цветок» (нидерл. бурск. *fleur*). На межъязыковом лексическом уровне сравниваемых языков представлено соотношение «два слова (англ. *flower*, *flour*) — одно слово (нем. *Flor*, дат., швед. *flor*, нидерл., бурск., фриз. *fleur*)». Смысловые корреляции этих слов на интерлингвистическом уровне более разнообразны: 1) отношение семантического тождества (англ. *flower* «цветение» — нем. *Flor*); 2) соотношение целого и части (англ. *flower* «цветущее растение», «цвет», нем. *Flor* «цветок», нидерл., бурск., фриз. *fleur*); 3) противопоставление предметного и процессуального в значениях слов (англ. *flower*, нидерл., бурск. *fleur* «цветок» — нем. *Flor* «цветение»).

Семантические соответствия и различия этих лексем укладываются в рассмотренные нами схемы межъязыковых отношений родственных слов по понятийным и функциональным признакам [8]. Исключением является *flour* «мука» в английском языке, которое не имеет семантических параллелей в других германских языках и потому соотносится с неродственными словами: нем. *Weizenmehl*, дат. *hvedemel*, норв. *hvetemel*, швед. *vetemjöl* «пшеничная мука» и т. п.

В английском языке *flour* «(пшеничная) мука (высшего качества)» всту-

пает в синонимические отношения со словом *meal* «мука» (грубого помола), «мука (вообще)». Обозначая муку высшего сорта, *flour* «пшеничная мука» соотносится с *meal* «мука (вообще)» как часть и целое, вид и род. Однако это не лишает его статуса синонима слова *meal*.

Для родового слова — нем. *Mehl*, нидерл. *meel*, швед. *mjöl* «мукá» — в сравниваемых языках нет синонимов типа англ. *flour* «мукá». Поэтому видовые разновидности муки обозначаются в них сложными словами (нем. *Weizenmehl* «пшеничная мука», *Roggenmehl* «ржаная мука», *Gerstenmehl* «ячменная мука», *Hafermehl* «овсяная мука», швед. *vetemjöl*, *kornmjöl*, *rågmjöl*, *havremjöl*). Смысловая связь нем. *Mehl* «мука» и сложных слов с видовыми значения очевидна. Но какая это связь?

В парадигматике и синтагматике устанавливаются синонимические, омонимические, полисемические и антонимические отношения слов и их отдельных значений. Связь немецких слов *Mehl* «мука» и *Weizenmehl*, *Roggenmehl*, *Gerstenmehl*, *Hafermehl* «пшеничная», «ржаная», «ячменная», «овсяная мука» — синонимическая, несмотря на то, что они соотносятся по смыслу как род и вид (согласно упомянутому постулату, они не должны рассматриваться как синонимы).

В одной из последних работ И. В. Рахманова наметился заметный отход от рассматриваемого постулата. Нем. *Tier* «животное» и *Hund* «собака» или *Pflanze* «растение» и *Rose* «роза», конечно, не синонимы, отмечает он, хотя о *Wind* «ветер» — *Sturmwind* «ураган» — *Sturm* «буря» уже нельзя судить категорически [9]. И далее И. В. Рахманов признает синонимию глаголов *sehen* «смотреть» — *glotzen* (груб.) «пялиться», *trinken* «пить» — *nippen* «пить маленькими глотками», *gehen* «идти» — *schleichen* «подкрадываться», предлагая лишь говорить не о родо-видовых отношениях слов, а об отношениях общего и частного в их семантике [9].

В этой связи распространенное среди многих советских и зарубежных лингвистов утверждение, что слова, соотносимые по смыслу как вид и род, не могут рассматриваться в качестве синонимов, нуждается в конкретизации и дальнейшем уточнении. Несоответствие этого постулата действительному положению вещей и статусу синонимии находит немало подтверждений в разных языках. Многие лингвисты, занимающиеся проблемой синонимии, обходят молчанием обсуждение этого вопроса [10, 11] или, не задумываясь, присоединяются к указанной точке зрения [12]. Но это вовсе не означает, что такой проблемы вообще не существует или что она решена уже окончательно.

Согласимся с И. В. Рахмановым в том, что нем. *Tier* «животное» и *Hund* «собака», соотносимые по смыслу как род и вид, — не синонимы. В этом нетрудно убедиться, поскольку в объем значения *Tier* «животное» как родового слова включаются видовые значения слов *Pferd* «лошадь», *Kuh* «корова», *Katze* «кошка», *Schwein* «свинья», *Ziege* «коза», *Hund* «собака», *Wolf* «волк», *Bär* «медведь», *Löwe* «лев», *Tiger* «тигр» и др. Ни одно из них, а следовательно, и слово *Tier* не является синонимом слова *Hund* «собака».

В свою очередь в другом лексическом ряду существительное *Hund* само по себе является, однако, родовым словом и включает в свой объем видовые наименования собаки (*Hund* «собака» — *Jagdhund* «охотничья собака», *Wolfshund* «волкодав», *Schäferhund* «овчарка», *Windhund* «борзая», *Köter* «дворянжка», *Dachshund* «такса», *Kettenhund* «цепная», *Spürhund* «ищейка», *Hetzhund* «гончая», *Fox* «фокстерьер» и др.). Обозначая различные породы собак, эти слова синонимичны между собой и относительно *Hund* «собака», т. е. перед нами синонимия лексем с более общим или ро-

довым значением. Такая синонимия существует потому, что все указанные слова соотносятся с одним и тем же объектом.

В Словаре синонимов русского языка [13] в качестве синонимов слова *собака* приводятся *пес* и *псина*. Вне синонимического ряда остаются, таким образом, многие слова: *дворняжка*, *овчарка*, *гончая*, *ищейка*, *такса*, *борзая*, *легава*, *волкодав*, *охотничья*, *шавка*, *фокстерьер*, *пудель*, *дог* и др.

В том же синонимическом словаре лишены статуса синонимов слова *мясо*, *рыба*, *молоко*, *яблоко*, *груша*, *слива* и др., а синонимический ряд слов со значением «конь» представлен лишь двумя словами *лошадь* и *конь*. В угоду упомянутому постулату целые ряды слов, как видим, лишаются статуса синонимии в русском и других языках. А. П. Евгеньева пишет, что «слова—синонимы служат выражением тонких смысловых оттенков данного понятия, выражению той или иной экспрессии, эмоциональной или стилистической окраски» [14]. Вот и выходит, по ее мнению, что слова *собака*, *дворняжка*, *ищейка*, *гончая*, *волкодав* и т. п. не выражают одно и то же понятие, ибо она не относит эти слова к категории синонимов. А между тем этот и другие ряды слов русского языка выражают соответственно тождественные понятия, поскольку в них отражается один и тот же объект, и, следовательно, это синонимические ряды слов, несмотря на родо-видовые отношения семантики их членов.

Распространенное среди многих лингвистов мнение, что слова, соотносимые как вид и род, не являются синонимами, нельзя рассматривать как некую языковую универсалию. Многое зависит ведь еще от того, что представляет собой то или иное родовое понятие, как оно соотносится с конкретными видовыми понятиями и какая степень отвлеченности, или абстрагирования, заключена в нем. Существительное *Tier* «животное», безусловно, более отвлеченно отражает мир животных, точнее, отдельного его представителя, чем слово *Hund* «собака». Слова русского языка *животное* и *собака*, *лев*, *тигр*, *кошка*, *свинья*, *коза*, *лошадь* и т. п. при их родо-видовых отношениях не синонимы; напротив, лексемы *собака*, *овчарка*, *гончая*, *легава*, *волкодав* и др., соотносящиеся как род и вид, — идеографические синонимы. Можно согласиться и с тем, что *Pflanze* «растение» и *Rose* «роза» не вступают в синонимические отношения. И действительно, в объем значения нем. *Pflanze* включаются различные виды растений (*Birke* «береза», *Tanne* «ель», *Rose* «роза», *Wegerich* «подорожник», *Weizen* «пшеница», *Nelke* «гвоздика» и т. п.). Они не обнаруживают, однако, синонимических отношений между собой, потому что их значения вообще не соотносимы. Иное дело, когда существительное *Rose* само выступает в качестве родового слова и включает в свой объем видовые названия розы: *Alpenrose* «альпийская», *Apfelrose* «яблочная», *Bengalrose* «китайская (индийская)», *Dornrose* «собачья», *Duftrose* «эллиптически-лиственная», *Essigrose* «французская», *Feldrose*, *Heidenrose* «степная», *Heckenrose* «дикая», *Gartenrose* «садовая», *Kletterrose* «вьющаяся», *Kohlrose* «провансальская», *Teerose* «чайная», *Weinrose* «роза-эглантирия» [15] и др. Эти слова обозначают одну из разновидностей розы. Они синонимичны между собой и с родовым словом *Rose*, хотя и не обнаруживают подобных отношений со словом *Pflanze* «растение».

Семантика слов *мясо* и *свинина*, *баранина*, *говядина*, *конина*, *зайчатина*, *курятина* и т. п. соотносится как общее и частное, род и вид, потому что этим словам присущи родовые и видовые значения, базирующиеся на соответствующих понятиях, связанных с данными словами. Поэтому, следуя постулату «слова с родовыми и видовыми значениями не вступают в синонимические отношения», лингвисты не находят синонимов для слов

мясо в русском, *Fleisch* в немецком, *kött* в шведском и других языках. Не об этом ли свидетельствуют данные словарей синонимов разных языков [13, 16, 17]?

Приведенные выше аргументы против универсализации указанного постулата действительны и для данного лексического ряда. Слова *свинина*, *баранина*, *говядина*, *куратина* — синонимы с присущими им оттенками в значениях, отражающими специфические признаки денотатов. Они совпадают по основным параметрам отраженного в значениях объекта. Но в таком случае они синонимичны также и слову с более общим значением «мясо».

Слова с видовыми значениями «мясо» подводятся под родовое: *свинина* — это мясо свиньи как пища, *говядина* — мясо коровы или быка и т. п. Анализ семантики таких лексем по понятийным признакам убеждает в том, что слова со значением «мясо» вступают в синонимические отношения в русском, немецком, английском, скандинавских и других языках как между собой, так и с родовым словом *мясо*, нем. *Fleisch*, англ. *meat*, норв. *kjøtt*, дат. *kød*, швед. *kött* и т. п. Отношение целого и части или общего и отдельного в семантике этих слов не нарушает их смыслового тождества, которое как раз и предполагает различия идеографического или стилистического порядка. Содержания понятий, связанных с данными словами, отражают все существенные параметры и отличительные признаки одного и того же объекта (мяса). Объемы понятий заключают в себе сведения о количественных параметрах объекта, отраженного в том или другом из них. Это и является основой родо-видовых отношений понятий и значений слов. Последнее особенно отчетливо просматривается в немецком языке, где видовые названия этого продукта питания выражаются сложными словами: *Schweinefleisch*, *Rindfleisch*, *Kalbfleisch*, *Hammelfleisch*, *Hirschfleisch*, *Hühnerfleisch*, *Taubenfleisch*, *Gänsefleisch*, *Entenfleisch*, *Pferdefleisch*, *Salzfleisch* и др. Детерминанты *Schwein(e)-*, *Rind-*, *Hammel-*, *Kalb-*, *Gänse-*, *Pferde-*, *Tauben-*, *Hühner-*, *Enten-*, *Salz-* и т. п. сужают объем родового понятия *Fleisch* «мясо» до видового или (что здесь одно и то же) семантика простого слова *Fleisch* и перечисленных сложных слов соотносится как общее и частное (отдельное). Но общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Поэтому каждое отдельное (видовое, частное) в определенных условиях может заполнить весь объем родового понятия «*Fleisch*». Но в таком случае объемы понятий «*Fleisch*» и, скажем, «*Schweinefleisch*», «*Rindfleisch*» и т. п. могут и совпадать. При конкретной реализации лексемы *Fleisch* в речи общее в определенной ситуации манифестируется через отдельное. Но тогда понятия «*Fleisch*» и «*Schweinefleisch*», «*Rindfleisch*», «*Hammelfleisch*» и т. п. соотносятся как род и вид. Поэтому придерживаясь указанного постулата, германисты лишают статуса синонимов слово *Fleisch* в немецком языке [18—20]. Достаточно ли у них для этого оснований? Нет, недостаточно. Слова *Fleisch* и *Schweinefleisch*, *Rindfleisch*, *Hammelfleisch*, *Pferdefleisch*, *Hühnerfleisch* и др. отражают общие и существенные параметры объекта (мяса), причем подчеркиваются присущие каждому из слов различия идеографического порядка, передаваемые детерминантами *Schweine-*, *Rind-*, *Hammel-*, *Pferde-*, *Hühner-*, *Kalb-*, *Tauben-*, *Gänse-* и др., привносящие определенные оттенки значения в семантику сложений в целом. Понятие «продукты питания» — весьма широкое по объему. Оно включает в свой объем хлебные, молочные, мясные, рыбные, овощные, фруктовые и другие изделия. К продуктам питания относятся самые разнообразные дары природы и творения человеческих рук, используемые в качестве пищи: картофель, капуста,

морковь, молоко, масло, сыр, хлеб, фрукты, овощи, яйца, мясо, сало, рыба, сахар и т. п. Такие слова не выявляют синонимических отношений и объединяются в различные тематические группы. Понятиям, закрепленным за данными словами, свойственна различная степень абстракции. Понятия «пища» и «продукты питания» более абстрагированы, чем, скажем, понятие «яблоко», в которое входят слова *антоновка, налив, пепин(ка), синап, ранет, анис, шафран* и т. п. Напротив, понятие «фрукты» — абстракция более высокого порядка, подчиняющее себе видовые понятия «яблоки», «груши», «сливы», «вишни» и т. п.

Уже при первом (элементарном) обобщении происходит абстрагирование от конкретного представителя данного класса предметов и выделение объекта как такового, например, дом вообще и отдельные дома [21]. Но такое же абстрагирование происходит и там, где один и тот же объект носит разные имена [например, *антоновка, налив, пепин(ка), синап, симеренко, джонатан, анис, ранет* и т. п.]. Каждое из этих слов, выражающих сорта яблок, является первой абстракцией, например, «антоновка» вообще, а не отдельные плоды растения, растущего на юге или в средней европейской полосе. Семантика данного ряда слов тождественна при наличии оттенков в значениях, что в общем характерно для лексической синонимии. Для всех этих слов в русском языке имеется родовое слово *яблоко* (в немецком *Apfel*, в английском *apple*), заключающее в себе абстракцию более высокого порядка. Это абстракция второго порядка, потому что отвлечение здесь выше элементарного. Понятие «яблоко» подчиняет себе соответствующие видовые понятия и отражает все существенные признаки данного плода вообще, присущие и яблоку любого сорта: ведь понятие содержит в себе все наши знания об отраженном объекте, из которых, правда, на первый план выдвигаются наиболее характерные и существенные. Родо-видовые отношения понятий, закрепленных за этими словами, не нарушают семантического тождества, или семантической общности слов, которым присущи различия идеографического порядка (оттенки значений). Поэтому слова *антоновка, налив, синап, симеренко, анис, ранет, шафран* и другие вступают в синонимические отношения между собой и с родовым словом *яблоко*.

Элементарная, или первая, абстракция представлена также в словах *масленок, мухомор, шампиньон, боровик; угорка, венгерка, репклод; черешня, чернокорка, карлик*, выражающих предмет вообще в отличие от его отдельного представителя, именем которого является конкретное слово. Семантика слов *репклод, венгерка* — *слива*; *черешня, чернокорка* — *вишня*; *боровик, шампиньон* — *гриб* тоже обнаруживает родо-видовые отношения. Однако смысловые различия и здесь не нарушают семантического тождества соотносимых слов. А это свидетельствует об их синонимии так же, как и слов *яблоко* и *антоновка, синап, пепин(ка), симеренко, шафран, ранет, налив* и т. п., соотносимых по смыслу как общее и частное, род и вид на уровне абстракции второго порядка.

В логике наблюдается целая иерархическая лестница подчиненности одних понятий другим. Она наглядно иллюстрирует взаимосвязь предметов и явлений окружающего нас мира. Чем выше уровень абстракции, тем меньше общих элементов и признаков в лексическом значении слов и в содержании понятий, связанных с ними. Так, иерархическая цепочка понятий «налив», «антоновка» — «яблоко» — «фрукты» — «продукты питания» отражает четырехступенчатую субординацию понятий, которая графически может быть представлена в виде концентрических кругов, иллюстрирующих увеличение объема каждого понятия более высокой ступени аб-

стракции вместе с обеднением общего набора признаков предметов, охарактеризованных в его содержании. Для трех из названных четырех ступеней иерархической лестницы характерны родо-видовые отношения. Причем в синонимические отношения вступают как лексические единицы первой абстракции (*антоновка, синап, симеренко, ранет, налив, шафран* и т. п.), так и лексемы, выражающие родо-видовые отношения абстракции второго порядка. В самом деле, денотаты слов *яблоко, груша, слива, абрикос, огурец, помидор, картофель* и т. п. сохраняют все существенные параметры любого предмета данного класса [ср. *яблоко* и *пепин(ка)*, *шафран*, *налив; слива* и *ренклод*, *угорка, венгерка, скороспелая* и т. п.] независимо от привносимых несущественных для понятия и, может быть, важных для значения слова оттенков. Разные сорта яблок, груш, слив, вишен отличаются вкусовыми качествами, ароматом, наличием кислот, сахара, не говоря уже о форме, весе, цвете, географической зоне распространения и т. п. Однако объект остается таковым и при различии некоторых из названных характеристик плода вообще, выражаемых тем или иным конкретным словом. А это означает, что родовые и видовые разнозвучающие слова, служащие названием различных сортов, пород, видов одних и тех же реалий (яблок, груш, вишен, рыб, собак, лошадей и т. п.), вступают в синонимические связи и при наличии родо-видовых отношений их семантики. Не всякие родо-видовые корреляции слов служат показанием их разобщенности и несводимости в один синонимический ряд. При первой (элементарной) и второй абстракции слова, выражающие род и вид, вступают в синонимические отношения. Отрицание этого факта обедняет наши представления о системной организации лексики и ее отдельных слоев.

Рассмотренные лексические ряды с присущими им оттенками в значениях отражают соответственно один и тот же объект. Они подводятся под известные из литературы определения синонимов и потому образуют разные синонимические ряды. Синонимических отношений нет, однако, там, где слова, соотносящиеся между собой как род и вид, выражают абстракцию более высокого (третьего) порядка, чем элементарное (первичное) и обобщение второго порядка. К таким словам А. Б. Шапиро по праву относит слова *строение — сарай — амбар* [5, с. 75]. Нельзя в этой связи согласиться с теми, кто полагает, что дефиниция синонимов как слов, близких по значению, выражающих одно понятие, диаметрально противоположна определению синонимов как разных слов, тождественных по своему значению [22]. Эти две дефиниции дополняют друг друга и не выявляют никакого антагонизма между собой. Ведь разные слова, имеющие тождественные или близкие значения, выражают как раз одно и то же понятие и соотносятся с одним и тем же денотатом. В противном случае — это не синонимы и не слова с тождественными или близкими значениями.

Признание отношений общего и частного в семантике слов как синонимических [9] относит и рассматриваемые лексемы к разряду идеографических синонимов. Именно так, хотя и непоследовательно, решают ныне этот вопрос некоторые лексикографы [16, 20], относя к синонимам слова с родовыми¹ и видовыми² значениями.

¹ Как синонимы трактуются, например, слова: нем. *gehen* «идти» и *schreiten* «шагать; идти торжественно», *stolzieren* «шестьвовать важно, не спеша», *stampfen* «тяжело ступать; топтать», *trippeln* «идти мелкими шагами», *tänzelu* «идти приплясывая», *waten* «идти, увязая; шлепать» и др. [20].

² Приводятся синонимические ряды: нем. *Baum* «дерево» — *Weihnachtsbaum* «рождественская елка», *Hund* «собака» — *Köter* «дворяжка», *Spürhund* «ищейка», *Jagdhund* «охотничья собака», *Kläffer* «бредливая собака», *Blaffer* «шавка» и др.; *machen* «делать» — *zubereiten* «готовить (пищу)», *anfertigen* «изготавливать (что-л.)», *veransalten* «организовать (соревнование)», *reparieren* «ремонтировать» и др. [16].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. М., 1971. С. 83.
2. Палевская М. Ф. Синонимы в русском языке. М., 1964. С. 15.
3. Клюева В. Н. Краткий словарь синонимов русского языка. М., 1956. С. 6.
4. Леаковская К. А. Лексикология современного немецкого языка (на нем. яз.). М., 1968.
5. Шапиро А. Б. Некоторые вопросы теории синонимов // Доклады и сообщения ИЯ АН СССР. 1955. № 8.
6. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1975.
7. The Oxford English Dictionary. 1—12. Oxford, 1970.
8. Силин В. Л. Сравнительно-семасиологические исследования. Германские языки. Гл. 1—6. Днепропетровск, 1983.
9. Рахманов Н. В. О синонимах // Немецко-русский синонимический словарь. М., 1983. С. 8.
10. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1975. S. 72.
11. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1983. С. 112.
12. Степанова М. Д., Чернышева И. И. Лексикология современного немецкого языка. М., 1962. С. 193.
13. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Евгеньевой А. П. Т. 1—2. Л., 1970—1971.
14. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Евгеньевой А. П. М., 1975. С. 3.
15. Meyers neues Lexikon. Bd. 7. Leipzig, 1964.
16. Görner H., Kempcke G. Synonymisches Wörterbuch. Leipzig, 1973.
17. Gandel'sman A. English synonyms. Moscow, 1963.
18. Eberhard J. A. Synonymisches Wörterbuch. 1—2. Leipzig, 1940.
19. Farrel R. B. Dictionary of German synonyms. Cambridge, 1971.
20. Немецко-русский синонимический словарь. М., 1983.
21. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 13.
22. Брагина А. А. Синонимы в литературном языке. М., 1986. С. 6—7.

КУМАХОВ М. А.

К ПРОБЛЕМЕ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ НАРТСКОГО ЭПОСА

Фольклор как поэтическое творчество, сохраняя древнейшие формы устного слова, играл огромную роль в духовной жизни народов. Возникнув задолго до появления письменности, литературы и литературного языка, фольклорное творчество выработало собственную поэтическую систему, свои лексико-грамматические средства, обобщенные формы живой устной речи. Примечательно, что многие явления устно-поэтического наследия, его поэтики и языка не только возвышаются над территориальными диалектами одного и того же языка, но оказываются межнациональными в силу специфики самого фольклорного творчества и его традиционных жанров.

В отношении нартского эпоса следует сказать, что этот памятник культуры выделяется не только своей монументальностью и широтой функциональной нагрузки, но и общностью традиций, свидетельствующих о многовековом взаимодействии и взаимовлиянии мифологических и фольклорных элементов разных народов.

Межязыковые черты нартского эпоса особенно ярко проявляются в ономастике. Само слово *Нарт* и имена многих героев нартского эпоса характерны для эпической традиции разных народов — абхазов, абазин, адыгов (черкесов), осетин, балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей и др.

В литературе вопросы истории ономастической лексики нартского эпоса, как правило, рассматриваются в связи с проблемой генезиса эпоса. Это вполне оправданно, если учесть, что сложение и развитие эпической лексики, в особенности имен главных героев центральных циклов, в значительной степени связаны с генетическими проблемами самого героического эпоса, его региональных вариантов. Вместе с тем неправомерно считать, что выяснение происхождения слова *Нарт* и отдельных собственных имен эпических героев способно решить такую сложную проблему, как генезис нартского эпоса.

В этой же связи следует подчеркнуть, что особенностью эпической структуры нартских сказаний является отсутствие единого стержневого цикла, одинаково главного центрального для основных национальных версий. Общеизвестно, что в осетинских сказаниях центральным, узловым является цикл о Батрадзе, в абхазско-адыгских — цикл о Сосруко (Саусруко, Сасырква) [1, с. 34]. Поэтому естественно, что решение проблемы генезиса нартского эпоса в целом предполагает прежде всего решение проблемы генезиса центрального цикла в каждой из основных национальных версий.¹

Освещение истории эпической лексики, в том числе ее ономастического пласта, хотя и не решает проблемы генезиса нартского эпоса, может, однако, способствовать выяснению некоторых важных аспектов этой

сложной, комплексной задачи. Кроме того — и это не менее важно — изучение лексики эпоса (в том числе ономастики), являющейся источником глубокой и разноплановой информации о языке и этносе, представляет собой значительный интерес для этнолингвистики, вновь оказавшейся «на передовых позициях науки о языке» [2].

Ни одна проблема нартского эпоса не вызвала столь разноречивых мнений и толкований, как происхождение многозначного слова *Нарт*. Оно употребляется и как общее наименование героев эпоса, и как название эпического племени (народа) нарттов, и как название эпической страны нарттов.

Еще в прошлом столетии Ш. Б. Ногмов предпринял неудачную попытку этимологизировать слово *Нарт* на почве кабардинского языка: *нар* + *ант* «глаз антов» [3]. Л. Г. Лопатинский сравнивал *Нарт* с арм. *marđ* «человек» и сван. *mare* [4]. В. Пфаф возводил *Нарт* к названию народа *marđi*, обитавшего «на южном берегу Каспийского моря и в горах Эльбрус» [5]. М. С. Туганов усматривал в *Нарт* осет. *нæ* + *арт* «наш огонь (очаг); наша присяга» [6]. С. М. Ашхацава сопоставил *Нарт* с *Наури* — древним названием стран в бассейнах Урмийского и Ванского озер [7]; к этой точке зрения позже присоединились Б. А. Алборов и Ш. Х. Салакая. В слове *Нарт* элемент *т* Б. А. Алборов возводит к показателю множественности — *т* в осетинском языке [8], а Ш. Х. Салакая сближает его с *т* в названии *Урарту* [9]. М. В. Рклицкий, сравнивает *Нарт* с авест. *nara* «мужчина» и осет. *нард* «жирный, тучный» [10]. Ж. Дюмезиль в одной из ранних работ отождествлял его с санскр. *nrt* «плясать» [11], а в более поздней работе — с индоир. *nar* [12]. Г. У. Бейли возводит *Нарт* к и.-е. *narthra*, где *thra* обозначает активность, деятельность, *nar* — сильных и энергичных мужчин или богов [13, с. 113]. Ш. Д. Инал-ипа выводит термин *Нарт* из абхаз. *ан* «мать», *р* — показатель множественности, *т* (ср. *атаацц* «семья») в значении «семья матери» или «семья матерей» [14]. А. М. Гадагатыль объясняет *Нарт* из адыгского сочетания *нæ* + *тæ* «глаз дари» [15, с. 206—207]. Известны и другие попытки, но ни одна из существующих этимологий не может быть признана удовлетворительной.

В одном из ранних исследований В. И. Абаев, касаясь этимологии слова *Нарт* и собственных имен нартского эпоса в работах М. С. Туганова, А. Кубалова, М. В. Рклицкого и Б. А. Алборова, отмечает, что эти работы «не лишены в отдельных случаях весьма интересных и ценных мыслей и наблюдений. Однако все они в той или иной мере грешат против требований строгого научного метода и поэтому не убеждают во всем, что касается принципиальных выводов» [16, с. 63], а приведенные в них этимологии собственных имен нарттов называет «крайне рискованными» [16, с. 64].

В трудах В. И. Абаева дается убедительное объяснение целого ряда терминов и собственных имен нартского эпоса. Вместе с тем не все его этимологии представляются бесспорными, это касается трактовки слова *Нарт* и соотношения имен *Сосруко* и *Сослан*. Поскольку выводы В. И. Абаева о происхождении эпоса и его национальной принадлежности во многом основываются на интерпретации этих слов, считаем необходимым здесь остановиться на них подробнее. В своих работах В. И. Абаев неоднократно затрагивает вопрос о происхождении имени *Сосруко* — центрального героя нартских сказаний абхазов, абазин, адыгейцев, кабардинцев, черкесов и убыхов. Рассматривая вопросы этимологии эпической лексики, мы отнюдь не собираемся вступать в «вечную» полемику по проблеме на-

циональной принадлежности этого памятника: мы стоим на точке зрения, что нартский эпос имеет не одно, а по крайней мере два основных ядра [17].

В. И. Абаев, на наш взгляд, с полным основанием отвергает распространенное сближение *нар* в слове *Нарт* с пран. *nar-* «самец, мужчина», поскольку последнее сохранилось в осетинском в виде *нэл* «самец». При наличии в осетинском *нэл* «самец», естественно, лингвистически невозможно возводить основу *Нарт* к указанному иранскому источнику, хотя некоторые авторы молчаливо обходят этот факт, очень существенный для корректного этимологического анализа. В слове *Нарт* элемент *нар* В. И. Абаев возводит к монг. *нара* «солнце» [18, с. 18], а конечное *-т*, как и Б. А. Алборов, — к осетинскому показателю множественности [18, с. 88—90]. Таким образом, по В. И. Абаеву, *Нарт* означает «дети Нара (солнца)», т. е. слово *Нарт* считается образованным от отсутствующего в осетинском языке монгольского слова *нара* с помощью суффикса множественности *-т*. В этой связи он пишет: «Вывод этот так же неизбежен, как самая точная математическая выкладка... это наименование имеет бесспорно осетинское оформление. Можно ли пройти мимо этого факта при определении национальной принадлежности нартского эпоса? Конечно, нет» [18, с. 88—89].

Этимология В. И. Абаева, хотя она для автора предreshает вопрос о национальной принадлежности нартского эпоса, неубедительна. Вызывает возражение членение *Нарт* на *нара* «солнце» + осетинский показатель множественности *-т*. Дело в том, что в осетинском языке слово *Нарт* морфологически не разлагается на составные части: в этом языке нет производящего слова *нар* (или *нара*) «солнце». Утверждение, что в осетинском языке наряду с исконным *хур* «солнце» параллельно могло существовать монг. *нара* «солнце», ничем не подтверждено [18, с. 90]. Что касается отождествления *т* в *Нарт* с показателем множественности, то оно наталкивается, по сути дела, на непреодолимые трудности.

Никто из крупных специалистов по индоиранским языкам, занимавшихся впоследствии этимологией *Нарт*, не выделяет в нем осетинского показателя множественности *-т*. Вряд ли это случайно. В отличие от фамильных имен типа *Худал-тæ*, *Мыртаз-тæ*, по модели которых, как полагают, построено и слово *Нарт*, во всех грамматических формах последнего сохраняется *т*, т. е. в этом слове *т* не выделяется морфологически ни в одной словоизменительной или словообразовательной форме в современном осетинском языке.

Что касается вычленения *т* в слове *Нарт* в историческом плане, то для обоснования этого положения, разумеется, недостаточно утверждения, что слово *Нарт* стало употребляться как аморфное образование [18, с. 88, примеч. 1]. Для диалектного вычленения показателя множественности *-т* в слове *Нарт* с лингвистической точки зрения, по-видимому, необходимы также (не говоря уже о главном, т. е. о недоказанной исходной посылке — существовании монг. *нар* (*нара*) «солнце» в истории осетинского языка) убедительные примеры, подтверждающие возможность сращения в осетинском языке показателя множественности с корнем (или основой) в одно неделимое слово. Примеры типа *цæст* «глаза», *мыст* «мышь», будто имеющие аналогичное морфологическое строение, оказались неудачными, и характерно, что в историко-этимологическом словаре осетинского языка В. И. Абаев не выделяет в них морфемы множественного числа [19, с. 305; 20, с. 142—143].

Оба положения, на которых основывается этимология В. И. Абаева, — наличие в истории осетинского языка монг. *нар* (*нара*) «солнце», сращение

последнего с осетинским показателем множественности — остаются недоказанными. Авторы, предлагающие объяснение *Нарт* на иранском материале, естественно, отрицают возможность отождествления *нар* с монг. *нара* «солнце».

Что касается того, что *Нарт* в осетинском чаще всего выражает идею собирательности и множественности, то это не может служить аргументом в пользу членения *Нарт* на *нар(a)* + показатель множественности *-т*. Идея собирательности и множественности свойственна слову *Нарт* и в других языках. Ср. каб. *Сорыкъуэ Нартым яшъышъышъ* «Сосруко (из рода) Нартов», *Нартым я къудыжыгъуэ* «Время исчезновения Нартов». Подобные примеры многочисленны. Членение *Нарт* на *нар (нара)* «солнце» + показатель множественности *-т* не приняли Э. Бенвенист [21, с. 50], Г. Бейли [13, с. 114], Л. П. Семенов [22] и другие исследователи. Х. С. Джиоев, отстаивающий иранское происхождение *Нарт* из *нар*, недавно писал, что этимологизация термина *нарт* В. И. Абаевым противоречива [23]. Однако этимологизация этого термина на иранской почве (возведение *нар* в *Нарт* к др.-ир. *nar-* «самец, мужчина») не менее противоречива, на что справедливо указывал В. И. Абаев. И сейчас мы можем с полным основанием повторить слова В. И. Абаева, сказанные им еще в 1945 г.: «Нельзя сказать, чтобы после всех приведенных попыток у нас было такое чувство, что термин *нарт* действительно разъяснен» [18, с. 18].

На современном этапе изученности ономастического (да и вообще всей лексики) нартского эпоса, по-видимому, трудно решить проблему происхождения слова *Нарт*. Однако в этой связи заслуживают внимания некоторые данные эпической лексики, все еще остающиеся вне поля зрения исследователей. Следует подчеркнуть, что любой новый языковой факт, как бы он ни был локален и незначителен на первый взгляд, должен быть привлечен к анализу, поскольку этимология *Нарт*, обсуждаемая в литературе вот уже 150 лет (со времен Ш. Б. Ногмова), остается до сих пор загадочной.

Все лингвисты, занимавшиеся этимологией разбираемого эпического названия, исходят из убеждения, что имеется только один вариант этого слова — *Нарт*. Последний представлен в языках, носители которых в прошлом принимали участие в создании нартского эпоса. Между тем существует второй фонетический вариант — *Нат*, широко употребляющийся в западных адыгейских диалектах. Ср. в шапсугском диалекте: *Нат Саусэры къуэ янэ Сэтэнае-гуашъэр зышъуызыгъэр Нат Узэрмэдж* [24] «Мать Ната Саусарыко Сатанай-гуаша была женой Ната Озермеджа». Если допустить, что вариант *Нат* является поздней диалектной инновацией, то наличие двух вариантов объясняется довольно просто: выпадением сонорного *р* в положении перед дентальным *т*: *Нарт* > *Нат*. Только в этом случае можно обойтись (как это и делают исследователи) без варианта *Нат* при решении вопроса о происхождении рассматриваемого слова.

В действительности же дело обстоит несколько иначе. Объяснить, почему, например, шапсуги произносят *Нат*, а не *Нарт*, фонетическими особенностями шапсугского диалекта невозможно. Последний не знает запрета на сочетание *рт*, широко допуская *р* в положении перед согласными. Более того, в этом диалекте консонантная группа *рт* отмечается в других лексемах. Ср. шапс. *къарт* «пласт земли», *шъурта* «буза». Заметим, что в последних сонорный *р* — инновация, т. е. результат его фонетического наращивания в положении перед дентальным *т*. Ср. темирг., абадз., каб. *къат* «пласт», бжедуг., темирг., абадз. *шъуатэ* «буза», каб. *фадэ* «напиток». В том же диалекте сонорный *р* появляется также в положении

перед другими согласными. Ср. *пцэрхъ* «удочка», *куырдэ* «колесная мазь», *цуырнэ* «клубника», *бгъуэрэ* «узкий» и др. Во всех подобных случаях сонорный *р* является вторичным, эпентетическим. Ср. адыг. лит. *пцэкъэнтф*, каб. *бзэкъуынтх* «удочка», адыг. лит. *куырдэ* «нефть», *цумнэ* «земляника», клубника», каб. *бгъуызэ* «узкий».

На фоне ярко выраженной тенденции к эпентетическому *р* в положении перед согласными в середине слова ($рt < t$, $рд < d$, $рп < p$, $рц < ц$ и др.) в шапсугском диалекте представлена форма *Нат* вместо формы *Нарт*. На наш взгляд, мимо этого факта не так легко пройти, хотя, разумеется, вопрос о соотношении *Нат* и *Нарт* требует дальнейшего анализа. Не следует игнорировать как наличие формы *Нат* в живой речи, так и широкое распространение во всех адыгских языках явления эпентезы [25, с. 215—223]. Во всяком случае, пока нет достаточных оснований исходить только из формы *Нарт* при объяснении этимологии этого слова, считая ее исходной по отношению к форме *Нат* в западных адыгейских диалектах, в том числе шапсугском, характеризующемся, кстати, архаичной фонетической системой.

Обращает на себя внимание и другой факт: сходное фонетическое строение названия *Кыт* (варианты *Кырт*, *Чыт*, *Чырт*, *Чынт* и др.) — эпических соседей Нартов, нередко выступающих родственниками последних. На адыгской почве вторичность начальной аффрикаты бесспорна, что отражает известный фонетический процесс аффрикатизации заднеязычных [25, с. 184—190]. В исходной форме отсутствовал сонорный согласный в положении перед дентальным *т*, т. е. формы с *р*, *п* (*Кырт*, *Чырт*, *Чынт*, *Чынт*) — новообразование, обусловленное указанной тенденцией к развитию консонантных групп типа *рt*, *пt* (*къат* > *къарт* и др.). Исходная форма этнонима *Кыт*, устанавливаемая в адыгских языках без каких-либо натяжек, восходит к общеадыгскому состоянию. Семантическая и фонетическая соотнесенность названий *Нат* и *Кыт* очевидна: оба являются эпическими этнонимами — названиями двух основных эпических народов, оба эпических этнонима включают конечный *т*. Данные западнокавказских языков не позволяют вычленишь в этих этнонимах элемент *т* как значимую морфологическую единицу. Тем не менее их соотнесенность говорит в пользу того, что элемент *т* диахронически выполнял морфологическую функцию. Можно лишь предположить, что этот суффикс служил для образования этнонимических названий.

В этой связи обращает на себя внимание этноним *hatti*. Введенный в научный обиход за последнее время лингвистический и культурно-исторический материал, свидетельствующий о генетических связях западнокавказских языков с хаттскими [26, 27], делает возможным сближение общеадыгского эпического этнонима *Кыт* с этнонимом *hatti* (*ht'* в древнеегипетских источниках) [28]. Впрочем, эта проблема — предмет специального исследования.

На данном этапе сравнительно-исторического и типологического изучения нартского эпоса, в том числе его лексики, вопрос о происхождении *Нарт* остается нерешенным. Следует подчеркнуть, что выяснение этимологии *Нарт*, хотя и имеет немаловажное значение, все же не решает проблемы генезиса нартского эпоса. Этимологическое значение названия *Edda*, например, неясно, но генетическая связь эддической поэзии с древнескандинавской мифологической традицией очевидна. Этимология названия *Нарт* тоже неясна, но бесспорен тот факт, что своими корнями нартский эпос уходит в древнюю мифологию народов, создавших этот памятник культуры. Не следует переоценивать значение происхождения слова *Нарт*

для решения вопросов генезиса нартского эпоса, его национальной принадлежности. Более принципиальное значение имеет решение вопроса о том, в какой этнолингвистической среде созданы имена основных героев, что непосредственно связано с истоками центральных циклов национальных версий нартского эпоса.

Значительный интерес вызывает происхождение имени *Сосруко*. Это и понятно: *Сосруко* — главный герой нартских сказаний у адыгейцев, кабардинцев, черкесов, абхазов, абазин и убыхов. Хотя в осетинских сказаниях, как справедливо отметил В. И. Абаев, в роли центрального героя выдвигается *Батрадз* [1, с. 34], *Сосруко* (*Созрыко*) тоже является важным действующим персонажем. Установление исходной формы этого имени и этнолингвистической среды, в которой оно возникло, имеет исключительное значение для изучения тех вариантов эпоса, где эпический цикл о *Сосруко* является центральным и узловым.

Существует несколько попыток объяснения имени *Сосруко*, но ни одна из них не может считаться бесспорной. Ж. Дюмезиль, В. И. Абаев и другие сторонники теории скифо-аланского происхождения эпоса, признают тот неоспоримый факт, что это имя включает адыгско-убыхское слово *къуэ* «сын». Однако наличие последнего в имени центрального героя эпоса абхазско-адыгских народов и одного из героев эпоса осетин исследователи объясняют по-разному.

Своеобразное толкование имени *Сосруко* (*Созрыко*) предложил М. С. Туганов. Он утверждал, что имя *Сослан* из осетинского эпоса заимствовали кабардинцы, присоединив к нему вместо *ан* свое слово *къуэ* «сын», а затем в кабардинизированной форме *Созрыко* вернулось обратно в осетинскую среду. Однако для обоснования этой и других своих этимологий (*Сослан* из *Сос-алан*, *Сатана* из *Сат-ёна*) М. С. Туганов не приводит никаких аргументов [29]. Прав был Ж. Дюмезиль, когда отмечал, что этимологические доказательства, приводимые М. С. Тугановым в отношении личных имен *Нарт* и *Сатана*, безотрадны [30].

Иное мнение высказал Э. Бенвенист относительно происхождения *Сослан*, *Сатана*, (*Шатана*) и других имен: «Можно перечислить все имена славных героев нартских сказаний, все имена их помощников, но мы не найдем ни одного имени, которое имело бы отношение к истории Ирана. Почти нет имен, имеющих иранскую форму. Что сказать об именах *Созырьхто*, *Хэмыц*, *Сослан*, *Батраз*, *Барастыр*, *Шатана*, если не то, что они говорят о своем иноязычном (не иранском) происхождении? Для имени *Уырызмæг*, диг. *Уорæзмæг*, *Орæзмæг* можно постулировать форму **(a)varazmaka-*, но это только формальное предположение, лишенное всякого основания, даже если пытаться найти какие-то связи с собственными именами *Omrasmakos*, *Danarasmakos*. Даже *Аминон*, *Сырдон*, кажущиеся по форме иранскими, не встречаются в других языках. Возможно, что *Куырдалæгон* является стяжением из *Куырда Ала Уæргон* „кузнец Ала Уæргон“, но объяснить это как „кузнец Аланский Вулкан“ нельзя» [21, с. 139].

Отметим, что утверждение М. С. Туганова логически порождает другой вывод: поскольку имя *Сосруко* (*Созрыко*) в осетинских сказаниях бытует только в кабардинских формах, по М. С. Туганову выходит, что имя центрального героя нартских сказаний абхазско-адыгских народов заимствовали у кабардинцев другие народы — адыгейцы, абхазы, абазины, убыхи. Как увидим ниже, мнение М. С. Туганова не согласуется с фактами.

Точку зрения М. С. Туганова в отношении *Сосруко* приняли некоторые

авторы. В работе, посвященной нарттовскому эпосу, В. И. Абаев пишет: «Что касается имени двойника *Сослана*, *Созруко*, то оно, как правильно указывали некоторые авторы, представляет кабардинизацию имени *Сослан*, путем прибавления обычной в кабардинских именах частицы *ко* (*жуа*), что значит „сын“ (*Сосл — Соср — Соср-ко*)... Движение этого имени было, надо полагать, такое: из дигорской среды оно попало в кабардинскую, а оттуда уже в кабардинизированной форме *Созруко* было заимствовано в пронскую» [18, с. 28]. Позже В. И. Абаев иначе сформулировал свое мнение: «Пара *Сосрко-Сослан* — это не два разных имени, а одно имя *Соср*, оформленное в одном случае по-адыгейски (*-ко*), в другом — по осетински (*-ан*, современное *-он*): *-ко* в адыгейском, *-ан* в осетинском являются патронимическими формантами и стало быть обе формы *Сосрко* и *Сослан*, означают одно и то же: сын (или потомок) *Сосра*. Беда в том, что имя *Соср* не получило пока удовлетворительного разъяснения. Тот, кто разъяснил бы имя *Соср*, оказал бы немалую услугу нартским исследованиям» [1, с. 35—36]. Здесь, как мы видим, автор уже не ставит вопроса о преобразовании *Сослан* в *Созруко* и не возводит *Соср* к *Сосл*. Однако в последнее время В. И. Абаев вновь вернулся к точке зрения М. С. Туганова, хотя и несколько видоизменил ее: «Форма *Созруко*, — пишет В. И. Абаев, — представляет „адыгизацию“ имени *Сослан*. В староадыгском не было фонемы *л*, и имя *Сослан* должно было принять форму *Сосран*. Эта форма была затем снабжена излюбленным в личных именах элементом *-ко* (адыг. *qwa-* „сын“). Полученное *Сосрануко* (сохранилось в абазинском) было затем упрощено в *Сосруко* и в этой форме было заимствовано из адыгского (кабардинского) обратно в осетинский. Такие „челночные“ переходы слов и имен из одного языка в другой и обратно представляют нередкое явление» [31]; ср. также [32]. Подобные переходы слов, очевидно, встречаются в языках различных типов. Однако приведенные аргументы в пользу «челночного» движения имени *Сосруко* неубедительны и — что более существенно — не согласуются с фактами языка.

Фонема *л* отсутствует не только в староадыгском, но и во всех современных адыгских языках и диалектах, однако это никак не могло привести к изменению *Сослан* в *Сосран*. Дело в том, что фонема *л* заменяется в старых и новых заимствованиях адыгскими латеральными *л*, *лʔ*. Поэтому непонятно, почему в старых заимствованных словах (адыг. *Бислʔан* «Бислан», каб. *Беслʔэн* «Беслан», адыг. *Аслʔан*, каб. *Аслʔэн* «Аслан», адыг. *Кʔэплʔан* «Каплан») фонема *л* заменена фонемой *лʔ*, а в абсолютно тождественной фонетической позиции в слове *Сослан* та же фонема *л* должна была перейти в *р*. Ср. также другие старые заимствования: адыг., каб. *Сэлмэн* «Салман», *Залым* «Залим», *Султʔан* «Султан», *Исмагʔил* «Исмагил», адыг. *Джумал* «Джумал», каб. *Джэмал* «Джамал» и др. Примеры, иллюстрирующие переход чужой фонемы *л* в адыгские *л*, *лʔ*, многочисленны: адыг. *алп*, каб. *алʔп* «сказочный конь-богатырь», ср. тур. *alp* «герой, богатырь», адыг. *алаш*, каб. *алашʔ* «мерин», ср. тюрк. *alaşa* «мерин», адыг. *мэлы*, каб. *мэл* «овца», ср. тюрк. *tal* «скот; имущество, богатство», адыг. *кʔуылай* «удобный; зажиточный», каб. *кʔуылей* «богатый», ср. тюрк. *golai* «удобный, благоприятный; легкий»; адыг. *лул*, каб. *лулʔ* «трубка», ср. перс. *lula* «то же» и др. Как видно, чужая фонема *л* заменяется не фонемой *р*, а латеральными фонемами *л*, *лʔ*. Остается необъяснимым, почему имя *Сослан* должно быть исключением из этого правила. С точки зрения фонетики адыгских языков это тем более странно и неприемлемо, что в совершенно аналогичном окружении фонема *л* в старых заимствованиях дает *лʔ*, а не *р*.

Ничто не препятствовало бы заимствованию имени *Сослан* в форме

Сослэн по модели иноязычных слов *Аслэн* «Аслан», *Къэплэн* «Каплан», *Беслэн* «Беслан» и др. Кстати, в кабардинский язык слово *Сослан* вошло именно в этой форме. Ср. личное имя *Сослэн-бэч* «Сослан-бек», относящееся к старым заимствованиям.

Между тем общеизвестно, что для осетинского языка характерен переход $p > л$. Ср. осет. *нэл* «самец, мужчина», *мал* «глубокая стоячая вода» и др., где *л* восходит к *p* [20, с. 68, 166], поэтому представляется вполне закономерным ожидать в осетинском переход $p > л$ в рассматриваемом случае, если допустить генетическое тождество *Соср* и *Сосл* в *Сосруко* и *Сослан*. Но если даже оставить в стороне переход $p > л$ в осетинском, приведенные выше примеры показывают, что имя *Сослан* в адыгских языках не может принять форму *Сосран*. В адыгском эпосе нет имен *Сосран* и *Сосрануко*. Нет также никаких следов, указывающих на то, что *Сосруко* представляет собой упрощенное *Сосрануко*. Отсутствует имя *Сосрануко* и в абазинских сказаниях, где второстепенные и эпизодические персонажи *Сосран* и *Сосранна* не отождествляются с центральным героем *Сосруко* [33].

Имя главного героя эпоса в абхазско-адыгских языках и их диалектах представлено в разных фонетических вариантах: абх. *Сасрыкъяу*, абаз. *Сасрыкъяу*, *Сосрыкъяу*, убых. *Саусырыкъяу*, адыг. *Сауэсырыкъяу*, *Сауэсырыкъяуэ*, *Саусырыкъяуэ*, *Саусэрыкъяуэ*, *Сасрыкъяуэ*, каб. *Сосрыкъяуэ*, *Созрыкъяуэ*. Общий элемент *къяу* // *къяуэ* «сын» (ср. адыг., каб. *къяуэ*, убых. *къяуэ* «сын») соединен с производящей основой в соответствии с широко известной словообразовательной моделью, т. е. с помощью соединительного гласного *ы*. После вычленения *къяу* // *къяуэ* «сын» и соединительного гласного *ы* остается производящая основа в формах *Саср*, *Соср*, *Созр*, *Саусыр*, *Саусэр*, *Сауэсыр*. Сравнительный анализ последних показывает, что наиболее архаичным из них является *Сауэсыр*. Форма *Саср*, представленная в абхазском и абазинском языках и адыгейских диалектах, является результатом перехода *Сауэсыр* $>$ *Саср*. Что касается формы *Соср* ($>$ *Созр*), встречающейся в кабардинском языке, то по своему фонетическому облику она является наиболее поздним образованием, что можно считать установленным фактом: возможность перехода *Соср* $>$ *Сауэсыр* с точки зрения фонетики рассматриваемых языков исключена, в то время как переход *Сауэсыр* $>$ *Соср* иллюстрирует характерный звуковой процесс в этих языках. Здесь имеет место типичный для адыгских языков переход в межконсонантном положении *ауэ* $>$ *эуэ* $>$ *о* и редукция до нуля гласного *ы*. Ср. совершенно аналогичный процесс в фамильных именах, т. е. переход *ауэ* $>$ *эуэ* $>$ *о* в тождественной позиции: каб. *Шъауэмахуэ* $>$ *Шъэуэмахуэ* $>$ *Шъомахуэ* «Шомахов», *Шъауэкъара* $>$ *Шъэуэкъара* $>$ *Шъокъарэ* «Шокаров» и др.; редукция до нуля гласного *ы* в той же позиции, т. е. перед *p*: *Безырыкъяуэ* $>$ *Безрокъуэ* «Безроков», *Мысырокъуэ* $>$ *Мысрокъуэ* «Мисроков», *Темырокъуэ* $>$ *Темрокъуэ* «Темроков» и др. Количество примеров можно легко увеличить, но в этом нет необходимости, поскольку указанные звуковые изменения закономерны и известны всем исследователям абхазско-адыгских языков.

Теперь сопоставим форму *Сауэсыр* с формой *Сосл* в *Сослан*. Можно сделать два вывода. Во-первых, учитывая значительные фонетические различия между *Сауэсыр* и *Сосл*, считать их генетически нетождественными (мы полагаем, что генетическое единство этих форм еще никем не обосновано убедительно). Во-вторых, если даже их генетическое единство не подлежало бы сомнению (или в дальнейшем подтвердилось бы), все же остается очевидным факт, что форма *Сосл* ближе стоит не к исходной об-

щеадыгской форме *Сауэсыр*, а к позднешему ее фонетическому видоизменению — кабардинской форме *Соср*¹. Из этих выводов следует, что не может быть принята точка зрения, согласно которой формы *Сауэсыркъуэ*, *Саусыркъуэ*, *Сасыркъуэ*, *Сосыркъуэ*, *Созракъуэ* восходят к *Сослан*. Что касается основы *Сауэсыр*, то остается убедительным сближение Н. С. Трубецким этой основы с именем адыгского божества *Сауэргъыш* «Саузараиш» [35]. Такого же мнения придерживался и В. И. Абаев [16, с. 70], но позже отказался от него. В пользу указанного сближения говорят функциональные сходства *Саусаруко* (*Сосруко*) и *Саузараиш*, отмеченные многими исследователями [36—38].

Эпические имена двух центральных героев в абхазско-адыгских и осетинских сказаниях сложились в разных этнолингвистических условиях. В этой связи отметим, что не может быть речи о возведении к адыгскому источнику, как это делают некоторые авторы [15, с. 204—206], имени центрального героя осетинских нартских сказаний *Батрадз* (каб. *Батрээ*, адыг. *Пэтэрээ*), созданного, по мнению В. И. Абаева, на осетинской почве из *Батыр-ас* «богатырь асский» [18, с. 27]. Лингвистически несостоятельными являются также неоднократно предпринимавшиеся попытки объяснить имя центрального героя карачаево-балкарских сказаний *Ерюзмек* (каб. *Уэрэмэдж*, осет. *Уырымæг*) на материале адыгских языков. Даже фонетическое строение этого имени говорит в пользу того, что в адыгской нартской ономастике оно относится к иноязычным элементам.

Общим для абхазско-адыгских и осетинских сказаний (и не только для них) является имя *Сатаней* (*Сатанай*, *Сатанней-гуаша*, *Сатъна*), не имеющее до сих пор удовлетворительной этимологии на материале кавказских и иранских языков. Л. Лавров [39], сближал имя главной героини нартского эпоса с именем аланской принцессы Сатаник, что кажется нам произвольным, как и попытки отождествить сказание о последнем походе Урызмага с армянским сказанием об упомянутой принцессе [40]. В. И. Абаев писал, что о происхождении имен *Сатъна* и *Сослан* «нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что они не могут быть отнесены к иранскому слою осетинского языка» [16, с. 73]. Неубедительно объяснение, согласно которому имя *Сатаней* состоит из адыгских *сэ* «меч» + *тэн* «дарить» + *ай* (ласкательный суффикс) и означает «меч дарящая» [15, с. 200].

Оставляя в стороне совершенно неясную этимологию имени *Сатаней*, следует подчеркнуть, что эпический образ героини в абхазско-адыгских сказаниях неотделим от *Сосруко*. В нартских сказаниях, по крайней мере абхазско-адыгских, проникновение образа *Сатаней* из цикла *Сосруко* в другие циклы — явно вторично, т. е. первоначально героиня была прикреплена к циклу *Сосруко*.

Что касается имен неглавных героев, то некоторые из них достаточно надежно объясняются на местной (кавказской) почве, а другие относятся к старым заимствованиям, но с давних пор бытующим в языке нартского эпоса.

Адыг. *Шъэуай* «Шауай», каб. *Шъэуей* «Шауей», осет. *Сæуай* имеют убедительную этимологию на адыгской почве. Они восходят к общеадыгскому слову *шъауэ* «юноша». От этого слова образованы имя другого нарта

¹ Анализируя грузинские варианты нартского эпоса и фонетические формы имен героев, Ш. В. Дзидзигури отмечает, что *Соср* (*Созыр*) является исходным для *Сосл*. «Сравнение *Sosuran* — *Sozar* и *Soslan* дает возможность предположить, что исходным является *Sozar*, откуда посредством добавления *an* получены: *Sozar-an* → *Sosur-an* → *Soslan*» [34].

Шъауэ «Шауэ» и его региональные варианты *ШъауауцI* «Шаоц», *Шъауэ-къауэ* «Шаоко». Оно же входит в состав имени нартов *Тэтэршъау* «Татаршау», *Тыришъау* «Таришау» (варианты *Тыришъау* «Тыршау», *Тышъау* «Тышау»); ср. также имя нарта *ШъауIас* (< *ШъауэIасэ*) в абхазских сказаниях.

Адыг. *Алэдж*, каб. *Алыдж* (варианты *Алэгъ*, *Алыгъ*, *Гэлыджэ*, *Гэлыгъэ*), осет. *Алэгъ* — название известного нартского рода В. П. Абаев сближает с абх. *лыг* «мужчина» в слове *алыгъжэ* «старик, старый мужчина» [19, с. 44].

Адыг. *Гадыйыф* «Адипф», каб. *Гэдийыху* «Адинху» образовано из адыг. *Гадый*, каб. *Гэдий* «рука» + адыг. *фы*, каб. *хуы* «белый», что и соответствует функции героини, излучающей свет, освещающей путь.

Прозрачны также по своему значению и морфологическому строению имена таких героев, как адыг. *Пакуэ* «Пако», каб. *Пагуэ* «Паго» (букв. «тупоносый»), адыг. *Лъэгуюц* «Лтегуиц», каб. *Лъэбыцэ* «Лтебица» (букв. «лохматоногий»), *Гэпшъауэ* «Апшаца» (букв. «лохматорукий»), адыг. *Шыужъый* «Шужий», каб. *Шужъей* «Шужей» (букв. «маленький всадник»), адыг. *Дзэгъашът* «Дзагашт» (букв. «пугающий войско, врага»), адыг. *Гъуыгъылъ* «Гукипл» (букв. «раскаленное железо»).

Характерно, что разбираемые имена младших героев образованы на базе сочетания слов, подчеркивающих свойства, качества и признаки героя. Они созданы по традиционной модели имен: *Шъауэфыжэ* «Шаофиж» (букв. «белый витязь»), *Гапшъабгъу* «Апшабгу» (букв. «с широкими запястьями»), *Шъауэфыжэ Гапшъабгъу* «Шаофиж Апшабгу».

Ср. также в адыгских сказаниях имена близнецов: адыг., каб. *Пыджэ* (букв. «рубака» (мастерски владеющий холодным оружием)), *Пызыгъэшъ* (букв. «отсекающий»), адыг. *Цэгуынэжэ* «Цаунеж» (букв. «проницательный»), *Уысэрэжэ* «Усареж» (букв. «прорицатель»); последняя пара образована по продуктивным моделям, включающим распространенный в языке фольклора эпитет *жъы* в значениях «старый, бывалый, славный, могучий».

Вместе с тем в сказаниях адыгейцев, кабардинцев, убыхов, абхазов и абазин часть собственных имен, в том числе имен некоторых старших героев, должна быть отнесена к старым заимствованиям. Имена таких известных героев, как адыг. *Тутарышъ* «Тутариш», каб. *Тотрэш* «Тотреш» (осет. *Тотрадз* «Тотраза»), адыг. *Уэрэмэс* «Орземес», *Уэрэмэдж* «Орземедж» (осет. *Уырымэжэ*), адыг. *Насрен*, каб. *Насрэн* «Насран», адыг. *Хъымышъ*, каб. *Хъымышъ* «Химмиш» (осет. *Хъмыц*) и др. не могут быть объяснены на адыгской (или абхазско-адыгской) почве. По своему фонетическому облику они явно относятся к старым заимствованиям. В то же время не требует пояснений и то, что иноязычное имя героя (или неясность его происхождения) не означает, что весь цикл сказаний, связанный с именем данного героя, также является чужим. Так, в цикле *Батраза* (*Патараза*) в адыгских сказаниях эпоса очень много, в том числе наиболее древний пласт, идет из осетинских сказаний. В то же время в адыгских версиях цикла *Батраза* (*Патараза*) имеются сюжеты, созданные в более поздний период в адыгской среде.

Нартский эпос состоит из многих циклов. Их удельный вес в разных национальных версиях не одинаков. Зарождение эпического цикла и возникновение имени героя далеко не всегда относятся к одному хронологическому срезу. Это подтверждается также тем, что некоторые известные персонажи сказания носят разные имена, восходящие к разным периодам развития нартского эпоса. Так, в адыгских сказаниях популярный герой

Тотрэш (*Тутарышь*) в ряде вариантов известен только как *Іапшѣабгѣу* (*Іапшѣабгѣуз*) «Апшабгу» или *Шѣуэфыжѣ* «Шеофиж». Мы не исключаем возможности того, что имя *Тотрэш* может быть вторичным.

Итак, различна этнолингвистическая среда, в которой созданы имена двух центральных героев в абхазско-адыгской и осетинской версиях нартского эпоса. Имя *Созрыко* (*Созруко*) — абхазско-адыгский вклад в осетинские сказания, а имя *Бэтрэз* (*Пэтэрэз*, *Патраз*) — осетинский вклад в абхазско-адыгские сказания [речь идет об имени, а не корне *бэтр-* (*нэтр-*, *патр-*)]. Подобное взаимопроникновение элементов не исчерпывается именами двух центральных героев, а охватывает также имена других персонажей. Так, имена *Алэг* (*Алэгатэ*), *Сѣуай* (*Шауай*) в осетинские сказания привнесены из абхазско-адыгского мира, в то время как *Тотрэш* (*Тутарышь*, *Татраш*), *Урзэмедж* (*Узырмэдж*, *Урзэмас*, *Узырмас*) проникли в абхазско-адыгские сказания из осетинских. Приведенные примеры, число которых может быть увеличено, подтверждают тезис о гетерогенной основе ономастической лексики нартского эпоса, что, бесспорно, связано с своеобразием композиции и эпической структуры самого памятника. Как отмечалось выше, заимствование эпического имени не означает, что заимствован и весь эпический цикл, связанный с данным героем. Вместе с тем происхождение эпических имен, в особенности центральных героев (точнее — этнолингвистическая основа их создания и зарождения), говорит о многом относительно истоков и эволюции основных национальных версий нартского эпоса, его узловых, ядерных эпических циклов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев В. И. Проблемы нартского эпоса // Нартский эпос. Орджоникидзе, 1957.
2. Толстой Н. И. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // ИАН СЛЯ. 1982. № 5. С. 404.
3. Нозомов Ш. Б. История адыгейского народа. Нальчик, 1977. С. 27.
4. Лопатинский Л. Г. Кабардинские предания, сказания и сказки // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XII. Тифлис, 1891. С. 45.
5. Пфаф В. Б. Материалы для древней истории осетии // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. IV. 1. Тифлис, 1870. С. 4.
6. Туанов М. С. Кто такие нарт? // Изв. Осетинского научно-исследовательского ин-та краеведения. Вып. I. Владикавказ, 1925. С. 372.
7. Ашхацава С. М. Пути развития абхазской истории. Сухуми, 1925. С. 32.
8. Алборов Б. А. Термин «нарт» (К вопросу о происхождении нартского эпоса). Владикавказ, 1930. С. 293.
9. Салакая Ш. Х. Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. С. 89—92.
10. Рклицкий М. В. К вопросу о нартах и нартских сказаниях // Изв. Осетинского научно-исследовательского ин-та. Вып. II. Владикавказ, 1927. С. 17.
11. Dumézil G. Légendes sur les Nartes. P., 1930. P. 188.
12. Dumézil G. Le livre des Héros. P., 1965. P. 11.
13. Baily H. W. Analecta Indo-Scythica // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1953. P. 3—4.
14. Инал-ипа Ш. Д. Об абхазских нартских сказаниях // Тр. Абхазского научно-исследовательского ин-та. Вып. XXIII. С. 115—116.
15. Гадагата А. М. Героический эпос «Нарты» и его генезис. Краснодар, 1967.
16. Абаев В. И. О собственных именах нартского эпоса // Язык и мышление. V. М.—Л., 1935.
17. Кумахов М. А., Кумахова З. Ю. Язык адыгского фольклора: Нартский эпос. М., 1985. С. 81—121.
18. Абаев В. И. Нартский эпос // Изв. Северо-Осетинского научно-исследовательского ин-та. Т. X. Вып. 1. Дзауджикау, 1945.
19. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.—Л., 1958.
20. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. II. М.—Л., 1973.

21. Бенвенист Э. Очерки по осетинскому языку. М., 1965.
22. Семенов Л. П. К вопросу о происхождении осетинского нартского эпоса // Изв. Северо-Осетинского научно-исследовательского ин-та. 1957. Вып. XIX. С. 7.
23. Джигоев Х. С. К вопросу о происхождении термина «нарт» // Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982. С. 130.
24. Нартхэр (Нарты). Т. II. Мыекъяуапэ, 1969. Н. 34.
25. Куматов М. А. Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков. М., 1971.
26. Иванов Вяч. Вс. Об отношении хаттского языка к северо-западнокавказским // Древняя Анатолия. М., 1985.
27. Ардзинба В. Г. Нартский сюжет о рождении героя из камня // Древняя Анатолия. М., 1985.
28. Дьяконов И. М. Языки Древней Передней Азии. М., 1967. С. 166.
29. Туганов М. С. Литературное наследие. Орджоникидзе, 1977. С. 129—130.
30. Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 26.
31. Абаев В. И. Нартовский эпос осетин // Сказания о нартах: Осетинский эпос. М., 1978. С. 12—13.
32. Абаев В. И. Нартовский эпос осетин. Цхинвали, 1982. С. 78.
33. Нарты. Абазинский народный эпос. Черкесск, 1975.
34. Дзидзигури Ш. В. Грузинские варианты нартского эпоса. Тбилиси, 1971. С. 16.
35. Trubetzkoy N. S. Erinnerungen an einen Aufenthalt bei den Tscherkessen des Kreises Tuapse // Caucasia. 1934. Bd. XI. S. 8.
36. Тебу де Мариньи. Путешествие в Черкессию // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII—XIX вв. Нальчик, 1974. С. 304.
37. Люлье Л. Ю. Историко-этнографические статьи. Краснодар, 1927. С. 29.
38. Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 1963. С. 179—180.
39. Лавров Д. Заметки об Осетии и осетинах // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. III. Тифлис, 1883. С. 189.
40. Мелетинский Е. М. Место нартских сказаний в истории эпоса // Нартский эпос. Орджоникидзе, 1957. С. 39.

ЦИТКИНА Ф. А.

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

В настоящее время большое значение приобретает сопоставительное лингвистическое описание подязыков науки и создание на этой основе таких словарей и моделей перевода, которые в максимальной степени способствовали бы расширению научных связей между советскими и зарубежными учеными, обеспечивая обмен научно-технической информацией. Именно поэтому возросли количество и прагматико-теоретический уровень работ по изучению подязыков науки, а также по теории и практике перевода научной и технической литературы.

На материале различных языков авторы исследуют специфические особенности научно-технических текстов, структуру терминов и пути их образования, вопросы стандартизации и упорядочения терминологии, проблему выбора эквивалента и достижения адекватности перевода. Все более актуальным становится сопоставительное изучение терминологий в связи с потребностями информационного поиска, созданием двуязычных терминологических банков и научно обоснованных методик преподавания иностранных языков специалистам. В то же время проблемы сопоставительного и сравнительно-типологического исследования научно-технических терминосистем все еще остаются наименее разработанными. До сих пор нет полного сопоставительного описания структуры терминологической лексики даже английского и русского языков — наиболее популярной для исследователей языковой пары, — если не считать «описаниями» двуязычные словари, имеющие лишь косвенное отношение к сопоставительной лингвистике.

Работы же по сравнительной типологии английского и русского языков обычно ограничиваются сравнением отдельных групп слов, отобранных по признаку равной предметной отнесенности, а в учебниках В. Д. Аракина [1], И. Г. Комеовой и Ю. А. Дубовского [2] терминология даже не упоминается. Практически единственным исключением здесь является работа В. Г. Гака в области французско-русской сравнительной типологии [3], показавшая, в частности, сходства и расхождения общенародных и терминологических номинаций в русском и французском языках и их соотношения.

Следует отметить, что современное терминоведение, развивающееся в СССР с конца 20-х годов нашего века и выделившееся в самостоятельную лингвистическую дисциплину в 60—70 годы, уделяет пока мало внимания как переводу терминов, так и их функционированию в двуязычной ситуации: в работах сопоставительно-терминологического направления нет еще единства в предметах, целях, методике исследования. Кроме СССР, сопоставительные исследования терминологий проводятся в Великобритании, ВНР, ГДР, ПНР, Канаде, ФРГ, ЧССР и других странах.

Внимательное изучение доступных нам работ позволяет сделать вывод о том, что советские сопоставительно-терминологические работы занимают видное место как по теоретическому уровню исследования, так и по количеству и разнообразию разрабатываемых проблем. Нельзя не отметить того, что многие работы зарубежных авторов по сопоставительному терминоведению имеют чрезвычайно узкую прагматическую прескриптивно-дескриптивную направленность и характеризуются некоторой распыленностью теоретической базы. В целом принципы сопоставительного и сравнительно-типологического анализа подязыков науки и их терминологических систем еще не разработаны, мнения о том, как и что именно здесь следует изучать в первую очередь, — разнородны, сведения — скупы и отрывочны. Достаточно последовательным с точки зрения сопоставительного терминоведения трудом является монография А. В. Крыжановской [4], хотя она посвящена только изучению терминологической синонимии. Итак, определенный опыт в данной области уже накоплен, но, к сожалению, направлен на решение частных, не согласованных между собой задач.

Анализ существующих сопоставительно-терминологических работ и потребности практики говорят о необходимости выделения сопоставительного терминоведения как области, пограничной между сопоставительной лингвистикой, терминоведением и теорией перевода. Выделение это обусловлено не столько значительным ростом количества серьезных научных публикаций в данной области, сколько фактом существенного отличия сопоставительного и сравнительно-типологического исследования терминологии от описательного и нормативно-прескриптивного. Так, основой лингвистического сопоставления в терминоведении следует, по нашему мнению, считать определение тождественных и различительных признаков сопоставляемых терминологических элементов. Именно сопоставительное изучение внутренних и внешних отношений в структурах разноязычных терминологий помогает глубже проникнуть в сущность специфики каждой терминологической системы, установить межъязыковые корреляции терминов на всех уровнях сопоставляемых языков, создать адекватное терминологическое обеспечение для систем автоматизированного перевода, двуязычных терминологических банков данных и пр., т. е. в известной степени удовлетворить потребности ЭВМ-ориентированной лингвистики.

Итак, речь идет о формировании новой теоретической дисциплины, имеющей свои собственные выходы в практику. Понятие сопоставительного терминоведения имплицитно уже присутствует во многих конкретных исследованиях, причисляемых то к сопоставительной лингвистике, то к теории перевода, то к терминоведению. Эти четыре лингвистические дисциплины «стыкуются», несомненно, на объекте исследования — терминологии. Рассмотрим, чем отличается сопоставительно-терминологический подход к объекту от трех других.

1. Терминоведение занимается выделением терминов из совокупности знаков подязыка, анализом функционирования терминов, изучением их семантической и формальной структуры, разработкой классификационной схемы терминологии и приведением ее в изоморфное соответствие классификационной схеме понятий, упорядочением, унификацией и стандартизацией терминосистем и пр. [5, 6]. Проблематика терминоведения достаточно широка, и сопоставление терминов различных языков в нее не входит.

2. Теория перевода изучает трансформацию текста на одном языке в текст на другом языке [7], фактически игнорируя наличие в языках терми-

носистем и того, что функционирование термина отличается, по определению, от функционирования обычных слов [8].

3. Предмет изучения сопоставительной лингвистики — это сопоставление языковых систем, грамматических, лексических и стилистических [9, с. 13], как правило, с четким разграничением уровней анализа. Терминологии же как особо организованные подсистемы языков необходимо — в прикладных целях — сопоставлять на всех языковых уровнях.

Поэтому, с одной стороны, нужно проводить сравнительно-сопоставительное изучение терминологических систем в двуязычной ситуации с ориентацией на перевод, а с другой стороны, — изучать закономерности перевода и межъязыковых корреляций терминов и терминосистем на всех языковых уровнях (кроме фонологического) с учетом их специфики как слов в особой функции. Работа в этом направлении, проведенная, главным образом, советскими исследователями, позволяет нам определить собственный предмет сопоставительного терминоведения, уточнить его объект и методы, а также его теоретические и прикладные продукты.

Итак, объектом сопоставительного терминоведения являются разноязычные терминологические пары и терминосистемы в целом: термины ИЯ и соответствующие им термины ПЯ¹, причем со стороны каждого языка количество терминов-конфронтов может быть равно одному и более одного.

Предметом² сопоставительного терминоведения являются закономерности сходств и различий в лексической, семантической и грамматической структуре терминов и терминосистем ИЯ и ПЯ и принципы их перевода.

О методах сопоставительного терминоведения на данном этапе его развития можно сказать следующее. Из пограничных областей языкознания, о которых мы упоминали выше, сопоставительное терминоведение берет методы, пригодные для его целей (т. е. для установления корреляций в системе сходств и различий сопоставляемых терминосистем), а именно: структурно-сопоставительный, контрастивный, дефинитивный и контекстологический анализ, методы лингвостатистики и количественных измерений, опроса информантов, инженерно-лингвистические приемы, методы лексической трансформации и морфологического анализа, семантико-функциональный, сравнительно-типологический, семасиологический, а также статистико-вероятностные и информационные методы (например, [4, 12—14]). Характерно, что ряд методов и процедур анализа ранее в лингвистике не применялись, например, элементы алгебры отношений (см. об этом [15]), определение положительной статистической связи между явлениями сопоставляемых терминосистем по Кендаллу — Стьюарту (см. об этом [16]), представление аппарата анализа и перевода терминов в виде таблиц и схем матричного типа (см. об этом [17]).

Указанные и другие процедуры исследования приводят к получению специфических теоретических и прикладных продуктов сопоставительного терминоведения. Теоретическими продуктами являются выявленные типы

¹ Здесь и далее: ИЯ — исходный язык (английский), ПЯ — язык перевода (русский).

² Здесь мы исходим из того, что объект науки — часть объективной реальности, подлежащей исследованию, а предмет науки — то, что изучается в объекте. При этом предмет определяется особенностями объекта, а также состоянием и уровнем, достигнутым конкретной наукой. Принципиальный характер этого критерия разграничения объекта и предмета науки справедливо подчеркивается В. М. Солнцевым и Б. Г. Таирбековыми: объект как явление действительности — материал, предмет как знание об этом явлении — идеален [10—11].

корреляций терминов-конфронтов и сопоставляемых терминосистем на лексическом, семантическом и грамматическом уровнях, закономерности и объективные критерии перевода терминологии. Прикладными же продуктами являются научно спланированные двуязычные терминологические словари, рекомендации по терминоведению и переводу терминологии, двуязычные автоматизированные терминологические банки данных, научно обоснованные методики обучения специальному переводу, теоретические обоснования унификации и интеграции терминологий.

Значительный интерес вызывает в последние годы такой продукт сопоставительного терминоведения, как двуязычный терминологический банк ³. В нашей стране более распространены несколько упрощенные варианты таких банков — автоматические словари. Попытаемся показать необходимость этих прикладных продуктов сопоставительного терминоведения.

В настоящее время неоспорима важность создания таких моделей перевода, которые могут существенно облегчить если не весь, то хотя бы часть переводческого процесса, например, поиск по словарю [13, 12]. Так, в концепции, развиваемой Р. Г. Котовым, Ю. Н. Марчуком, Л. Л. Нелюбиным, Р. Г. Пиотровским, терминологические банки данных и автоматические словари, эти помощники переводчика и редактора, рассматриваются «как своеобразное развитие МП „снизу“, от практики, не ожидающей, когда будет найдено универсальное решение машинно-переводческого вопроса» [12, с. 143]. В [12] приводятся данные о том, что лексические ошибки в научно-техническом переводе составляют более половины всех ошибок, причем их количество возрастает с повышением сложности текста оригинала. Известно, что наиболее семантически нагруженной и, следовательно, наиболее труднопереводимой частью лексики специального текста является терминология, исторически изменявшая подсистема языка. В развивающихся отраслях она обновляется такими темпами, что традиционные словари не успевают ее фиксировать. Вследствие этого переводчик, работающий традиционным способом, без текстоориентированных списков терминов, тратит много времени на безрезультатный поиск этих терминов в традиционных словарях и справочниках, на консультации со специалистами, т. е. на подготовительную работу. Исследования показали, что эти потери времени составляют 50—85 %, к тому же ошибок здесь совершается в полтора раза больше, чем в случаях работы с текстоориентированными списками терминов [12, с. 145]. Создание постоянно пополняемого двуязычного терминологического банка, ориентированного на данную предметную область, еще в большей степени сокращает потери переводческого времени и дает перевод самого высокого качества. Текстоориентированные списки терминов для переводчиков в виде «Тетрадей новых терминов» по различным отраслям науки и техники не в состоянии объять необъятное и дать современное сопоставительно-терминологическое обеспечение по всем развивающимся областям знания. На данном этапе, на наш взгляд, необходимы: а) интенсификация работ в плане создания автоматизированных словарей и дву- и многоязычных терминологических банков; б) централизация этих работ в плане

³ Так, сопоставительно-терминологические работы ведутся в Канаде уже около 40 лет и один из первых успешно функционирующих двуязычных терминологических банков был создан в 1974 году [18]; в 1983 г. была создана корпорация пяти таких банков и подписано соглашение о научном и техническом сотрудничестве [19]. Этот, по сути прикладной аспект сопоставительного терминоведения успешно развивается за рубежом (см., например, обзор [20]).

создания единого образца с единым (универсальным) программным обеспечением; требование теоретического единства здесь имеет серьезные практические основания: в перспективе банки должны обмениваться информацией, взаимобогащаться. Взаимный обмен информацией повышает надежность, привлекает все большее число пользователей, способствует режиму экономии.

Работа по автоматизации труда переводчиков научно-технических текстов и специалистов, пользующихся иностранной литературой, должна проводиться в двух направлениях: 1) в направлении создания мощных терминологических банков; 2) в направлении создания автоматизированного рабочего места (АРМ) переводчика, т. е. разработки комплекса программных и лингвистических средств, которые уже в ближайшее время могут быть реализованы на персональных ЭВМ с целью автоматизации «ручного» перевода. В дальнейшем — при объединении этих ЭВМ в сети и подключении к суперкомпьютерам — данные программы послужат интерфейсом между пользователем и терминологическими банками. С учетом тенденции развития средств вычислительной техники в СССР второе направление не менее актуально, чем первое.

Таким образом, рассмотрев наиболее перспективные приложения сопоставительного терминоведения, можно сделать вывод о важности единого подхода к организации терминологического и программного обеспечения. Объединению усилий исследователей по созданию единообразного, полного, рационально организованного лингвистического обеспечения и терминологических банков, и других своих «точек» приложения может — и должно — способствовать сопоставительное терминоведение, представляющее собой фактически единственную языковедческую дисциплину, целенаправленно исследующую сходства и различия соотносительных терминологических систем разных языков.

Действительно, назрела необходимость провести обобщение достигнутых в его рамках результатов, преодолеть разрозненность, разноаспектность, фрагментарность отдельных исследований, систематизировать существующие методики, выявить наиболее характерные тенденции складывающегося нового подхода к изучению терминосистем, уточнить его предмет, наметить перспективы развития.

Представляется, что интеграции работ в этой формирующейся отрасли знания в наибольшей мере может способствовать проведение комплексного, обобщающего исследования на конкретном двуязычном языковом материале.

Объектом анализа в нашей работе явились англо-русские пары терминов, выделенные из текстов монографий известных авторов по математической логике и их переводов. Выбор в качестве конкретного материала терминов из текстов подязыка математической логики объясняется как свойствами самого материала, так и внешними, социально-прагматическими факторами. Во-первых, в данных текстах наиболее ярко проявляются все особенности подязыков науки: логичность, функциональная направленность изложения, относительная конечность и др. Подязык математической логики, вследствие заложенного в нем стремления к емкой кодификации, удален от общенародного языка еще дальше, чем подязык математики в целом, что и превращает его терминологическую подсистему в один из наиболее интересных объектов сопоставительного и сравнительно-типологического изучения. Во-вторых, как показано в [13], специальные подязыки с относительно ограниченными лексико-грамматическими характеристиками сравнительно легко поддаются формализа-

ции и, следовательно, обеспечивают такое описание терминологической системы, которое может послужить реальной лингвистической базой для терминологического машинного перевода и облегчить общение человека с ЭВМ. Кроме того, необходимость анализа и сопоставления английских и русских терминов математической логики была вызвана практическими потребностями перевода текстов этой бурно развивающейся области знания, необходимостью упорядочения ее терминологии и составления специального англо-русского словаря. Использование переводов в качестве материала исследования обусловлено также эффективностью прямолинейных сравнений двух языков в сопоставительных штудиях [9, с. 14].

Предмет исследования составили сходства и различия в лексической, семантической и грамматической структуре терминов, представляющих в ИЯ и ПЯ математической логики одно и то же научное понятие, а также степень типологической близости исследуемых терминологических подсистем и закономерности англо-русского перевода терминологической лексики.

Используемую методику анализа можно охарактеризовать как трехступенчатую процедуру описательного — сопоставительного — структурно-типологического анализа, который развивается следующим образом: изучение общих лингвистических особенностей данного подязыка и терминосистемы, затем сопоставительный — построенный как системно-структурный — анализ системы соответствий между терминологическими единицами в эквивалентных текстах. Сопоставительный анализ (представляющий и самостоятельную теоретико-практическую ценность) дает материал для сравнительно-типологического исследования, для выявления специфичных типологических и универсальных свойств терминологических подсистем⁴. Такой трехэтапный подход представляется достаточно последовательным, постепенным приближением к цели.

Мы анализировали и форму, и семантику терминов и терминосистем ИЯ и ПЯ, их корреляции на лексическом, словообразовательном, синтаксическом и семантическом уровнях. В качестве примера приводится один из фрагментов работы, касающийся терминологических словоупотреблений (ТСС). Выбор этот не случаен: проблема подбора соответствий иноязычным ТСС является сложнейшей терминологической проблемой научно-технического перевода. Действительно, нередки ситуации, когда: а) встречаются термины-неологизмы; б) ни одно из словарных соответствий не передает контекстуального значения нового термина; в) ТСС (или его элемент) используется в новом значении. Выход из этого положения нам видится в возможности введения в систему АРМ переводчика данных по использованию переводов отдельных терминов, уже имеющих в ПЯ, для генерирования переводных эквивалентов в соответствии с рекомендуемыми моделями ТСС. Выявление типичных корреляций моделей ТСС опирается на статистику переводных соответствий в данном подязыке, выявляющую наиболее частотные корреляции и «подсказывающую» возможные варианты перевода. Итак, сопоставительное исследование ТСС — как и другие аспекты сопоставительного терминоведения — не является лишь «вещью в себе и для себя», а представляет собой основу лингвистического обеспечения для приложений.

⁴ Такое понимание последовательности и соотношения сопоставительного и сравнительно-типологического изучения языков было достигнуто в результате дискуссии на III Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания «Типы языковых общностей и методы их изучения» в Москве (1984), см., например [21; 23, с. 138—139], а также [22].

Рассмотрим сходства и различия, изоморфные и алломорфные черты субстантивных ТСС в ИЯ и ПЯ.

В пределах подязыка ТСС могут образовывать ряды по общности модели, общности грамматических значений терминологических элементов, общности логико-семантических отношений между элементами, по участию термина в построении дериватов и др. Рассмотрим ряды ТСС, отобранных по общности модели.

Одной из главных изоморфных черт ТСС ИЯ и ПЯ является их номинативность и связанная с ней способность выполнять одинаковые функции в предложениях сопоставляемых подязыков. Изоморфна также природа ТСС как синтаксической единицы, в которой реализуются синтаксические процессы (расширения, сокращения) и синтаксические связи.

Кроме того, анализ показал, что структура ТСС ИЯ и ПЯ неоднородна. Установлено 39 терминообразующих моделей английского и 40 моделей русского подязыка математической логики. Однако изоморфными в обоих языках является лишь 21 модель; при этом, естественно, термин ИЯ и его эквивалент на ПЯ далеко не всегда выражены идентичными моделями. Тем не менее, в 73,49% случаев перевода высокопродуктивных терминов наблюдается структурное совпадение терминов ИЯ и ПЯ. Все случаи структурного совпадения характеризуются положительной статистической связью. Структурное совпадение среди низкопродуктивных моделей встречается значительно реже (15, 27%), но в некоторых случаях является закономерностью. Например, при соответствии типа $Ad (Part II + N) \rightarrow Ad' (Part II + N)$ ⁵ во всех девяти обнаруженных примерах имеет место перевод по данной схеме: *predicatively closed class* — *предикативно замкнутый класс*.

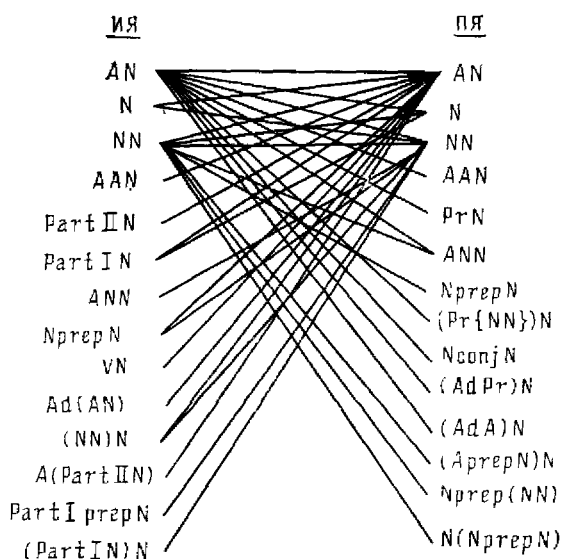
Высокопродуктивных моделей всего 7 (17%), но они покрывают большинство терминов исследуемого корпуса (90, 22%).

Поскольку, по замечанию И. П. Сусова, типология языков строится прежде всего как системно-структурный анализ языков [23, с. 139], необходимо представить сетку дифференциальных элементов плана выражения терминосистем ИЯ и ПЯ на синтаксическом уровне. При этом рельефнее выступают и общность их, и специфика.

Приведенная в статье схема является фрагментом общей сетки структурных соответствий ТСС для двух наиболее продуктивных в данной терминосистеме моделей: AN и NN. В верхней, более густой части сетки отображены самые частые переводные структурные соответствия. ТСС, образованные по модели AN английского языка, соответствуют десяти моделям в ПЯ. ТСС, образованные по модели AN русского языка, соответствуют одиннадцати моделям на ИЯ, причем расхождение в количестве моделей нейтрализуется тем, что в ИЯ отдельно обозначены Part I и Part II, в ПЯ же оба вида причастий обозначаются Pr. Таким образом, верхняя часть сетки идентична для ИЯ и ПЯ, различия же касаются только четырех непродуктивных моделей.

Для терминов, образованных по модели NN в ИЯ, существует восемь моделей терминов-конфронтов в русском языке. Для ТСС этой же модели русского языка существует девять моделей терминов-конфронтов. Расхождение в количестве моделей идет за счет модели с причастием в ИЯ $Part I + N$. По три непродуктивных компаративных модели расположено в ниж-

⁵ Здесь и далее приняты следующие обозначения: A — имя прилагательное, N — имя существительное, Ad — наречие, V — глагол, Part I — причастие настоящего времени ИЯ, Part II — причастие прошедшего времени ИЯ, Pr — причастие ПЯ, prep — предлог, conj — союз



ней части сетки, причем две из них со стороны ПЯ — модели с причастием, проявляющим терминообразовательную активность в основном в английском языке. Пять верхних моделей терминов-конфронтов для NN идентичны для ИЯ и ПЯ. Подобные же закономерности прослеживаются и в общей сетке структурных соответствий ТСС, представить которую не представляется возможным ввиду ее громоздкости.

Выявленная структурная однотипность терминологических подсистем и продуктивность только семи моделей в каждом подязыке говорят о высокой степени их изоморфизма на синтаксическом уровне, что имеет важные следствия для приложений сопоставительного терминоведения. Так, например, отсюда следует, что лексикографические пособия обязаны включать ТСС, образованные по всем продуктивным моделям, т. е. не только двух-, но и трехэлементные терминологические словосочетания. В двуязычном терминологическом банке пары ТСС, характеризующиеся положительной статистической связью, должно быть особо помечены для сведения переводчиков. Для ТСС исследуемых подсистем характерны также следующие сходные черты:

- 1) постановка подавляющего большинства прилагательных и адъективизированных частей речи в препозиции к ядерному существительному;
- 2) семантическая детализация ядерных терминов с линейным наращиванием компонентов типа $A \leftarrow (A \leftarrow N)$, что в ТСС ИЯ составляет 51,28%, а в ПЯ — 62,50% от общего количества моделей ТСС: *monotonic increasing function* — *монотонно возрастающая функция*;
- 3) семантическая детализация ядерных терминов несогласованными определениями, что составляет 15,38% в ИЯ и 10,00% в ПЯ: *law of idempotence*, *доказательство с чистыми переменными* и т. п.;
- 4) двустороннее усложнение базового термина согласованными и несогласованными определениями, что составляет 33,34% и 27,50% соответственно в ИЯ и ПЯ: *inductive definition of a function*, *рекурсивные предикаты при навешивании кванторов*;
- 5) растущая тенденция в левостороннем однолинейном наращивании

терминоэлементов: *principal disjunctive normal form* — совершенная дизъюнктивная нормальная форма;

б) активность беспредложной связи элементов ТСС, что не является характерным для субстантивных словосочетаний общенародного языка (см. [14]). Формальную невыраженность служебных элементов в терминах можно объяснить стремлением к краткости подачи информации, возможности восстановления предложной связи в ТСС типа *Turing computability* — *вычислимость по Тьюрингу*.

Алломорфные черты проявляются в соотношении некоторых количественных и качественных показателей наполнения моделей ТСС ИЯ и ПЯ, в различиях структур и форм объединения элементов ТСС, а иногда и в их функционировании.

По типам синтаксической связи в данном корпусе различаются ТСС: а) с сочинительной связью; б) с подчинительной связью. Сочинительная связь в целом не характерна для терминов и встречается в единичном случае только в ПЯ: *unique existence* — *существование и единственность*. Виды подчинительной связи имеют разную степень распространения в ИЯ и ПЯ. Так, русским терминам — словосочетаниям более присуще согласование, что объясняется развитой флективной системой: *сколемовская нормальная форма*. Английским же ТСС присущи управление и примыкание: *interchange replacement, vacuous axioms set*.

Алломорфной чертой исследуемых подсистем является также и то, что в русских ТСС вокруг ядерных существительных группируются, в основном, прилагательные и адъективированные части речи, в то время как в английском языке 17 моделей из 39 представляют собой предложные конструкции. Шире, чем в ПЯ, представлена в ИЯ предложная форма соединения адъюнктов в ТСС: *ideal generated by a set* — *порожденный множеством идеал*; синтаксическая связь элементов ТСС в ИЯ и ПЯ здесь различна. Эта особенность согласуется с аналитическим строем ИЯ, где большинство слов утратило морфологические маркеры и важным способом объединения элементов словосочетаний стали их местоположение и предлоги.

Выше уже отмечалось, что блоки совпадений поверхностных структур ТСС ИЯ и ПЯ велики, а различий здесь немного. Различия же в глубинных формах ТСС значительнее. Детальный анализ выявил перестановки семантических компонентов при переводе, происходящие вследствие языковых различий в наполнении моделей. Алломорфизм в языковом наполнении внешне совпадающих моделей можно наглядно представить на примере перевода ТСС типа $NN \rightarrow N'N'$, где перестановка семантических компонентов является закономерностью: *conversion calculus* → *исчисление конверсий*.

Следует, однако, заметить, что в большинстве случаев совпадения поверхностных структур глубинные структуры также тождественны, как, например, в ТСС типа $X \text{ prer } X$: *generalization by induction* — *обобщение по индукции*.

Наблюдения за функционированием ТСС в текстах ИЯ и ПЯ выявили следующую алломорфную черту. Русские ТСС благодаря большей свободе в постановке приядерных основ носят дискретный характер т. е. допускают введение других слов между элементами. В ТСС же ИЯ расположение элементов более контактное, тесное, что обусловлено аналитизмом конструкций английского языка. Например: *For mutually disjoint non-void sets... → Для попарно не пересекающихся в данной логике множеств...* Здесь произвольное уточнение переводчика звучит вполне

естественно для русского языка, но не характерно для языка английского. Есть также случаи «разрыва» исходного термина при необходимости эксплицировать семантические отношения терминологических элементов, которые имплицитны, скрыты в ИЯ, например: *recursive predicates quantification* → *рекурсивные предикаты при навешивании кванторов*. Этот случай тоже обусловлен разнотружностью ИЯ и ПЯ.

Итак, анализ алломорфности дает основания заключить, что различия исследуемых терминосистем на синтаксическом уровне сводятся не столько к количественным различиям в 20 моделях и их составе, сколько к разнотружности продуктивности соотносительных моделей ИЯ и ПЯ и, главное, к неодинаковым способам их лексического наполнения, объединения элементов и функционирования. В целом в сопоставляемых терминологиях на данном уровне изоморфные черты преобладают.

Проведенный анализ языковых фактов позволяет сделать вывод о том, что лексической системности здесь соответствует системность семантическая и системность определительных синтаксических структур ТСС. Выявленные различия носят характер закономерностей и объясняются несоответствиями в семантико-грамматической структуре английского и русского языков. Основой изоморфизма на грамматическом уровне ИЯ и ПЯ служат типологическое подобие синтаксических связей английских и русских частей речи, а также сходство научного восприятия мира, сходство способов кодирования понятий в ИЯ и ПЯ математической логики. Многочисленность изоморфных черт дает основание полагать, что исследуемые терминологии, отражающие в языке идентичные научные понятия, находятся в тесной взаимосвязи и под взаимным влиянием. Математическая логика переживает в данное время период бурного развития, и ее национальные подязыки находятся в постоянных налаженных книжных контактах. Результатом этих контактов, усиленных дедуктивным характером построения математической логики, строго дефинитивным способом ввода терминов, прогрессирующей формализацией ее метаязыка, является глубокое взаимопроникновение исследуемых терминологических подсистем, в частности, на грамматическом уровне. Характер данного взаимопроникновения таков, что специфические черты ИЯ и ПЯ несколько нивелируются в том смысле, что в процессе функционирования терминосистем происходит естественный отбор именно тех черт и тех моделей, которые являются общими для обоих подязыков. Степень влияния на этот процесс логической структуры высказывания еще предстоит выяснить.

Итак, сопоставление терминологических систем английского и русского подязыков математической логики на уровне словосочетания позволило установить присущие им сходства, симметричные элементы внутренней организации, а также выявить существующие различия и наличие определенных динамических тенденций научно-технического перевода.

Сопоставительное исследование разноязычных соотносительных терминологий на различных языковых уровнях, исключая, естественно, фонологический, существенно для сопоставительного терминоведения, поскольку оно может по-новому осветить состояние лексико-семантических и грамматических категорий в каждом из подязыков, добавив к имеющимся данным новые свидетельства о степени сходства и различия в области системных связей терминологического состава современных языков. Рамки настоящей статьи, однако, не позволяют нам ни представить сопоставительно-терминологический анализ на разных языковых уровнях, ни соотнести анализ на уровне словосочетаний с анализом,

скажем, сопоставительной семантики научного термина. Это может быть сделано только в рамках гораздо большей работы. Нашей задачей было лишь очертить контуры общего объема исследования, наметить его методику, изложить на примере анализа ТСС некоторые результаты и показать важность сопоставительного терминоведения для приложений.

Таким образом, установление прямых закономерных соответствий ИЯ и ПЯ в рамках сопоставительного терминоведения помогает осмыслить процесс перевода с лингвистической точки зрения, т. е. оказывается полезным для теории, методики и практики научно-технического перевода и прикладной лингвистики в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. Л., 1979.
2. Кошечая И. Г., Дубовский Ю. А. Сравнительная типология английского и русского языков. Минск, 1980.
3. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.
4. Крыжановская А. В. Сопоставительное исследование терминологии современных русского и украинского языков. Киев, 1985.
5. Лейчик В. М., Смирнов И. П., Суслова И. М. Терминология информатики (теоретические и практические вопросы) // Информатика. 1977. Т. 2. С. 120—127.
6. Felber H. The Vienna School of terminology. Fundamentals and its theory // Theoretical and methodological problems of terminology. International symposium proceedings. Inforterm Series. 6. München, 1981.
7. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1975. С. 6.
8. Винокуров Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Московского Ин-та истории, философии и культуры. 1939. Т. 5. С. 5.
9. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. М., 1973.
10. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1977. С. 11.
11. Таирбеков Б. Г. Философские проблемы науки о переводе (гносеологический анализ). Баку, 1974. С. 66.
12. Марчук Ю. Н. Методы моделирования перевода. М., 1985.
13. Нелюбин Л. Л. Перевод и прикладная лингвистика. М., 1983.
14. Лагунова В. К. Опыт сопоставительного изучения терминологии литейного производства в русском и английском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Горький, 1982.
15. Бабанаров А. Разработка принципов построения словарного обеспечения турецко-русского машинного перевода: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1981.
16. Циткина Ф. А. Некоторые особенности перевода и переводимости текстов подязыка математической логики (на материале англо-русских переводов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1979.
17. Рябцева Н. К. Семантико-синтаксические принципы формализации перевода сложных терминов (на материале словосложения в немецких научно-технических текстах): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.
18. Rondeau Y. The Terminology Bank of Canada // L'actualité terminologique. Novembre, 1978, V. II, № 9, P. 1—3.
19. Cardin M. Les grandes banques de terminologie se concertent // L'actualité terminologique. Septembre, 1983, V. 16, № 7.
20. Казаневич О. А. Информационно-поисковые системы — в помощь переводчику // НТИ. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 1986. № 7.
21. Супрун А. Е. Сопоставительное изучение и типология языков // Типы языковых общностей и методы их изучения: Тез. III Всесоюзной конф. по теоретическим вопросам языкознания. М., 1984. С. 137—138.
22. Бураков Дж. Сравнительная типология английского и турецких языков. М., 1983. С. 14.
23. Сусов И. П. Сопоставительная лингвистика или сравнительная типология? // Типы языковых общностей и методы их изучения: Тез. III Всесоюзной конф. по теоретическим вопросам языкознания. М., 1984.

ПЮРБЕЕВ Г. Ц.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПАМЯТНИКАХ МОНГОЛЬСКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА XVII—XVIII вв.

Исследование грамматического и лексико-фразеологического своеобразия языка старописьменных текстов, относящихся к разным периодам и жанрам монгольской литературы, является особенно актуальным для монголистики. К настоящему времени в большей степени изучен лишь текст «Сокровенного сказания» — древнейшего памятника письменного творчества монголов (XIII в.). В связи с этим особого упоминания заслуживают монография Дж. Стрита, а также обстоятельные статьи Г. Дёрффера и М. Н. Орловской; см. [1—3]. В последние годы появились интересные и глубокие исследования по языку бурятских хроник и родословных и языку «Алтан тобчи» — крупного историко-литературного памятника монголов XVIII в. [4, 5]. Осуществлено описание морфологии и синтаксиса ойратского текста «Сутры золотого блеска» (XVII в.) — перевода с тибетского языка [6].

Однако существуют и другие памятники монгольской и ойратской письменности, не менее оригинальные по своему культурно-историческому содержанию, которые все еще остаются неизученными. В частности, богатый и ценный языковой материал содержится в таких широко известных источниках по социально-экономическому строю монголов и истории монгольского феодального права, как «Их цааз» («Великое уложение», или Монголо-ойратские законы 1640 г.) и «Халха джирум» («Законы Халхи», датированные разными годами, начиная с 1709 г. и кончая 1770 г.)

Лингвистический аспект изучения этих памятников имеет важное значение для решения проблем истории развития литературных монгольских языков, в первую очередь для правильного соотнесения данных классического монгольского и ойратского литературного языков XVII—XVIII вв. с соответствующими фактами живых современных монгольских языков и установления на этой основе линии их преемственности. Общая характеристика «Халха джирума» была дана в свое время Л. Д. Шагдаровым, который совершенно справедливо отметил, что стиль данного памятника вообрал в себя не только письменные традиции монголов в изложении официально-деловых документов, но и приемы народно-разговорной речи той эпохи [7]. Наблюдения над особенностями употребления фразеологии в текстах «Их цааз» и «Халха джирум» показывают, что разнообразные по своей структуре и значениям фразеологические сочетания обогащают язык памятников, придают им черты национально-культурной самобытности [8].

Вполне самостоятельный интерес представляет исследование функционально-стилистических признаков синтаксического строя юридических текстов, специфических черт их структурной организации, характера употребления разных типов конструкций, своеобразия экспликации формальной и смысловой связи компонентов сложных предложений.

Являясь образцами официально-делового стиля, тексты «Их цааз» и «Халха джирум» относятся к кодифицированным формам литературного языка, где вкрапления элементов разговорной речи продиктованы практическими задачами делопроизводства. Синтаксической нормой правовых текстов является преимущественное употребление коротких, «прозрачных» по своему строению предложений, что вызвано общей тенденцией к четкости, доступности и ясности изложения разнообразных правовых ситуаций и положений. Вот несколько характерных примеров из текста «Их цааз» [9] и «Халха джирум» [10] (далее — ИЦ и ХДЖ)¹: *Urgeen bolqula noyad deere žuqlaqu bolbo* (ИЦ 19, 44) «В случае тревоги (= если нападут) необходимо собраться в ставку князя»; *Nayi'i kümün ni qonila'i arikila'i ire-küdün-i öggüsen jaγuma öri ügei bui* (ХДЖ 24, 219) «За подарки, данные приятелю-найджи, приехавшему в гости с бараниной и вином, не следует требовать отдаривания»; *Elči kümüni naliqula yesü ab* (ИЦ 33, 45) «Если кто-то побьет посланца, с того взять девяток скота»; *Činua barıgsan sege-yi niγubasu tabu-bar torγa* (ХДЖ 5, 294) «Если кто скроет тушу животного, задранных волком, то штраф в один пяток скота».

Определенное своеобразие синтаксиса памятников создается эллиптическим характером предложений. В языке обследуемых текстов очень широко используется возможность опускать не только отдельные слова, но и целые словосочетания и синтаксические группы, значение которых восстанавливается из предшествующего контекста и общей обстановки речевого общения: *Јalaa geige qoyor tabutu. Saqalai qoi mori ab* (ИЦ, 118, 49) «Если кто сорвет у женщины кисть на шапке или дернет за косу, взять с него пяток скота. Если кто кому-нибудь выдернет бороду, то взять с него овцу и лошадь». В этих предложениях опущено слово *tasulqula* «если выдернет», смысл которого выясняется из предыдущей ситуации. *Čilaγu modu-bar řančibası nige yesü-tü, tasiγur nidurγu-bar řančibası tabudu bui* (ХДЖ, 17, 274) «Если кто ударит простолюдина камнем или палкой — один девяток, если ударит плетью или кулаком — один пяток». Здесь во избежание повтора опущена подлежащая группа слов *eng kümüni ken kümün*, «тот, кто простолюдин», которая легко восстанавливается из более обширного контекста. Еще один пример: *Unıqsanı üküküle berketei bosqo'i ab* (ИЦ 95, 48) «Если при этом погибнет лошадь, то она должна быть возмещена ценной вещью». В этом и последующем предложении опущено развернутое обстоятельство *tüγimer usun qoyortu tısalan gei*, которое являясь общим для всех однородных по составу предложений, представлено в предыдущем предложении: *Tüγimer usun qoyor-tu tısalan ge'i kümün üküküle*. . . (ИЦ 94, 48) «Если человек погибнет, спасая людей во время пожара или из воды...»

Неполнота предложений, невыраженность тех или иных членов, как главных, так и второстепенных, весьма типичны для языка изучаемых правовых памятников. В целом синтаксис текстов «Их цааз» и «Халха джирум» динамичен: он не обременен тяжеловесными конструкциями, лишен длинных периодов, столь характерных для других видов прозаических жанров.

Лексический объем предложений, в том числе и сложных построений, включающих большое количество однородных членов, варьирует в диапазоне от 4 до 85 слов. В частности, статьи законов о краже мелких вещей в тексте обоих памятников состоят из предложений, емкость которых

¹ Примеры приводятся в латинской транслитерации со ссылкой на соответствующую статью закона и страницу источника.

составляет, примерно, 70—80 лексических единиц. Лишь иногда протяженность отдельных предложений превышает указанные цифры, что можно проиллюстрировать следующим примером: *Aduyusu qanaŋu idegsen, morin-u segül oŋtaluyŋsan, aduyusun imlegsen ba ėimkegsen, güyiced tas, bürgüd, em-e kümün-ü jalay-a tasuluyŋsan, qaiayar emegel, dörüge, ėidür, ooli, süke, küŋübċi, süyike, serege, caril, kürġe, aluq-a, örolbi, döŋši, körüge, büse, tarbayar daqu, debel, kürme, bös degel, cuba, köngġil, nekei degel (cuba), ilgen degel, auji, bulyairi, kibes, ükeg, abdar, qobtu, kei boroyan-du uruydayŋsan qonin-u ungyasu, jes, yauli, temür (jabiy-a-iyar kigsen) jabiy-a temür qubin, temürlegsen dombo, qubin (jes, yauli), tuŋulyan (yurban-iyar kigsen) kökür, toryan camca, toryan debisker, dörügütei toryan der-e, güyiced cardamal, cemben debel, qayaly-a, ariyatan-u arasu, eden-i jerge nige yisutu* (ХДЖ 33, 169—170) «За использование в пищу крови лошади, добытую у нее путем вскрытия жил, отрезание конского хвоста, мечение уха и холощение лошади; за кражу крыльев грифа, беркута; за срезание кисточки на шапке у женщин; за кражу узды и седла, стремян, треноги, мотыги, топора, нашейного украшения (*хузубчи*), серег, вил, пеньи, лопаты, молотка, клещей, наковальни, пилы, кушака, дохи из сурка, шубы, куртки (*журмы*), халата, дождевика, одеяла, овчинной шубы, замшевой шубы, безрукавки (*ууджи*), кожи юфтевой (*булгайри*), ковра, шкафчика, сундука, короби для стрел, овечьей шерсти, побывавшей под дождем и ветром, медного, латунного или железного чайника, ведра железного, кувшина или ведра, отделанного железом, медной, латунной или оловянной фляги, шелковой рубахи, шелковой подстилки, шелковой подушки с отделкой, суконной шубы, двери, шкуры хищного зверя и тому подобного — штраф в один пяток (скота)».

Аналогичное по содержанию и объему предложение имеется и в соответствующей статье кодекса законов «Их цааз» (см. ИЦ 178,54). Средняя же длина предложений в текстах памятников колеблется в пределах 15—25 слов. Наиболее распространенными типами простого предложения являются односоставные обобщенно-личные и безличные, которые выступают обычно в качестве главной части сложноподчиненных предложений. Такое явление объясняется тем, что действия, о которых говорится в статьях законов, носят обобщенно-обезличенный характер, поскольку они как декретирующие акты должны распространяться на неопределенное множество лиц.

Специфика обобщенно-личных предложений, представленных в текстах памятников, заключается в том, что их сказуемые ограничены в своем выражении отдельными повелительно-желательными формами, а именно: морфологически «нулевой» формой 2-го л., равной основе, формами 1-го л. на *-ja*, *-je* и *-tuŋai*, *-tügei*: *Setertü mori unuqula mori a'* (ИЦ 27,45) «Если кто сядет верхом на освященную лошадь, то взять с него лошадь» *Kerbe ügeyitei noyon boluyad mal-ni ġayu esg güyideküle albatu-aca ġayun mal güyicegeŋi bariy-a* (ХДЖ 2,126) «Если нойон окажется неимущим и его стадо не насчитывает ста голов, то взыскать недостающий скот с его подданных: *Ĵaryuċi kümün ġaryu yurba buruŋ qayalqula nurtuŋai* (ИЦ 13,53) «Если судья три раза вынесет неправильное решение, то он должен быть отстранен от обязанностей». Следует заметить, что форма консессива на *-tuŋai*, *-tügei*, являясь книжной, в халха-монгольском языке употребляется редко — только в воззваниях и обращениях. В безличных предложениях сказуемое чаще всего выражается причастием буд. времени (со связкой и без нее), именем существительным, субстантивированным числительным и наречием: *Elċi kümün. . . kümün-i mori*

temege abčibasu gedürge qolbuçatai ögekü bui (ХДЖ 19,42) «Если посланец уведет коня или верблюда, то должен вернуть обратно хозяину с придачей»; *Elči jam-dayan kümün-i şoy-iyar jodaqula köl-tü* (ХДЖ, 14,140) «Если посланец побьет из озорства кого-либо в пути, то штраф в один *кул*» (нога, стегно)» *Ete kümünei üsü jalaa tasulqula ye sü* (ИЦ 120,49) «Если кто вырвет волосы у женщины или сорвет у нее кисть на шапке, взять с него девятку скота»; *Ečiçe köböñgee eşi beree surçan nalıqula çai ŋgei* (ИЦ 42,46) «Если побьют отец своего сына или свекровь свою невестку в порядке иравоучения, то вины в этом нет».

Полипредикативные конструкции в текстах памятников не отличаются чрезмерной разветвленностью структурно-смысловых центров, в них отсутствует многоступенчатая зависимость частей, затрудняющая восприятие главного — сути статьи закона. Вот обычный случай последовательного подчинения трехчастной полипредикативной конструкции, в которой первую позицию занимает причастный оборот, вторую — деепричастный, третью — главное предложение: *Dayisun ayıl talaıi adou köeıi yabuçanı ken kümün aldouqula ed mali qaçaslaya* (ИЦ 21,44) «Тому, кто отобьет у противника награбленное ич в аилах имущество и угоняемый табун лошадей, дать половину имущества и скота».

В сфере синтаксиса изучаемых текстов превалируют подчинительные (гипотактические) отношения, особенно условно-следственные, которые во многом определяют тип построения памятников, их синтаксический рисунок. Именно конструкция, более или менее осложненная и распространенная, с отчетливо выраженным значением условия, является «классической формой выражения статьи закона» [11]. Формулировка ее должна обязательно включать как минимум две части: обозначение той или иной жизненной ситуации и обозначение вытекающего из нее правового предписания [12]. При этом универсальным средством субординации компонентов полипредикативной конструкции выступают такие неличные формы глагола, как деепричастия на *-basu*, *-besü* и *-qula*, *-küle*, которые формируют условный оборот, несущий основную информативную нагрузку. Исключительно важная роль оборота в составе синтаксической конструкции подчеркивается и тем, что он имеет свой субъект, который нередко является общим и для главного предложения и который бывает оформлен не в вин., а в им. падеже: *Mongğol oyiradtu dayisun irebesü...* (ИЦ 7,44) «Если враги нападут на Монголию и Ойратию...»; *Ulayači ulaya-ban qulayai kibesü...* (ХДЖ 10,136) «Если ящик украдет для себя подводу...» Деепричастия на *-basu*, *-besü* и *-qula*, *-küle* в современном монгольском языке отсутствуют. Ср. калм. форму на *-вас*, *-вэс*. Условное деепричастие на *-basu*, *-besü* преобладает в «Халха джируме», а в «Их цааз» оно встречается только в первых 10 статьях. Для монголо-ойратского уложения характерно употребление оборотов с деепричастием на *-qula*, *-küle*. Примечательно и то, что в ойратском тексте имеют место случаи, когда значение условия передается перфектным претеритом на *-ba*², а также архаической формой причастия будущего времени на *-qun*, *-kun* с показателем местного падежа *-a*: *Asaraltai bayitala ese asaraba gem* (ИЦ 4,52) «Если он был в состоянии прокормить бедных, но не прокормил, то вина его»; *Otogiyın aqalaqčini ese jakıba gem otogiyın agalaqčidu boltuçai* (ИЦ 2,52) «Если староста отока не наказывал поступать так, то вина ложится на него»; *Kerbe kümün bederge qudaldajı abquna...* «Если

² Подобное явление обнаруживается в Гэсэрпаде, на что указывал Г. Д. Саянцев [13].

кто-то берет что-либо в порядке взятки...»; *Nuuŋi oŋi qudalduquna qolboa-toi ab* (ИЦ 5,53) «А кто совершит подкуп тайно, с него взять штраф в двойном размере». Форма будущего причастия на *-qun, -kun* активно употребляется в «Сокровенном сказании», однако не в обстоятельственной функции, а в атрибутивной и предикативной [3, с. 112—114]. В «Халха джируме» зафиксирован всего лишь один случай употребления данной формы, которая в отличие от ойратской выступает с аффиксом дательного падежа *-du*: *Gaqča qulaŋaiči-yin jala qorin boda-ača ɣargun-du tabu* (ХДЖ 18,159) «Если штраф в двадцать бодо причитается с одного вора, то выделить из них на судебные издержки пяток».

В текстах рассматриваемых памятников сочинительные и подчинительные отношения нередко выражаются с помощью союзных средств. Из сочинительных союзов наибольшей продуктивностью отмечен союз *ba* «и», соединяющий однородные члены предложения: *Ede mal-i-inu abubasu ba jančibasu...* (ХДЖ 31,223) «А если кто нападет и отберет его имущество...»; *Noyian ba töröl-anu joliŋu abqu bolbasu* (ХДЖ 7,191). «Если нойон и родственники пожелают выкупить...». Из других сочинительных союзов в текстах обоих памятников встречаются *boluɣad, kiged* «и», *ese bögesü* (*ese bögesü*), *ese geküle* «или же, иначе, в противном случае»: *Jüngken boluɣad qayan beye-ber qamıɣ-a ögede bolqula...* (ХДЖ 7,132) «В случае поездки ханши-джүнкэн и хана, куда бы они ни следовали...»; *Ariyun šašin kiged amitan-u tusa-yi... üyiledetün* (ХДЖ 1,187) «Творите благо во имя святой веры и живых существ»; *Jüg mör oruulqula ayiliyin aqayini šaqa ese bögesü qulaqai kegsen kümüni čaafilaqu bolbo* (ИЦ 101,48) «Если известно направление следа, то привести к присяге старосту айла или же наказать вора»; *Qara beye bögesü abči jabuɣči kümün noyon sayid-ɣayan tušiyaŋi ömči ög ese geküle kögeŋi orki* (ХДЖ 2,237) «Если это одинокий человек, то приютивший, сообщив нойонам и сайтам, пусть наделит его собственностью или прогонит прочь».

В подчинительных конструкциях довольно частым является союз *kerbe*, который ставится в начале условного оборота и чаще встречается в «Халха джирум», чем в «Их цааз»: *Kerbe ɣarču odqu bogesü über-iyen oloqsan tatalɣa ügei* (ХДЖ 13,252) «Если пожелает уйти, то может забрать все лично заработанное без обложения»; *Kerbe sonosıi bayıŋi ese keleküle uridu čaafiyin yosoor boltuɣai* (ИЦ 20,44) «Если кто, зная об этом, не известит, наказывать по предыдущей статье уложения». Несколько реже употребляется условный союз *bögesü* «если», замыкающий оборот: *Ögli-geyin eŋen-ü buruɣu bögesü...* (ХДЖ 15,254). «Если же будет виноват милостынедатель...». Значительное место занимают в текстах полипредикативные структуры с местоименными союзными словами соотносительного типа: *kedüi...tödüi* «сколько... столько», *ken... tegün-eče* «кто... с того (у того)», *jaɣu... tegün-iyen* «что... то», *jaɣuma-bar... tegüber* «чем... тем» и др.: *Kürgeŋi ireküle k ed ü n saadaɣ bögesü tödüi köl möriyini ab* (ИЦ 166,51) «Тому, кто приведет беглых к своему князю, дать столько лошадей, сколько было у них колчанов»; *Naaduqsanaasa ulam kümün üküküle kedüi bolqula tödüi köl mori ab* (ИЦ 125,49) «Если во время игр убьют человека, то взять столько лошадей, сколько было участников в игре»; *Ebečin kümüni emneŋi edegeküle yon amalagsan bolqula tödüi ög* (ИЦ 147,50) «Тому, кто вылечит больного, следует дать то, что было обещано»; *Ken kümün elči-dü ariki ögküle tegün-eče šiduleng qoni ab* (ХДЖ 22,143) «Если кто даст посланцу вина (араки), то взять с того барана-трехлетку»; *Tüšigülegči kümün jaɣu ögügen bolqula tegün-iyen abqu* (ХДЖ 1,236) «Покровитель берет обратно то, что давал беглому»; *Urida qamıɣa-ača iregsen*

bögesu tere жүг-тү ану қарыул (ХДЖ 17,255) «Вернуть его туда, откуда он прибыл»; *Ariyun kümün -i jambar jaγuma-bar güjirleküle tegüber torγaγu bui* (ХДЖ 30,167) «Если кто-то наведет поклеп на невинного человека, то взыскать с него те вещи, которыми он опорочил невинного».

Несколько замечаний относительно линейных отношений членов предложения в анализируемых текстах. В целом словопорядок является здесь обычным, однако некоторые факты нуждаются в пояснении. Так, например, лично-местоименное подлежащее встречается после сказуемого: *Oündü ese keled qoyino eyimi teyimi belei ge'i keleküle uurlaγu bi* (ИЦ 8,53) «Если кто, не сказав теперь, будет говорить впоследствии, что „было бы лучше так и эдак“, то я буду очень сердиться». В бурятском и калмыцком языках такого рода подлежащие превратились в лично-предикативные частицы. Следует также сказать, что подлежащие не сопровождаются какими-либо специальными показателями. Вообще употребление модальных слов, частиц, сказуемостных связок избегается ввиду того, что они нарушают строгость и лаконизм изложения законов. Исключение составляет логическая частица *čigi*: *Mal-un e'en kedüi olan čigi bolba* (ХДЖ 21,161) «Как бы ни многочисленны были хозяева скота».

Глагольное сказуемое, выраженное повелительно-желательными формами, встречается в неконечной позиции: *Jaryatu kümün γurbanta ke-le'i sayin gerčitei odii kele, ese bolgula moriyini abči ire elčitei* (ИЦ 180,51) «Истец должен трижды известить и затем с хорошими свидетелями прибыть в суд и заявить. Если ответчик не явится, то послать за ним и привести его лошадь вместе с посланцем». *Erte-eese quraagsan sayin buyani... erel küsel ögün ilγatuγai oroi deere* (ИЦ 18,53) «Удовлетворяя просьбы и пожелания, ниспослы издревле собранные в тебе добродетели на нас» (букв. «на наши головы»).

С целью логического и смыслового выделения косвенное дополнение может находиться в непосредственной близости от сказуемого, тогда как прямое дополнение сознательно отдаляется от него: *Jil büri döčini dörbön ger köböündü abči ögtügei* (ИЦ 59,47) «Ежегодно из сорока кибиток четыре должны женить своих сыновей». Видимо, по этой же причине определение и определительные группы слов иногда выносятся за свои определяемые. Как известно, постпозитивное положение определения характеризует язык монгольских и ойратских переводов, где оно представляет собой кальку с тибетского [6, с. 14]. В тексте «Халха джирум» мы столкнулись с интересным примером постпозиции определительных сочетаний: *Qan kümün-i ükin abay-yi qaraču kümün süyilekü bögesü čaγan teme mönggün buyilatai mori bulγan molčogtai, mönggun ayay-a ariki-bar dügürgegsen... eden-iy er süyilegsen-i süi-dür toγačamui* (ХДЖ 15,215) «Если простолюдин пожелает вступить в брак с княжной, дочерью человека ханского звания, то признать помолвку, если он принесет в дар белого верблюда с серебряным кляпом в носу, белого коня с собольим подшейником, серебряную чашу, полную вина». В этом предложении определительные сочетания *mönggün buyilatai* и *bulγan molčogtai* следуют за своими определяемыми *teme* и *mori*, а причастное определение *ariki-bar dügürgegsen* — за определяемым *ayay-a*. Постпозиция определительных сочетаний в данном случае объясняется, на наш взгляд, не только их семантической актуализацией посредством логического ударения, но и тем, что все определяемые здесь уже имеют перед собой определения *čaγan* и *mönggün*, обозначающие самые существенные признаки перечисляемых предметов. Все указанные выше перемещения членов предложения характерны для устной речи носителей монгольских языков.

Таким образом, предварительный анализ памятников монгольского феодального права XVII — XVIII вв., какими являются «Их цааз» и «Халха джирум», показывает, что в их синтаксическом строе выделяются две группы явлений. Одна из них сближает язык юридических текстов с народно-разговорной стихией, а другая — разъединяет и противопоставляет их, свидетельствуя о каноническом, устоявшемся характере официально-делового стиля и литературных нормах старописьменного языка халха-монголов и ойратов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Street J. The language of the secret history of the Mongols. New Haven. 1957.
2. Doerfer G. Beiträge zur Syntax der Sprache der Geheimen Geschichte der Mongolen // Central Asiatic journal. 1955. V. 1. Nr. 4.
3. Орловская М. Н. Употребление причастий в «Сокровенном сказании» монголов // Филология и история монгольских народов. М., 1958.
4. Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Историко-лингвистическое исследование. Улан-Удэ, 1972.
5. Орловская М. Н. Язык «Алтан тобчи». М., 1984.
6. Яхонтова Н. С. Ойратский литературный язык XVII века (по материалам «Сутры золотого блеска»): Автореф. дис... канд. филол. наук, Л., 1983.
7. Шагдаров Л. Д. «Халха джирум» как образец документально-делового стиля старописьменного языка монголов // Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал. 2-р. боть. Улаанбаатар, 1977.
8. Пюрбеев Г. Ц. «Их цааз» и «Халха джирум» как источники исторической фразеологии монгольских языков // Всесоюзная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Б. Я. Владимирцова: Тез. докл. М., 1984.
9. Их цааз (Великое уложение). Памятник монгольского феодального права XVII в. Ойратский текст/Транслитерация сводного текста, перевод, введение и комментарии С. Д. Дылыкова. М., 1981.
10. Халха джирум. Памятник монгольского феодального права/Сводный текст и перевод Ц. Ж. Жамцарано. Подготовка текста к изданию, редакция перевода, введение и комментарии С. Д. Дылыкова. М., 1965.
11. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 296.
12. Десницкая А. В. О синтаксических особенностях кодекса обычного права северноалбанских горцев («Капун Леки Дукаджина») // Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования. (На материале индоевропейских языков). М., 1982. С. 187.
13. Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. М., 1963. С. 242.

АЛВРЕ П. Ю.

О СИНТЕТИЧЕСКОМ ЭКВАТИВЕ

В описательных грамматиках индоевропейских, тюркских, иберийско-кавказских, финно-угорских и множества других языков мы обычно не находим понятия экватива [1]. Если под этим термином понимать обыкновенные сравнительные обороты со значением равной степени качества ([1—5]; см. также [6, 7]) (некоторое качество присуще компаранту и компаратору в равной степени), то описательно эти обороты могут быть образованы средствами любого языка. Однако аналитические или перифрастические конструкции [*такой же черный, как...*, нем. *(eben)so schwarz wie...*, англ. *as black as...*, швед. *like svart som...*, франц. *aussi noir que...*, эст. *nii-sama must kui...*, фин. *yhtä musta kuin...*] в грамматиках традиционно не трактуются в качестве четвертой степени сравнения (*gradus paritatis*), хотя формы компаратива и суперлатива в принципе также могут быть образованы аналитически (*более...*, *самый...*, англ. *more...*, *most...*, лат. *magis...*, *maxime...* и др.). Что касается традиционно принимаемых степеней сравнения (положительная, сравнительная и превосходная степени), то и по этому вопросу у исследователей нет полного единства. В частности, проблематично причисление к ним особой положительной степени, как формы, обозначающей лишь некоторое качество и ни в коей мере не указывающей на его количественную сторону, что свойственно эквативу, компаративу и суперлативу [8, 9].

Функционирование экватива как синтетического образования присуще только немногим языкам мира. Естественно, он встречается в языках с более или менее отчетливыми синтетическими тенденциями в морфологическом типе (и, по-видимому, как правило, — относительно позднего образования). Так, среди индоевропейских языков он имеется в кельтской группе [10, с. 118—119; 11, 12]. В ирландском языке равенство качества выражается посредством суф. *-ithir*, *-idir*, например, *léirithir* «такой же усердный» (ср. *léir* «усердный»), *méithir* «такой же большой» (ср. *méit* «величина»), *demnithir* «такой же надежный» (ср. *demn* «надежный»), *lethidir* «такой же обширный» (ср. *leth* «сторона»); ср.-ирл. *sia-thir* «такой же длинный», *tresi-thir* «такой же твердый», *remi-thir* «такой же толстый», *móirithir* «такой же большой». В валлийском языке эквативная форма образуется с помощью преф. *cyn-*, присоединяемого к абстрактному имени существительному, например: ср.-валл. *kyn duhet ar muchud* «такой же черный, как уголь», совр. валлийское *cyn llted* «такой же широкий» (ср. ирл. *com-lethet* «такая же ширина»), *cyn hawsed* «такой же легкий», *cyn hyned* «такой же старый». Наряду с эквативными прилагательными кельтских языков заслуживают особого внимания именно абстрактные имена существительные на *-het*: эти образования имеют типологически сходные соответствия и в прибалтийско-финских языках (см. об этом ниже). Эквативные прилагательные в общем чужды финно-угорским языкам, исключение составляют саамский и прибалтийско-финские языки, ср. саам.

äl'bma ällusäs gæd'ge, фин. *miehen korkuinen kivi* «камень величиной с человека». В мордовских языках сравнительный падеж на *-шка* обозначает подобие предметов лишь на основе их общего качества; ср. эрзян. *Кудось строясь пандошка* «Дом был построен с гору величиной» (*пандо* «гора») [13, 14]. В некоторых венгерских диалектах (приблизительная) равная мера признака может быть выражена синтетическим способом: при помощи адъективного суф. *-nyi* (восходит к устарелому падежному афф. *-ni*), например: *arasznyi* «длиною в пядь» (ср. *arasz* «пядь»), *tenyérfnyi hely* «место (величиной) с ладонь» (ср. *tenyér* «ладонь») [15]. Венгерский способ ближе к прибалтийскому и кельтскому, чем мордовский, поскольку мордовское образование входит в систему падежей существительных. Примеры экзотического экватива можно ограниченно найти также в картвельских языках, где он тоже позднего, но не вполне ясного происхождения. Так, в мегрельском уравнительная степень образуется посредством *ma...-a*, например: *ma-did-a* «такой же большой» (ср. *did-i* «большой»), *oxoriši ma-dida tunti* «медведь величней с дом» (ср.: *tunti* «медведь», *oxoriši* «дома», род. п.) [1, IV, с. 67].

Основной целью настоящей статьи является обзор синтетических эквативных образований, встречающихся в прибалтийско-финских языках. Отдельные формы экватива рассматривались в работах Л. Пости, Г. Муста, Х. Хакулинен, О. Лазара, М. Эрельта, М. Пунтили и др. [16, с. 98 и сл.; 17; 18, с. 121 и сл.; 19, с. 159; 20; 21, с. 34 и сл.], однако до настоящего времени отсутствует сколько-нибудь полное представление о структуре эквативных образований как в саамском, так и в прибалтийско-финских языках. Эта редкая категория заслуживает серьезного внимания и в аспекте общеграмматической теории.

Эквативные построения в прибалтийско-финских языках по происхождению можно разделить на две большие группы: 1) прилагательные с суффиксом (эст. *-une*, фин. *-uinen*, *-yinen*), 2) употребляемые в функции прилагательного застывшие формы имени качества на *-us* (эст.), *-us*, *-ys*; *-uus*, *-yys* (фин.). Последний тип в зависимости от формы склонения подразделяется на подгруппы, хотя в функциональном употреблении прилагательных также имеются синтаксические варианты.

1. Эквативные прилагательные по происхождению более поздние, чем абстрактные существительные на *-us*, *-üs*, от которых они образованы путем присоединения суффикса (эст. *-ne*, фин. *-inen*) [22].

а) Генитив + прилагательное со значением *величины*, размера. Эстонский яз.: *tütar on ema pikkune* «дочь ростом с маму», *torni kõrgune* «высокой с башню», *raamatu suurune* «величиной с книгу», *kahe meetri sügavune* «глубиной в два метра», *käevarre jämedune* «толщиной с руку», *minu isa vanune* «в возрасте моего отца», *kilomeetri kaugusel* «на расстоянии с километр», *tolli paksune* «толщиной в дюйм», *minu suurune* «с меня ростом». Приведем несколько примеров из словаря Видемана и грамматики Аренса: *rõza-pīma-sõ-june* «lauwarm, von der Wärme der eben gemolkenen Milch», *kämbbla laiune laud* «ein handbreites Brett» [23, 24]. Финский яз.: *sormen pituinen* «длиной с палец», *metrin korkuinen* «высотой с метр», *sadan markan suuruisen* «суммой в сто марок», *paperin paksuinen* «толщиной с бумагу», *kahden metrin laajuinen* «шириной в два метра», *höyhenen kevyinen* «легкий с пушинку», *matrin syvyinen* «глубиной с метр». Карельский яз.: *hübä on pūn šūruhune* «сова величиной с куропатку», *šormen d'ärehüne* «толщиной с палец», *levehüne* «шириной с...». Ижорский яз.: *spit'ckaj kor-Gehukkain oli porttapū* «перила были высотой со спичку», *kulaGan sūrukkain*

«с кулак величиной». Вепсский яз.: *sormen pittuñe jorš* «ерш с палец длиной».

Тип прилагательных на *-une*, *-ünen*, *-yinen* в современных литературных эстонском и финском языках широко употребителен в качестве синтетической эквативной конструкции. В карельском языке он тоже налицо, но по частотности уступает субстантивному типу *hübie on pün šüruš* (или *hübie on pün šurutta*) «сова величиной с куропатку». В вепсском языке он представляется довольно случайным, а в водском и ливском языках в таком виде вообще не встречается. Эквативное прилагательное здесь сочетается с определением в генитиве.

Однако возможны и другие синтаксические конструкции в употреблении эквативных прилагательных, в которых объект сравнения оказывается в комитативе или даже в номинативе как подлежащее предложения. Обе возможности предполагают добавление определительного слова *ühe-* (генитив от эстонского числительного *üks* «один»).

б) Комитатив + прилагательное со значением размера (*ühe-*). Эстонский яз.: *isa on pojaga ühepikkune* «отец с сыном одного роста», *mina olen temaga ühevanune* «я с ним одного возраста». Такую же синтаксическую конструкцию можно образовать с помощью прилагательных со значением размера: *ühesuurune* «одинаковой величины», *ühelaiune* «одинаковой ширины», *ühesügavune* «одинаковой глубины», *ühekõvadune* «одинаковой твердости» и др.

в) Множественное число прилагательного на *ühe-* со значением размера или качества. Эстонский яз.: *isa ja poeg on ühepikkused* «отец и сын одинакового роста», *poisid on üheväledused* «мальчики одинаково проворные», *need leivad on ühevärskused* «эти буханки хлеба одинаково свежие». Вепсский яз.: *ühten pittšed* «одинакового роста». Водский яз.: *ühè sūruizēD*, *kasvò polgē* «одинаковые по росту». Куккусийский диал.: *оллас ко какšoD*, *ühesūrukkaizeD* «они как будто двойняшки, одного роста». Ижорский яз.: *mēZ ja nain on ühej korGehukkaist* «муж и жена одного роста», *si, ar ja veli on ühej sūrukkaist* «брат и сестра одного роста». В ижорском языке и куккусийском диалекте водского эквативные прилагательные в отличие от эстонского и финского языков образуются посредством суф. *-kkainen*. Комитативная конструкция типа *isa on pojaga ühepikkune* «отец с сыном одного роста» употребляется только в эстонском языке.

2. Для выражения значения величины в прибалтийско-финских языках ранее употреблялось субстантивное образование на *-us*, *-üs*. Исключения в отдельных языках обусловлены формой существительного — номинативом, генитивом (?) или партитивом, а также типом согласования со стержневым словом. Прибалтийско-финский тип на *-us*, *-üs* близок не только к валлийскому на *-het*, но и к другим эквативным построениям, образованным на базе (абстрактных) существительных.

а) Примеры, иллюстрирующие употребление номинатива, имеются в старых литературных языках — эстонском и финском, а также в диалектах, но в современных языках этого образования не наблюдается. В других прибалтийско-финских языках оно сохранилось. Эстонский яз.: *Kirbu suurus ja härja raskus* (пословица) «Сам величиной с клопа, а весом с быка», *puu pikkus, pilliroo jämedus* «вышиной с дерево, а толщиной с тростник». *minu vanus mees* «моего возраста мужчина», *käe pitkus ning käe laius* «длиной с руку и шириной с ладонь», *kirp oli kirju koera suurus* «клоп был величиной с пеструю собаку», *õhukene kook, käe paksus* «тоненький с ладошку пирог», *kolme sõrme pikkus* «длиной с три пальца», *käevare jämedus* «толщиной с руку». В южных диалектах эстонского языка обобщились

формы с гортанным смычным типа *koru'*, которые образовались от форм им. падежа мн. числа [16, с. 102], ср. *mu koru* 'с меня ростом'. В словаре Видемана *lumi on aia koru* 'der Schnee ist so hoch wie der Zaun', *wenna sūru* 'so gross wie der Bruder'. Определительное слово *üte* влечет за собой компитив вместо генитива: *minuga üte wanu* 'von meinem Alter'. Финский яз.: *kolmen kuynärän korkeos* «высотой в три локтя», *sormen vahvuus* «крепкий с палец», *tuuman pituus* «длиной с дюйм», *ei teä voate taija olla tuon toisen huvuus* «эта ткань, наверно, не такая хорошая, как та». Для старого финского литературного языка характерно склонение и согласование эквативного существительного, например: *waaxan pituet* «(они) длиной с пядь», *kuynären pitudhella kadhikalla* «дубинкой длиной с локоть». Карельский яз.: *oŕŕa arŕinan levehüŕŕ* «лоб шириной с аршин», *ŕem pivuŕŕ ŕe oli ŕe ŕtarina* «такой длины был этот разговор», *hübie on pün ŕüruz* «сова величиной с куропатку». Эквативное существительное может также склоняться: *endžin panet lühüüt*, *stolan korgohuot* «вначале поставишь короткие, со стол высотой [подпорки]». Ижорский яз.: *kolmen sormen levüZ* «шириной в три пальца». Склонение и согласование эквативного существительного видно в примере *mäni üheksän sülen süvvüüee merree* (плат.) «на девять саженей ушел в глубокое море». Вепсский яз.: *nagriŕŕ seglañ suruŕŕ* «репа величиной с решето», *lapŕŕ vou luŕŕikam pittuz* «ребенок еще только с ложку ростом», *sormetŕ suruŕŕ paläñe ol' lud* «кость была величиной с палец». Ливский яз. (диалект Салатси): *ŕie laps um k'olm ägist un viz küd vans* «этому ребенку три года и пять месяцев». В других ливских диалектах употребляется партитив.

б) Эквативное существительное в партитиве, очевидно, также возводится к прибалтийско-финскому языку-основе. Оно встречается преимущественно в некоторых южноэстонских диалектах, в ливском, водском и карельском языках, хотя здесь могут быть и параллельные формы. Ср. эст. (юго-восточный диалект): *maja kolm süD piutta, kaŕŕŕ süD laitta* «дом в три сажени длиной, в две сажени шириной», *põD verŕt piutta, süli laitta* «поле с версту длиной, с сажень шириной». Такое же употребление партитива встречается в южном диалекте эстонского древнего литературного языка: *ütte wassa piutta, ninck ütte wassa laiutta* «с пядь длиной и с пядь шириной». Ливский яз.: *ta u'm mi'n sürit riŕŕi;G* «он одинакового со мной роста», *kaŕŕŕimä äigast va'nniŕŕ ma vēttiz näiŕŕa* «в возрасте двадцати лет я женился», *lõja sürit* «величиной с пароход», *k'olm ti'edä la'igiti* «шириной в три фута». Водский яз.: *ŕiili on kati suuruutta* «еж величиной с кошку», *paglat õhjaŕŕe' pahutta* «веревки толщиной с вожжю». Карельский яз.: *hübie on pün ŕürutta* «сова величиной с куропатку», в людиковском диалекте *kažin tobdul* «величиной с кошку». Подгруппу эквативных конструкций с партитивом в карельском языке составляют случаи на *ühtä* с компитивом, например: *pelvaŕŕ kagra,ke ühtä korgehutta* «лён одной высоты с овсом», *mägrä koirä,ke ühtä vägövüt't'ä* «барсук равной силы с собакой». *Brako Maña,ke ühtä paksuhutta* «Прасковья с Маней одинаково полные».

в) Историческое наличие генитива предполагается в типе *korkte, kortte* (<**korkiden*), который является довольно распространенным в вепсском языке и в котором следует видеть обобщение таких случаев, как *sain väksan *pitküden kalan* или *sain kalan *väksan pitküden* «поймал рыбу длиной с пядь» [16, с. 105]. Нельзя исключить и вероятный партитив, наличие которого в прибалтийско-финском языке-основе засвидетельствовано вышеприведенными примерами. Ср. вепсск. *luŕŕikam pit't'e* «длиной с ложку», *orden korkte* «высотой с жердь», *ñecen pit't'e, zveŕŕ ž'vatan surtte* «лесной зверь

величиной с корову», *aršinan pit't'e* «с аршин длиной», *peft'in l'evette* «с комнату шириной».

При истолковании этих вепсский форм трудности сводятся к объяснению конечных гласных, вместо которых в случае очевидного партитива должны были бы выступать *-a*, *-ä*. Выясняется, что *-e*, *-e* являются аналогичными формами, перенесенными из других форм экватива. Относительно вепсского языка необходимо иметь в виду то, что во мн. числе употребляется тип прилагательного с гласным *e*. При контаминации конструкций *ñecgn *korkta* «такой вышины» и *ñecgn korkčed* «(они) такой вышины», очевидно и возникает тип *korkte*, напоминающий генитивную форму.

Существительные на *-us*, *-üs*, ставшие в прибалтийско-финских языках основой эквативных построений, являются поздними по происхождению, их нет ни в волжских, ни в пермских, ни в других финно-угорских языках. Исследователи придерживаются единого мнения о том, что суф. *-us*, *-üs* в абстрактных существительных образован посредством стяжения древней лексемы **võte* «год», которая сохранилась в довольно близкой к первоначальной форме в саамском языке, ср. *nuorra-vuotta* (при эст. *noorus*, фин. *nuoruus*) «молодость». Процесс его развития в принципе таков же, как и в других финно-угорских языках, где суффиксы абстрактных слов происходят от существительных с первоначальной темпоральной семантикой (эрз. *ši*, мокш. *ši* «солнце, день», коми *lun* «солнце, день», ливск. *päva* «день», *äiga* «время» и др. [19, с. 311]). Но функция эквативности слов на *-us*, *-us* совершенно иная. Л. Хакулинен даже считал, что она возникла раньше, чем абстрактное значение имени качества [18, с. 121—122]. Однако, как уже убедительно доказал О. Лазар [19, с. 315], разделять такую точку зрения нет достаточных оснований.

По своему происхождению экватив, как в кельтской группе индоевропейских языков, так и прибалтийско-финской группе финно-угорских, является поздней грамматической категорией. Хотя в лексическом субстрате, а также в грамматической структуре этих языковых групп и обнаруживается определенное сходство [25, 26], это тем не менее случайное явление. В типологическом же аспекте совпадение иногда доходит до деталей. Прежде всего это относится к абстрактным существительным (валлийский на *-het* и прибалтийско-финские на *-us*, *-üs*) в их эквативной функции. Типологически сходным оказывается происхождение самих абстрактных существительных: как суф. *-het* (ср. нем. *-heit*), так и *-us*, *-üs* ранее были самостоятельными словами. Однако генезис ирландского эквативного суф. *-ithir* не вполне ясен: его связывают как с индоевропейскими глагольными формами, так и с суф. имени *-tero* (ср. лат. *campes-ter* [10, с. 44]). Адъективный тип синтетического экватива в прибалтийско-финских языках представляет собой дериват абстрактного существительного на *-us*, *üs*.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в аналитических эквативных построениях (особенно в конструкциях со значением меры, величины и т. п.) многие языки используют абстрактные существительные (например, *высотой в три локтя, длиной с четыре пальца*, нем. *von meiner Größe* «ростом с меня» и др.). Возникновение же абстрактных существительных — явление относительно позднее во всех языках, что также подчеркивает «молодость» рассмотренных выше синтетических эквативных образований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Языки народов СССР. Т. I—III. М., 1966; Т. IV. М., 1967; Т. V. Л., 1968.
2. *Азманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
3. *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
4. Dictionnaire de linguistique. P., 1973.
5. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termin. Leipzig, 1975.
6. *Черемисина М. И.* Сравнительные конструкции русского языка. Новосибирск, 1976. С. 43.
7. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983. С. 42.
8. *Jespersen O.* The philosophy of grammar. L., 1968. P. 244.
9. *Raun A.* The equivalents of English «than» in Finno-Ugric // American studies in Uralic linguistics. Indiana university publications. Uralic and Altaic series. V. 1. Bloomington, 1960. P. 150.
10. *Pedersen H.* Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. 2. Bd. Bedeutungslehre (Wortlehre). Göttingen, 1913.
11. *Thurneysen R.* Handbuch der alt-irischen Grammatik, Texte und Wörterbuch. Heidelberg, 1909. S. 224.
12. *Bowen J., Jones T. J.* Welshn. L., 1971. P. 90—93.
13. *Бубрих Д. В.* Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953. С. 60.
14. Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков. Ч. I. Фонетика и морфология. Саранск, 1962. С. 152.
15. *Майтинская К. Е.* Венгерский язык. II. Грамматическое словообразование. М., 1959. С. 74—75.
16. *Posti L.* Mõningaist mõõdu väljendamiseks tarvitatavaist Läänemeresoome vormidest // Eesti Keel. 1937. Nr. 4.
17. *Must G.* Der Äquativ in den ostseefinnischen Sprachen // JSFOu, 1953—1954. 57. S. 1—6.
18. *Hakulinen L.* Über die finnischen Eigenschaftsnamen auf -(u)us/-(y)ys // UAJb. 1959. B. XXXI.
19. *Lazar O.* The formation of abstract nouns in the Uralic languages. Uppsala, 1975.
20. *Эрельт М.* Синтаксис прилагательных эстонского языка: Дис...докт. филол. наук. Таллин, 1980. С. 299.
21. *Puntila M.* Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen. Helsinki, 1985.
22. *Hakulinen L.* Suomen kielen rakenne ja kehitys. Kolmas, korjattu ja lisätty painos. Keuruu, 1968. S. 154.
23. *Wiedemann F. J.* Estnisch-deutsches Wörterbuch. Vierter unveränderter Druck nach der von Jakob Hurt redigierten Auflage. Tallinn, 1973. S. 984.
24. *Ahrens E.* Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialekts. Zweiter Theil: Satzlehre. Reval, 1853. S. 19.
25. *Lewy E.* Kleine Schriften. Berlin, 1961. S. 408—409.
26. *Серебренников Б. А.* Некоторые вопросы истории кельтских языков // Кельты и кельтские языки. М., 1974. С. 80—83.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Атлас української мови: В трьох томах. Том перший. Полісся, середня наддніпрянина і суміжні землі/Редакційна колегія: Закревська Я. В., Залеський А. М., Марчук Н. Й., (секретар), Матвійас І. Г. (голова), Назарова Т. В., Прилипка Н. П. Ред. тому Матвійас І. Г. Київ: Наукова думка. 1984.

Выход в свет первого тома Атласа украинского языка (АУМ) — важное событие в области не только украинской, но и — шире — восточнославянской диалектологии. Положено начало публикации многолетнего труда украинских диалектологов и одновременно открылась еще одна страница в лингвогеографическом изучении восточнославянских диалектов. Вспомним, что в 1957 г. был опубликован «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (под ред. Р. И. Аванесова), а в 1963 году — «Диялекталагічны атлас беларускай мовы» (под ред. Р. І. Аванесова, К. К. Крапівы и Ю. Ф. Мацкевіч). В 1986 г. вышел в свет «Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. 1. Фонетика» (под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей). Можно думать, что к концу текущей пятилетки закончится публикация и украинского и русского атласов, и тем самым вся восточнославянская языковая область предстанет на картах национальных лингвистических атласов. Рецензируемый атлас естественно рассматривать в контексте названных работ, так как все они представляют собой в научном плане как бы звенья одной цепи, являясь претворением в жизнь на материале трех восточнославянских языков принципов советской лингвистической географии.

Как ясно из названия I тома, деление АУМ на тома определяется территориальным принципом: во II и III томах будет представлена остальная территория (соответственно восток и юг). III том будет, кроме того, содержать комплексные карты, охватывающие всю территорию Украины и отражающие наиболее важные диалектные различия.

В первом томе, помимо основного корпуса карт, посвященных языковым явлениям, помещены материалы, относящиеся к атласу в целом: вспомогательные карты, основная часть которых содержит информацию внелингвистического характера (политико-административную, природно-экономическую и историческую, карта

говоров украинского языка, а также обширное введение, содержащее все необходимые сведения об АУМ.

Во введении (авторы разных его разделов И. Г. Матвійас, Т. В. Назарова, И. А. Варченко) много места уделено истории создания атласа. Она освещается на фоне более ранних опытов лингвогеографического изучения украинских диалектов, начиная с известной работы Михальчука (1877 г.), в которой впервые было установлено их деление на три наречия. Претерпев более чем за 100 лет развития украинской диалектологии естественные изменения и уточнения, эти три наречия фигурируют и на публикуемой в АУМ карте говоров украинского языка, которую правомерно рассматривать как синтез многолетних усилий многих украинских ученых. Из них названы труды П. Бузука (1928 г.), И. Панькевича (1938 г.), а также многие работы по говорам западной Украины и украинским говорам на территории Польши. В ряду этих работ следовало бы упомянуть книгу В. Ганцова [1]. Выдвинутые автором аргументы за выделение не трех, а двух наречий украинского языка могут быть заново оценены в свете данных, содержащихся в АУМ.

Очень важно, что во введении дается принципиальная оценка программы, по которой был собран материал для АУМ. Составленная в свое время под редакцией Б. А. Ларина, она отличается от программы атласов русского и белорусского языков своей слабой ориентированностью на отражение системы языка. Формулировки вопросов нацелены не на изучение диалектных явлений в определенных позициях, а в основном на фиксацию отдельных слов (или словоформ) с тем или иным фонетическим или морфологическим признаком.

Эти недостатки программы, проецируясь на карты атласа, могли бы обусловить их несистемный, «атомарный» характер. Этого, к счастью, не произошло. Авторы АУМ проделали огромную работу, мобилизовав для отражения каждого языкового явления весь материал, содержащийся в записях по всем разделам про-

граммы, что и дало положительные результаты.

В изложении теоретических основ картографирования, которые, как подчеркивается во введении, в своих определяющих чертах являются общими и для атласов других восточнославянских языков — русского¹ и белорусского, — делается упор на черты своеобразия в трактовке некоторых лингвогеографических понятий. Так, во введении излагается своеобразное понимание лингвистического ареала как особой двусторонней единицы, в связи с чем частично перестраивается и терминология. Диалектные тождества и различия, отраженные на картах, переименовываются в ареальные тождества и различия. Можно было бы поспорить о целесообразности и правомерности объединения в одну единицу таких в принципе различных феноменов действительности, как реальный факт языка и характер его распространения, если бы эти построения влияли на подход к картографированию. Практически же карты АУМ строятся с учетом традиционного понимания структуры диалектных различий (см. [2]). А ареалы языковых явлений или их отдельных признаков, являясь искомым, наглядно предстают на картах и, в свою очередь, легко поддаются классификации по различным критериям, но уже релевантным для пространственного аспекта их изучения.

На пути системного отражения языковых фактов авторы видели свою задачу «в расширении возможностей лингвистического картографирования и отражения языковых явлений как взаимосвязанных элементов языковых структур» (с. 10), стремились «частично обогатить объект картографирования и усилить информативные возможности карты» (с. 10). Этим целям в немалой степени служит детально разработанная в АУМ система знаков. По сравнению с русским региональным атласом территории к востоку от Москвы и белорусским атласом в АУМ значительно расширен арсенал графических средств. Это не только значки, но также и штриховки, фоны, изоглоссы. Все эти средства могут быть употреблены на одной карте для выделения «разных уровней карты». В употреблении разных знаков последовательно соблюдается иерархия. «Основной уровень», который определяет и название карты и ее место в атласе, показан всегда значками в определенной их последовательности. На многоцветных картах закреплена и последовательность цветов, из которых первый —

красный — всегда означает вариант, свойственный литературному языку. Такому выделению литературного варианта в АУМ придается принципиальное значение, поскольку авторы стремились к «четкой соотнесенности территориального и внетерриториального планов функционирования языка» (с. 12). Остальные средства — штриховки, фоны, изоглоссы — употребляются для отражения «дополнительных уровней карты», сопровождающих основной.

Стройная система знаков, составляющая богатый «язык карт», безусловно, является сильной стороной АУМ. Привыкая к этому языку, начинаешь легко считывать с карт заложенную в них разнообразную информацию, которая с разных сторон характеризует языковой объект. Однако всякое абсолютно последовательно проводимое правило оказывается в чем-то стесняющим. И в этом случае красный цвет, неукоснительно обозначающий «литературный вариант», на тех картах, где он распространен почти повсеместно (а их достаточно много, так как этот вариант часто имеет тенденцию к распространению), зрительно «забивает» специфически диалектные варианты. Признавая целесообразность экспликации литературного варианта, не следует, как нам кажется, ради этого жертвовать выразительностью карты в целом. Лучше, вероятно, было бы систематически выделять его не на карте, а в легенде.

В АУМ 147 карт фонетических, 13 карт на ударение, 113 морфологических, 8 синтаксических и 69 лексических.

Установка авторов АУМ на показ диалектных фактов как элементов системы языка не осталась простой декларацией. Основные диалектные различия удалось отразить на обширном материале в существенных для их реализации позициях и создать карты, хорошо стыкующиеся с соответствующими картами атласов русского и белорусского языков. Кроме того, в АУМ имеются прекрасные обобщающие карты типологического характера, посвященные системам вокализма (карты № 1, 2) и категории твердости — мягкости согласных (карты № 89, 90). Их четкость и выразительность свидетельствуют об умении представлять сложные языковые объекты простыми и экономными средствами с выделением в их структуре определяющих в типологическом смысле признаков. Карты такой степени абстракции, к сожалению, отсутствуют в русском и белорусском атласах, хотя характер материала, собранного для этих атласов, лучше обеспечивал возможность их построения.

И все же «специфика собранного мате-

¹ Здесь неоднократно упоминается монография [2] под ред. Р. И. Аванесова, являющаяся изложением опыта русских лингвогеографов.

риала, — как говорится во введении, — толкала на показ отдельных слов как звуковых структур» (с. 12). Такие карты среди фонетических и морфологических преобладают и имеют своеобразное, как бы комплексное построение. В них кроме диалектного различия, соответствующего названию карты и выдвинутого на «основной уровень», находят отражение все языковые признаки (из числа варьирующихся по говорам), которые содержатся в звуковой оболочке слова (словоформы). Таким образом, эти карты обладают многоаспектной, иногда совершенно неожиданной информативностью.

В связи с таким построением карт в структуре АУМ границы между уровнями языка (а также и между их внутренним членением) оказываются как бы размытыми. Не случайно, что и в оглавлении они формально не выражены. Так, в качестве «дополнительных уровней» на фонетических картах, посвященных вокализму, мы находим консонантные различия, на картах по морфологии — фонетические и словообразовательные, на тех и других — лексические; на лексических картах также отражена фонетика, причем не только нерегулярная, т. е. связанная именно с данным словом.

Такой подход к картографированию нельзя поставить в упрек, так как при этом все темы на каждой карте прекрасно графически разграничиваются, а богатство представленной на карте разносторонней информации делает их как бы стереоскопическими. Плохо лишь то, что читатель, интересующийся каким-либо конкретным явлением (в первую очередь это относится к фонетике), не может по оглавлению найти все относящиеся к нему материалы. Значительно облегчило бы этот поиск в каждом отдельном случае наличие соответствующих отсылок в комментариях к той карте, где явление представлено на «основном уровне».

Кстати о комментариях к картам отдельных языковых явлений. Их стиль предельно скупой и техничный. Они содержат совершенно конкретную, четко организованную информацию: о соответствующем данной карте вопросе программы, об особенностях транскрипции, о вариантах, объединенных при картографировании и т. п. Общие пояснения к теме карты даются крайне редко. В то же время их отсутствие в части случаев ощущается остро. Содержательные комментарии нужны в первую очередь для обобщающих карт, где в раскрытии нуждаются сами принципы генерализации, отбор материала. Но и когда карта посвящена отдельному слову или словоформе, то необходимо, если это возможно, пояснить, стоит ли за данным словом

(словоформой) явление (фонетическое, морфологическое) или же это слово представляет собой раритет и имеет собственную судьбу.

Очень ценно, что комментарий завершается указанием на идентичные карты, содержащиеся в других славянских диалектологических атласах.

Важный составной элемент атласа — карты изоглосс (автор карт Ф. Т. Жилко). Они явятся в дальнейшем основой для создания новой уточненной группировки украинских говоров. Думается только, что для этих целей их лучше было бы выполнить, применительно к атласу в целом, на сводных картах, которые предполагается поместить в III томе. К тому же в пределах ограниченной территории одного тома не все изоглоссы могут быть правильно оценены. Например, явления, квалифицируемые как отражающие разные ареалы — подольский (карта № 380 — 'поп'ул') и юго-западный (карта № 376 — за'вод'ат во'йки), — на территории I тома имеют почти идентичные изоглоссы. Их территориальная специфика выявляется только за рамками I тома.

Сопредельное положение территории, включенной в I том АУМ, по отношению к территориям распространения русского и белорусского языков позволяет увидеть, как тесно эти языки связаны между собой на всех уровнях. Это проявляется во множестве изоглосс, уходящих с территории Украины на территорию России и Белоруссии. Ср., например, распространение словоформы [і]ржати (карта № 24), глагольных форм наст. времени типа знá, дума (зм. знает, думает — карта № 260), слова молнія (карта № 391) и мн. др. Карты АУМ содержат также много украинских локальных черт, переключаящихся с теми же чертами, известными в разных пределах русского и белорусского языкам. Ср., например, украинские локальные зоны, где как и в части русских говоров употребляются формы инфинитива на -ти (карта № 250), слова ухвát (карта № 290), комарі — «муравьи» (карта № 326), иржіще — «сжатое поле после ржи» (карта № 310). Этот перечень можно продолжить. Еще больше таких переключек с белорусским языком. Эти и многие другие факты, содержащиеся в картах I тома АУМ, подтверждают наличие теснейших взаимосвязей между тремя ближайше родственными восточнославянскими языками, что объясняется длительными общими процессами диалектообразования, пережитыми в пределах единого древнерусского языка, и относительно поздним обособлением этих языков как самостоятельных.

Издание I тома АУМ, предвещающее скорый выход в свет всего атласа украинского языка в целом, делает реальностью

наступление того важного момента в изучении восточнославянского языкового континуума, когда важнейшие явления восточнославянских диалектов можно будет свести воедино и представить на общих лингвистических картах.

Бромай С. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ганцов В. Діалектологічна класифікація українських говорів (3 картаю). Київ, 1923.
2. Вопросы теории лингвистической географии. М., 1968.

Дмитренко С. Н. Фонемы русского языка. Их сочетаемость и функциональная нагрузка/Отв. ред. Иванов В. В. М.: Наука, 1985. 232 с.

Монография С. Н. Дмитренко представляет собой первое в советской русистике описание русских фонем одновременно в аспекте их системных отношений, сочетаемости (с учетом отношения к морфемной структуре словоформы) и функциональной нагрузки в фонологических оппозициях. Ширина охвата проблемы характеризует несомненную новизну и актуальность работы; способ решения ряда вопросов, особенно конкретно описательных, во многом определяет ее новаторский характер. Необычна и структура книги: около 50 страниц текста и около 180 страниц списков, таблиц и указателей, составляющих ее основное содержание.

Основу воззрений автора (см. первую главу «Фонемы современного русского литературного языка. Состав и система фонем», с. 7—35) образует часть концепции Р. И. Аванесова [1] — учение о сильных и слабых фонемах (фонемные ряды и морфофонематическая транскрипция не учитываются). Поэтому мнение автора (с. 7), что ее теоретические положения в целом не выходят за рамки традиционной теории МФШ и теории Р. И. Аванесова, представляется странным: ведь морфемный критерий фонемной атрибуции звуков слабых позиций, составляющий сущность теории МФШ, для С. Н. Дмитренко роли не играет. Сопоставление ее фонологической транскрипции, например, слов *ход* ($хо/т_2/$), *бот* ($бо/т_2/$), *вот* ($во/т_2/$) с фонематической транскрипцией МФШ и морфофонематической транскрипцией Аванесова ($хо/д/$, $бо/т/$, $во/т_2/$) показывает, что транскрипция автора, отражающая суть ее подхода, не имеет соответствия в теории МФШ.

В модель Р. И. Аванесова автор вносит еще два изменения. 1) Гласные *и*, *у* считаются сильными фонемами во всех позициях (с. 10). (По Аванесову, все безударные гласные являются слабыми фонемами.) 2) В состав фонем русского языка вводятся слабые фонемы (с. 24), и в итоге в нем насчитывается 7 гласных (5 сильных + 2 слабых) и 69 согласных

фонем (37 + 32). Слабые фонемы на одном уровне с сильными все же не стоят, так как выступают их модификациями: $/t_2/$ в *код*, $/а/$ в *сома*, $/а/$ в *сама* являются соответственно модификациями $/д/$, $/о/$, $/а/$; $/а/$ в слове *со-* из *собака* — модификацией одновременно $/о/$ и $/а/$ (с. 11). В то же время $/т_2/$ в *крот* модификацией $/т/$ не является [2, с. 71]. Отметим, что модификациями фонем обычно принято считать аллофоны, варианты фонем, а не сами фонемы.

Фонемы (сильные и слабые) реализуются в вариантах. Слабая фонема $/а/$, например, имеет варианты $[\wedge]$ (*пр* $\wedge$ *бы*) и $[и^e]$ (*пр* $и^e$ *бы*) — от *рыбой*. При этом звуковые виды этих словоформ (именно звуковые виды, т. е. звучания, а не фонемный состав!), при тождестве гласных фонем, различаются только фонемами $/р/$ и $/р'/$: *пр* $\wedge$ *бы* — *пр* $а$ *бы* (с. 13—14). На самом деле, как показывает фонетическая запись, их звучания отличаются и согласными звуками $[р]$ и $[р']$ и гласными $[\wedge]$ и $[и^e]$. Получается, что автор, вопреки традиции, связывает квазиомонимию лишь с фонемным составом и игнорирует очевидные различия звукового состава словоформ (см. об этом при анализе третьей главы).

Один из конститутивных признаков слабых фонем $/а/$ и $/а_1/$ — подъем — установлен произвольно. Вариантами фонемы $/а/$ (пелабиализованной, верхне-среднего подъема) выступают высокие гласные $[и^e]$ и $[ы^e]$ и гласный $[\wedge]$, квалифицируемый в [2, с. 26] как гласный среднего-нижнего подъема. Ясно, что верхне-средний подъем $/а/$ не может быть выведен из характеристик подъема этих трех вариантов. Фонема $/а_1/$ (пелабиализованная, средне-нижнего подъема) имеет вариантами гласные среднего подъема $[э]$ и средне-верхнего подъема $[ь]$ [1, с. 117—118], что опять же не дает оснований для приписывания фонеме $/а_1/$ признака средне-нижнего подъема. Реально различием $/а/$ и $/а_1/$ служит лишь степень редукции —

1-я для /α/ и 2-я для /α₁/. Проблема же их признаковой структуры остается неразрешенной¹.

Вообще С. Н. Дмитренко исходит из упрощенной системы вокализма. Так, неполная сводная табл. 3 (с. 25), где не учтено, например, типичное для современного произношения безударное [ы] в абсолютном начале ([ы]тáж) — факт, говорящий в пользу фонематичности /ы/ [3, с. 54]. Отсутствует в ней и безударное о, которое, в качестве сильной фонемы /о/, появляется в табл. 5 при рассмотрении комбинаторики гласных. Думается, что автор недооценивает факт свободного появления безударного [о] в энклитиках и проклитиках в пределах фонетического слова (типа *видит он*), где оно находится в сильных позициях. Вопреки все более распространяющейся точке зрения на господство в современном литературном произношении йканья и йканья [3—5] автор отстает от факта: /т'α₁/мáтика, /ц'α₁/п'янб'й, /д'α₁/п'утáт, /к'α₁/р'ос'и (с. 45), /ф'α₁/в'ер'áль, /т'α₁/с'нота (с. 51), /р'α₁/к'орд'с'мен (с. 52) и т. п.² Что касается полноценного безударного [э] (в таких, например, словах, как *экстравагантный, анданте, канон* и др.), то оно для адекватной передачи нуждается в дополнительных транскрипционных знаках. Записи типа /αα/р'áрий (*аз'áрий*), /αα₁/р'од'р'б'м, кáн/б'е/, пáнт'áб'и (пáнт'еон), м'еж/αα₁/м'ок (*меж'еу'м'ок*) и т. п. (с. 40—41), помимо разнобоя в обозначениях (ср. /е/ в *канон*), подтверждают, что /α/ и /α₁/ передают звучания, не соответствующие набору их признаков.

Система согласных характеризуется отношениями субординации. Одноименные фонемы типа /п/ (сильная), /п₁/, /п₂/, /п₃/ (слабые), будучи в дополнительной дистрибуции, не противопоставляют друг другу: в русском языке нет двух слов, различающихся, скажем, лишь фонемами /п/ и /п₁/. Их неравноправие (см. также выше о слабых фонемах как модифика-

циях сильных) выявляет в них отношении фонемы и варианта (в терминах МФШ) или членов фонемного ряда (в терминах Р. И. Аванесова)³.

Фонологическая концепция С. Н. Дмитренко глубоко оригинальна, но вряд ли убедительна. Она основывается на дофонемном рассмотрении звука (в [2] фонетика предшествует фонологии), которое необходимо ведет к смещению в той или иной степени звука и фонемы, находящему наиболее полное проявление в настоящих утверждениях автора, что звуки (не фонемы!) способны изменяться, превращаясь в другие звуки [2, с. 24—29]: ударные гласные имеют по шесть позиционных разновидностей; [о] может произноситься в безударном положении как [а] или [э]; звонкие шумные в конце оглушаются и пр. В общем «...звуки речи... в речевом потоке... тесно связаны друг с другом и изменяются (разрядка наша. — Б. Л.) в зависимости от качества соседних... звуков, а также в зависимости от места ударения» [2, с. 24]. В действительности звук не может изменяться, не переставая быть самим собою. Способностью модифицироваться, иметь варианты обладают лишь фонемы.

Во второй главе «Сочетаемость фонем в русском языке» (с. 36—118) рассматриваются основные типы сочетаний фонем. Обзор литературы по теме сводится к перечислению около 20 работ. Кардинальное для всей проблемы понятие «сочетание фонем» не определяется. Три раздела главы построены логично. В каждом намечается классификация внутри данного типа сочетаний по характеру 1-го члена; даются списки словоформ, содержащие сочетания данного типа («иллюстративные» списки); приводятся таблицы № 5—19, регистрирующие наличие/отсутствие того или иного конкретного сочетания; сочетания группируются по отношению к морфемной структуре словоформы («морфологические» списки). К этой главе содержательно относится и указатель фонемных сочетаний — (с. 202—216) (в дальнейшем — Указатель). Принцип рассмотрения сочетаемости фонем — установка на выявление возможных и невозможных типов сочетаний, проекция их на морфемную структуру словоформ, а также группировки внутри отдельных типов сочетаний, —

¹ В системе Р. И. Аванесова все пять слабых гласных фонем /α, α₁, α₂, э, е/ имеют один и те же признаки (неабитуализованные, неверхнего подъема), не противопоставленные артикуляторным свойствам их вариантов [1, с. 133].

² В третьей главе, однако, нередко необычные ёкающие обозначения, в которых трудно усмотреть какую-нибудь закономерность: с одной стороны, /с'α₁/д'ётъ (*седеть*) — /с'и/д'ётъ (с. 133), с другой стороны, /м'α₁/т'рб — /с'α₁/т'рб (с. 169), /с'α₁/з'бн — /б'α₁/з'бн (*бизон*) (с. 173), /м'α₁/р'бж — /в'α₁/р'бж (с. 168), /ж'α₁/л'ёт (*жилет*) — /б'α₁/л'ёт (*билет*) (с. 161), /т'α₁/п'ун (*типун*) — /з'α₁/п'ун (с. 150), /с'α₁/г'арка (*сигарка*) — /ц'α₁/г'арка (*цигарка*) (с. 175).

³ С. Н. Дмитренко не учла уточнения, внесенного Р. И. Аванесовым в систему согласных — значка /с₄/ для случаев типа /с₄п'ит₂/, /с₄ж'еч/ [6]. (Индекс 4 указывает на неразличение щелевых по признаку «зубности» и «незубности».) У нее, таким образом, значок /с₃/ в /с₃ш'ить и /с₃п'алить имеет разное фонемное содержание.

Сочетания фонем того или иного типа, воспроизводимые в книге по 4—5 раз, всякий раз численно не совпадают. Вот, например, данные по двучленным консонантным сочетаниям (с. 57—81): табл. 9 (1-й член — сильная фонема) — 253 сочетания, иллюстративный список (с. 58—62) — 248, морфологический список (с. 71—74) — 177; табл. 10 (1-й член — фонема, слабая по твердости—мягкости) — 246 сочетаний, иллюстративный список (с. 63—67) — 249, морфологический список (с. 74—77) — 192; табл. 11 (1-й член — фонема, слабая по звонкости—глухости) — 54 сочетания, иллюстративный список (с. 67—68) — 53, морфологический список (с. 77—78) — 38; табл. 12 (1-й член — фонема, слабая по обилию коррелятивных признакам) — 123 сочетания, иллюстративный список (с. 69—70) — 125, морфологический список — 85. Всего в четырех таблицах 676 сочетаний, в иллюстративных списках — 675, в морфологических — 492. В Указателе приводится 525 сочетаний этого типа. Морфологически охарактеризованными оказываются лишь немногим более 70% сочетаний, несмотря на заверение автора, что «все сочетания рассмотрены в их отношении к морфемной структуре словоформ» (с. 200). Количественный аспект описания вообще нельзя признать удовлетворительным: нет нумерации внутри списков и в Указателе (мы насчитали в нем 1436 сочетаний, причем /п₂к/ наз с. 209 записано дважды). Все таблицы, списки и Указатель не согласованы друг с другом и в этом смысле каждый по-своему неверны, причем неточности исчисляются десятками единиц, т. е. сочетаний. Приведем примеры. Из табл. 5 отсутствуют в Указателе /уи/, /не/, /уё/, /уэ/, /с. 203). В иллюстративном списке к табл. 7 (с. 44—45) отсутствуют /ги/, /хи/, /је/, /не/, /не/, /ре/, /ре/, /је/; в морфологическом списке (с. 45—53) нет 18 совсем других сочетаний. В табл. 9 можно внести /н'б₁/, /јг₁/, /нт₂/, /мт₂/, /рб₁/, /н'т₁/, /нш₂/; в морфологическом списке к таблице и в Указателе нет 58 сочетаний. В табл. 10 есть сочетания /б₁в₁/, /з₁в₁/, /к₁в₁/, /г₁в₁/, о которых сказано (с. 62), что они не зафиксированы в словоформах русского языка; сочетания /х₁т₁/, /д₁т₁/, /б₁ц₁/, /ф₁р₁/, /к₁р₁/ обозначены как не встречающиеся в словоформах, хотя все они есть в иллюстративном списке (с. 63—65); сочетания /м₁г₁/, /м₁х₁/, /н₁т₁/, /р₁ж₁/, /м₁ж₁/ в таблице не попали. В табл. 11 можно включить /п₂б₁/, /с₂к₁/, /п₂д₁/, а в табл. 12 — /т₃ф₁/, /п₃в₁/, /п₃в₁/, /ф₃к₁/, /с₃г₁/, /с₃г₁/.

Как уже отмечалось, в монографии определения понятия «сочетание фонем» нет, однако в ней различаются сочетания фонем и последовательности фонем, не образующие сочетаний, например, /но́/ (с. 47) и /я' по́/ (ср. *больной*). Последнее вообще не упоминается без всяких объяснений. Очень узко понимает автор сочетания «гласная + согласная» (с. 53—56): они усматриваются лишь в слогах, начинающихся с гласной (с. 53), что вынуждает автора использовать весьма необычные примеры типа /о́л'/, /у́п'/, /и́п'/, /éп'₂/ (от *Оля, Уля, Ия, Элла, Эола*), /а́с₂' (а́с₂)₂/, /б́р'₁/, /б́ф'₁/ (от *Ибе*), /и́ф₂'₂/ (от *Ие*) и т. п. (с. 54—55) и считать возможными, по не зафиксированными 35 сочетаний: /ур'₁/, /о́п'₁/, /а́п'₁/, /о́ч'₁/ и др. (с. 54). Очевидно, наличие словоформ *т'у́р'₁*, *б'о́ч'₁/ман*, *п.л'а́п'₁*, *л'о́ч'₁/ный* и пр. не служит доводом в пользу реальности указанных сочетаний. Видимо, /у́р'₁/ в *тур* является просто последовательностью фонем, не создающих сочетания. Однако сколько таких последовательностей в русском языке, каковы их типы и на каких основаниях они выделяются, — об этом в монографии не сказано ни слова.

⁴ В скобках приводится решение С. Н. Дмитренко.

конец корня), *ко/зл'/йный*, *ко/зл'/й* (с. 74, 75 — конец корня), *ле/йтм/отив*, *во/лт'м'/ётр*, *га/н₁т₂б/ба* (с. 103—104 — внутри корня), *ни/с₂кл'/й* (с. 106 — конец корня). Имеются и спорные случаи членения, связанные с тем, что автор часто ориентируется не на морфемную, а на словообразовательную структуру (ср. идущую от А. И. Смирницкого идею несовпадения морфемной членности и словообразовательной мотивированности). В нижеследующих примерах автором во всех случаях постулируется внутрикорневая позиция сочетания: *мо/н₀кль*, *крако/в'а/к* (с. 47), *ча/йх/аня*, *ко/н'к'/й* (с. 72), *буто/н₁й/ёрка*, *сеи/н₁й/я*, *бли/з₁н'/ей* (с. 76), *п₁й/т₂к/а*, *ск₁с/ск'/и* (с. 78), *ф₃с/йе* (*всue*), *ф₃з/бр* (с. 79), *ро/мш₂т/ёкс*, *ше/р₁т₂б/от* (с. 104), *бу/фш₂т/ёкс*, *фла/кш₂т/бк* (с. 106). Требуются дополнения и уточнения в установлении функции того или иного сочетания по отношению к морфеме, например: */д₀/*, */дс₁/* (с. 48, 203) как приставки в */д₀пуск*, */дс₁/ бежать*; */на/*, */на/* и */на₁/* (с. 50—52) как части приставки *над-*: */на/ дпись*, */на/ дписан*, */на₁/ дпиш₁*; не обозначен постфикс *-ся* (с. 49, 203): *поднял/с'а/*, *взял/с'а₁/*; не указано, что */л'й/* и */йв/* (с. 48, 54) входят в состав суффикса *лйв-*: *сует/л'йв/й*.

Третья глава книги (с. 119—199) посвящена функциональной нагрузке фонем в фонологических оппозициях. В теоретическом отделе справедливо отмечено, что свойство фонемы быть смысло-различителем имеет относительный характер: будучи обязательным для фонемы, оно не является обязательным для каждой фонемы в каждой конкретной оппозиции (с. 121). Кратко рассматривается история вопроса о функциональной нагрузке фонем (с. 121—126). Последняя выводится из отношения числа оппозиций в одной-двух парах словоформ (или совсем не представленных в словоформах) к числу оппозиций, представленных более чем двумя парами словоформ. В зависимости от этого различаются функционально нагруженные и ослабленные фонемы, причем функциональная ослабленность фонем не влияет на их фонематичность и на фонологическую систему в целом (с. 127). Однако откуда взяты числа 1—2 (пары), неясно. Почему не 2—3 пары или не 3—4? Эта неопределенность колеблет авторитет процедуры дифференциации фонем по их функциональной нагрузке.

Описательный раздел третьей главы (с. 127—199) состоит из списков квазиомонимов и семи таблиц, отражающих состав оппозиций для каждой фонемы. Таблицы, снабженные скромными пояснениями, в большинстве своем содержат мелкие числовые погрешности. Функцио-

нальная нагрузка гласных (с. 127—133) рассматривается отдельно для сильных и слабых фонем; однако */а/* и */а₁/*, будучи в дополнительной дистрибуции, вступают в оппозиции с сильными фонемами */у/*, */и/*: *б /а/ гор* — *б /у/ гор*. Согласные образуют четыре замкнутые системы оппозиций — сильные фонемы (с. 134—183) и три типа слабых (с. 183—199), известных по описанию сочетаемости. При этом оппозиции «сильная (согласная) фонема — слабая фонема» почему-то выпали из рассмотрения, хотя в русском языке много пар типа *г₁ /л/* — *г₂ /с₂/*, *д₀ /м/* — *д₀ /к₂/* и т. п., представляющих именно этот вид оппозиций.

В списках квазиомонимов, к сожалению, имеются неточные типа */та/ н₁ть* — */т'а/ н₁ть* (с. 157), *в₁ /т'а₁/ (вате)* — *т₁ /т'а₁/ (тая)* — с. 145) и мн. др., различающиеся одной фонемой, но двумя звуками (см. выше анализ слов */раб₁/* — */р'аб₁/*). При более адекватной фонетической записи (например: *[та] н₁ть* — *[т'и] н₁ть*, *в₁ [т'и]* — *т₁ [т'æ]*) усматривать квазиомонимию нет оснований: */та/ н₁ть* — */т'и/ н₁ть*, *в₁ [т'и]* — *т₁ [т'æ]*.

Естественное желание как можно шире представить фонемную сочетаемость и особенно функциональную нагрузку фонем побудило автора прибегнуть к использованию, помимо «обычных» слов, весьма разнородного лексического материала: просторечия (*ф₁йра*, *х₁ря*, *халда* — с. 139, 143, 145); разговорных неологизмов (*неулыба*, *кадрёсса*, *гребчижа* — с. 41, 50, 79); диалектизмов (*нудьг₀*, *сакма* — с. 67, 76); специальной лексики (*реф₁ж*, *в₁шгерд*, *контрреволюционная линия*, *гонт* — с. 42, 77, 111, 157); топонимов (*Сас₁лк*, *Тба* — с. 46, 77); антропонимов (*Холфина*, *Пфальц*, *Ксут*, *Тхиёу* — с. 72, 78, 79, 80); усеченных имен (*Филь*, *Вик*, *Толь*, *Юр*, *Нюр*, *Фок*, *Вальк*, *Верк*, *Эльз* — с. 141, 143, 144, 145, 182, 194); заимствований (*кешью*, *к₁ят* — с. 71, 74); слов, не зафиксированных в словарях (*безв₁жный*, *обкрич₁ться*, *подка₁кнуть*, *шиг*, *колот₁б₁* — с. 94, 98, 160, 163); необычных или даже неправильных форм (*п₁нья*, *дядь*, *башбк*, *дбшка* — с. 76, 140, 143, 146); аббревиатур (*ХИМ*, *ЦИЛ*, *ЦИМ*, *ЦИС*, *ЗИВ*, *ЗИФ*, *ЦИП*, *ЦИТ* — с. 176); непонятных без пояснений слов (*хедйв*, *кекуок*, *эды* — с. 45, 54, 56) и мн. др. К сожалению, автор не указывает источников, откуда черпался материал, кроме явно недостаточных «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1972) и «Орфографического словаря» (М., 1956), и не всегда сопровождает слова пометами (например, *ф₁ря* — с. 66). В итоге знакомство с оппозициями типа *Ка₁ца* — *ца₁ца* (с. 162), *Гог* — *шок*, *Гак* — *б₁к* (с. 165), *Ханд₁* — *ца-*

ной (с. 166), мать — дядь (с. 167), роз — ЦОС (с. 170), Лябка — щупка, Лилька — килька (с. 172) невольно порождает сомнение в полезности подобной презентации функциональной нагрузки фонем.

Монография С. Н. Дмитренко, воплощающая громадный труд автора, интересна своим материалом и методами исследования. Хотя работа не свободна от серьезных недочетов как в области теории, так и в описании материала, внимательный читатель из знакомства с ней сможет извлечь для себя определенную пользу.

Буланин Л. Л.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
2. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
3. Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. Л., 1976.
4. Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
5. Пирогова Н. К. Вокализм современного русского литературного языка (синтагматика и парадигматика). М., 1980.
6. Аванесов Р. И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974. С. 50.

Монгольский лингвистический сборник/Сост. Тодаева Б. Х. М.: Наука, 1985. 156 с.

Сборник представляет первый опыт совместной советско-монгольской публикации в области языкознания. Он включает статьи, посвященные различным проблемам фонетики, истории, морфологии, лексики монгольских и некоторых тюркских языков.

Разнообразные по тематике статьи сборника позволяют читателю ознакомиться с общим уровнем и актуальной проблематикой монгольского языкознания.

В центре внимания многих авторов стоят проблемы истории монгольских языков. Особенно это касается реконструкции общемонгольского состояния и установления характера языковых контактов.

Не менее важными являются проблемы современного состояния монгольских языков. Две статьи сборника, удачно дополняющие друг друга, посвящены вопросам фонетики. Акад. АН МНР Ш. Лувсанвандан рассматривает фонемную структуру монгольского языка, отмечая случаи взаимовлияния фонем, их варианты, а также закономерности сочетания различных фонем («Фонемная структура современного монгольского языка»). Фонологический анализ приводит автора к важной мысли о том, что «вариант одной фонемы в определенной позиции может произноситься одинаково с вариантом другой, но он не превращается в другую фонему. Это доказывает, что позиция фонем играет большую роль, чем звуковые различия. Варианты фонемы *g* — [g], [z] — по своему звучанию противопоставляются друг другу как звонкий смычный — глухой щелевой» (с. 66). В статье И. Д. Бураева «Пози-

ционное употребление согласных в бурятском языке и особенности их сочетаемости между собой» обобщаются факты, полученные в результате машинной обработки словарного состава двух наиболее полных словарей бурятского языка. Автор делает важный вывод о том, что позиционная закреплённость согласных в монгольских языках является наиболее существенным и устойчивым признаком их фонетического строя (с. 20).

В ряде статей обсуждаются вопросы монгольского словообразования. Статья Л. Болда «О некоторых деривационных суффиксах в уйгуро-уряньхайском языке» представляет особый интерес в первую очередь для тюркологов, поскольку работ по уйгуро-уряньхайскому языку практически нет (за исключением кандидатской диссертации того же автора «Особенности уйгуро-уряньхайского языка». Улан-Батор, 1978). В ней отмечается ряд именных и глагольных формантов, встречающихся в монгольских, в уйгуро-уряньхайском и некоторых других тюркских языках Сибири, приводятся данные по числительным, местоимениям, наречиям. В статье Ж. Сэржээ «Морфологическая структура монгольских личных имен» сделана попытка рассмотреть антропонимы в историко-морфологическом плане (с. 115). Примечательно, что имена тибетского и санскритского происхождения не оформляются монгольскими суффиксами, в то время как собственно монгольские личные имена могут быть образованы присоединением различных суффиксов к одной и той же основе.

Г. Ц. Пюрбеев в статье «Об одном типе синонимов в современной монгольской

терминологии» ставит вопрос об отграничении однокоренных синонимов от морфологических вариантов слов. Критерием их различения могут служить частотность употребления, стилистическая предпочтительность в различных контекстах и специализация значений. Исследование однокоренных синонимов актуально не только для терминологии, но и для всех других слоев лексики монгольских языков, где синонимичными отношениями могут охватываться два и более суффиксов. Следует подчеркнуть, что проблема однокоренных синонимов имеет непосредственное отношение к семантической эволюции суффиксов и их многозначности, возникающей на основе взаимодействий корневой и суффиксальной морфем.

В статье З. В. Шверниной «Глагольный суффикс -*чгаа* в современном монгольском языке» рассматривается суф. -*чгаа*, неоднозначно трактуемый разными исследователями. Автор отмечает лексико-семантическую избирательность этого форманта и наличие у него семантического признака мн. числа исполнителей действия, характеризую его грамматическое значение (направленность действия на субъект) как залоговое. Таким образом, суф. -*чгаа* определяется как показатель совокупно-множественного залога, объединяющий в себе два значения — совокупности и множественности (с. 144).

Еще один спорный вопрос современной морфологии затронут в статье Го. Мижиддоржа «Словообразовательные суффиксы в монгольском и маньчжурском языках». При сравнении суффиксов, различающихся по фонемному составу, автор приводит маньчжурские и монгольские показатели мн. числа, тем самым включая их в разряд словообразовательных формантов. И действительно, если в вопросах классификации суффиксальных морфем еще не все ясно и возможны разногласия по поводу отнесения показателей мн. числа к словоизменительным или к словообразующим формантам, то причисление их к словообразовательным суффиксам вряд ли оправдано. Вместе с тем необходимо учитывать и способность суффиксов монгольских языков «переходить» из одного разряда в другой. Существует немало примеров полифункциональности одних и тех же формантов. Среди примеров, приведенных автором, лишь один, да и то частично, может подтверждать выдвинутую точку зрения: маньч. *matari* «деды, предки» от *mat* «дед». Форма мн. числа, очевидно, имеет более обобщенное значение по сравнению с формой ед. числа. Однако и здесь скорее всего наблюдается чисто лексическое явление — семантический сдвиг, а сам суффикс не приобретает словооб-

разовательного значения. Словообразовательное же значение может возникать у показателей мн. числа лишь эпизодически, поэтому их следовало бы отнести к формообразующим суффиксам.

Вопросы сопоставительного изучения монгольских языков с другими языками рассматриваются еще в двух работах. Г. Жамбалсүрэн в статье «Японская деепричастная форма на -*тэ* и ее эквиваленты в монгольском языке» выявляет соответствие японских форм на -*тэ* трем монгольским деепричастным формам — разделительной, соединительной и слитной, а также анализирует ее употребление с предикативными прилагательными, в сочетании с дополнительными служебными элементами, отрицаниями, вопросительными словами, послелогами. Все эти случаи сопоставляются со способами передачи аналогичного содержания в монгольском языке. В статье В. И. Рассадина «Об одной монгольско-тюркской корреспонденции в морфологии» анализируются такие специфические категории слов, как «превербы», т. е. слова, выполняющие функции наречий или своеобразных глагольных приставок. Трактовка их в монгольских языках представляется дискуссионной, а в тюркских до сих пор еще не стала объектом исследования. Примечателен ареал распространения подобных наречных образований, что подчеркивается и самим автором. «Превербы» или префиксоиды встречаются в тюркских языках Сибири, «бытуя в наиболее развитом виде в северных монгольских языках» (с. 97) т. е. в основном в зоне контакта монгольских и тюркских народностей, что приводило к взаимному проникновению этих форм из одних языков в другие.

К работам, отражающим процессы взаимовлияния монгольских и русского языков, относятся статьи Р. Гурбазара «Влияние литературного перевода на развитие лексики современного монгольского языка» и А. А. Дарбеевой «О русско-монгольских языковых контактах». В этих работах рассматриваются разные аспекты одной и той же проблемы — взаимовлияние русского и монгольского языков.

Первая из них, как это видно из самого названия, посвящена в основном проблеме перевода с русского на монгольский. Р. Гурбазар указывает на такие явления, как проникновение в монгольский язык через русский интернационализмов, возникновение калькированных слов и словосочетаний, разработка научной и технической терминологии. Отмечаются также фонетические и морфологические изменения, претерпеваемые заимствованными словами. В статье А. А. Дарбеевой исследуется влияние фонетических норм

родного языка монголоязычных билингвов на их русскую речь. Выделяются два типа двуязычия: контактное, возникающее в условиях постоянного общения с носителями русского языка (у бурят и калмыков), и неконтактное, являющееся результатом специального обучения (у монголов). Материал, использованный автором, хорошо систематизирован как с собственно лингвистической точки зрения, так и в социологическом плане: учитывается возраст и образовательный уровень билингвов.

По своему содержанию к этим статьям примыкает и работа Ц. Б. Цыдендамбаева «О влиянии монгольского письменного языка на язык бурятского фольклора». На примере текста хвалебной оды автор показывает проникновение некоторых монгольских слов в бурятский язык и раскрывает их стилистические функции.

Существенные уточнения внесены в исследование трех монгольских слов в статье Г. Д. Санжеева «Монгольские термины *удха*, *боле* и *булу*». В этой статье привлекает как собственно лингвистический анализ, так и глубокое проникновение в историю монгольских народов, в их быт и мировоззрение, приведших к формированию таких сложных по семантическому содержанию лексем.

В статье Л. Д. Шагдарова «Речевые приемы выразительности бурятских и монгольских пословиц» как древнего жанра устного народного творчества выявляются языковые средства, которые придают пословицам и поговоркам афористичность, образность, яркость и точность.

Серия статей посвящена вопросам истории монгольских языков, что свидетельствует о большом интересе к данному аспекту, в первую очередь со стороны монгольских лингвистов. В этих работах затрагиваются как частные, так и более общие языковые проблемы. В статье чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэва «К расшифровке одного табгаческого слова» исследуется структура и этимология слова *qutaičin* «убийца, палач», которое возводится к монгольской глагольной основе *kidu* «убивать, вырезать». В. Сумьябаатор в статье «О двух монгольских посланиях от 1259 г. к корейскому государю» полностью приводит тексты и переводы этих писем, снабдив их необходимыми комментариями. В статье «Некоторые особенности перевода грамматики Панини на монгольский язык» О. Сухбаатар касается проблем перевода санскритского оригинала на тибетский и монгольский языки. Автор приводит также и русский перевод санскритского текста. Ц. Баярсурэн в статье «Об одном алфавите ясного письма» рассматривает традиционные принципы, положенные в основу новой

письменности, созданной Дзая-пандитой в середине XVII в. В сборнике приводятся восемь факсимильных оттисков одной из рукописных сур. Описанию малоизученного вида письменности посвящена статья Ц. Шагдарсурэна «Об одном памятнике горизонтального квадратного письма», в которой дается транскрипция и транслитерация текста, отражающего некоторые черты разговорного халхаского языка XVII—XVIII вв.

Язык письменных памятников исследует также И. А. Грабарь в работе «О дательном-местном падеже в „Сокровенном сказании монголов“». Анализ частотности употребления суффикса дательного-местного падежа в этом и в некоторых других памятниках монгольской письменности позволил автору нарисовать широкую картину функционирования данного форманта в различных фонетических вариантах. Исследование М. Н. Орловской «Форма на *-гил* в старописьменном монгольском языке» проясняет происхождение так называемого «приготовительного», или «цитатного», дееспричастия, встречающегося исключительно в письменных памятниках. Заслуживает внимания трактовка суф. *-гил* как сложного, в котором элемент *-г* (с временным значением) является тюркским заимствованием, усвоенным монгольским языком одновременно с уйгурской письменностью.

Не оставлены без внимания и такие важные области языка, как диалекты и лексика. Статья Ж. Цолоо «К вопросу классификации диалектов в МНР» затрагивает ряд теоретических и практических вопросов, связанных с изучением особенностей диалектов, говоров и подговоров, бытующих на территории МНР. Чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэв в работе «Санскритизмы в диалектах монгольского языка» проследил пути проникновения санскритской лексики в монгольский письменный язык и в территориальные диалекты и дал классификацию этих заимствований. Ч. Догсурэн в статье «Оронимические термины в современном монгольском языке» ставит своей задачей ввести в научный обиход многочисленные термины, обозначающие виды гор по их очертаниям, названия частей гор и их склонов по сторонам света, по рельефу.

Рецензируемый труд, отражающий актуальную проблематику основных направлений монгольского языкознания, подготовлен учеными Института востоковедения АН СССР и Института языка и литературы АН МНР. Публикация этого сборника, несомненно, будет способствовать развитию плодотворного сотрудничества лингвистов двух стран.

Чарев С. Л.

Материалом рецензируемой книги послужили типологически, а возможно и генетически родственные языки, по традиции именуемые алтайскими. Авторский коллектив из шести человек включает известных и молодых ученых во главе с опытным исследователем и организатором научных изысканий широкого диапазона М. И. Черемисиной. Задача исследования заключается в том, чтобы в сопоставлении со структурой хорошо разработанного сложного предложения в русском языке выявить основные принципы полипредикативного предложения в последовательно агглютинативных языках. Имеется в виду учесть общие закономерности агглютинативного строя в организации сложного предложения.

Нам представляется оправданным рассмотрение полипредикативного предложения как сочетания минимум двух простых предложений или их аналогов (мы бы сказали: двух баз), из которых одно (главное) стоит в независимой форме, а другое осложнено какими-то показателями зависимости между базами. Парадоксально, что вместе с усложнением происходит упрощение, свертывание синтагматической сложности всей зависимой ПЕ (предикативной единицы) и парадигматического многообразия категорий глагола-сказуемого. То, что в русском и английском языках передается союзами и менее дифференцированно инфинитивными и (де)причастными оборотами и комплексами, то, что в английском языке выражается предложно-герундиальными оборотами и комплексами, в алтайских языках находит выражение в падежно-причастных построениях. Это и есть предикативное склонение, в понятиях и терминах которого перед нами предстает полипредикативное предложение. Если русское (несубстантивированное) причастие, склоняясь, выражает только согласование с господствующим определяемым, то склонение предикативных причастий в алтайских языках несет самостоятельную семантическую нагрузку — оно выражает связи в полипредикативном целом. Это и есть склонение предложений, которое свойственно алтайским языкам.

В книге «задействованы» хакасский, алтайский и сильно монголизированный тувинский язык тюркской ветви, бурятский язык монгольской ветви и эвенкийский и маньчжурский языки тунгусо-маньчжурской ветви. Это первое описание полипредикативных построений некоторых из этих языков. Из него

явствует, какое большое значение в функционировании каждого из рассматриваемых языков имеют склоняемые причастия, представленные с большой степенью детализации. Авторы сумели показать все основные специфические черты предикативного склонения в анализируемых языках, например, сохранение тюркского падежа на -*ча* со значением предела и сравнения (с. 136). Система падежей причастия убедительно увязывается с развитием падежей вообще. Удачно выполнены главы о сходстве и различии в употреблении падежей предикативного склонения в алтайских языках. Схемы и таблицы хорошо дополняют основной текст и показывают, насколько глубоко авторы разобрались в существе вопроса.

Совершенно уникален материал по тюркским языкам Сибири, — такого количества примеров еще никому не доводилось собирать. Это позволило исследователям установить, какие из тюркских причастий, в каких языках могут принимать падежи, а какие не могут, а также выявить тончайшие оттенки смысла у близких причастий. Так, в тувинском языке причастие еще не совершившегося действия на -*галак/-гелек* с аффиксом местного падежа передает значение «пока еще не», а в отрицательном варианте -*баалак-та/-бээлек-те* означает, что интервал до осуществления события сокращается еще больше (с. 149).

Выявление сходных тенденций в агглютинирующих языках имеет огромное значение для разработки общего синтаксиса полипредикативного предложения. При широком подходе к проблеме концептуальный аппарат «Предикативного склонения...» может быть успешно использован для описания однофункциональных построений совершенно иного типа.

Работа состоит из предисловия, семи глав и заключения. Кроме общей установки, концепции, первые две (теоретические) главы излагают задачи книги, характеризуют материал исследования, методику его сбора и обработки. Остальные главы посвящаются не отдельным языкам или группам языков, а падежам, так как общее направление работы не в сторону фиксации специфики каждого языка (хотя и в этой области сделано немало), а создания общей теории, на основе которой можно будет подробно изучать сами языки. Материал членится не чисто формально, по падежам, а функционально, т. е. в зависимости от той роли, которую выполняет падеж:

приглагольную, актантную, приглагольную сирконстантную, применную.

В монографии обнаружилось формально-противопоставленные и проходящие по всем языкам, т. е. типологически значимые, подклассы моделей, условно говоря «действительность — действительность» и «действительность — сознание». Первые выражают отношения между событиями объективного характера, например, время, обусловленность. В них «обстоятельные», неуправляемые падежи реализуют собственную семантику, и конструктивным центром модели являются их сочетания с определенными глагольными формами, т. е. наблюдаются закономерные ограничения на выбор временных форм. Эти сочетания часто расценивают в алтаистике как деепричастия. Второй подкласс моделей выражает различного рода взаимодействия человеческого сознания с действительностью: отражение, реакции и т. д. Конструктивный центр модели, управляющий модусный предикат именует некоторое состояние человеческого сознания или его результат, например, оценку, и требует определенной падежной формы у ЗПЕ (зависимой ПЕ), которая пазывает ситуацию действительности. Семантика падежа ЗПЕ в этом случае совсем иная, чем в первом подклассе.

Отметим, что об этом же писал, например, В. В. Мартынов [1]. Значит, идея о наличии этих двух подклассов «носи-лась в воздухе», и к ней с разных сторон и на разном материале подходят исследователи. Конечно, между подклассами нет резкой грани. В каждом подклассе можно выделить типологически близкие под-подклассы, оформляемые типологически сходными средствами. Выявляется четкое противопоставление семантики управляемых падежей.

Аналогично расходятся и неуправляемые падежи. Интересно взаимоотношение значений времени и причины, роль отрицания в ЗПЕ и другие проблемы (о чем ниже), причем некоторые черты характерны для всех шести языков, а другие разделяют или объединяют языки в пары, тройки, четверки в разных сочетаниях. Но при рассмотрении любых частных особенностей языка или группы языков описание всегда ориентируется на общетеоретические выводы. Книга продолжает разработку общей теории падежа, включая ролевой подход.

В главе III аккузатив описывается как падеж, противопоставленный всем другим косвенным падежам. Тут же номинативный строй предложений сопоставляется с эргативным и активным. В этой и последующих главах

падежи причастия связываются с семантическими группами глаголов главной части, так что работа служит одновременно полигоном для разработки семантической классификации глагола. Значение глагола связывается с синтаксическими свойствами, дистрибуцией и частными особенностями ЗПЕ.

В книге читатель найдет сплошное и полное описание условий, в которых возможны ЗПЕ. Основное внимание уделяется не самой единице и ее внутреннему устройству, а той макроединице, в которой она употребляется. При этом учитывается семантико-коммуникативный эффект всего построения, не произошло ли «вырождения» господствующей части в модусный ввод, обслуживающий формально ЗПЕ, т. е. не исчезла ли бипредикативность.

Само понятие «предикативное склонение причастий» было введено Е. И. Убратовой на якутском материале [2, 3]. Авторы рецензируемой книги развили это понятие, трансформировали его, а главное, показали, что оно характерно для синтаксиса полипредикативных предложений всех алтайских языков как по технике оформления, так и по выполняемым функциям, несмотря на различные индивидуально-языковые и групповые отклонения. Глагол образует конструктивную вершину предложения, и в ЗПЕ он обязательно стоит в конце. Принимая падежное окончание, он тем самым указывает на синтаксическую зависимость всей ЗПЕ. Предикативное склонение — это строевое средство введения одной ПЕ в состав другой в качестве актанта или сирконстанта (иногда еще с помощью абстрактного имени, приближающегося к послелогу). При этом происходит предикативная номинализация, т. е. транспозиция предложения в имя.

Известно, что в алтайских языках грань между личными и неличными глаголами не такая четкая, как в хорошо описанных индоевропейских. Многие причастия, оформленные показателями лица и числа, равноценны личному глаголу и могут вводить независимые ПЕ. Но М. И. Черемшина и ее группа четко выделяют объект исследования, поскольку есть несомненные финитные глагольные формы (тюркская на *-ды* и бурятские на *-на* и *-ба*), неспособные употребляться в описываемых построениях, и причастия в исследуемой функции употребляются с маркером какого-либо падежа и с лично-посессивными показателями или их эквивалентами. В алтайском языке исчезает полностью различие между личными и неличными формами глагола, поэтому предикативное склонение маркируется только лишь падежными окон-

чаниями. Это, с точки зрения авторов монографии, предел предикативного склонения и, добавим от себя, наиболее простое и экономное средство выражения взаимоотношения двух ПЕ. Другим плюсом, уже не синтетическим средством, а чисто аналитическим, но таким же простым и экономным, являются адвербиальные союзы *когда, если, так как, хотя*, которые связывают два независимых предложения в одно сложноподчиненное без какой-либо перестройки (по крайней мере, в русском и английском языках).

Очень существенно и то, что в предикативном склонении все структурно-смысловые морфемы: падежные, притяжательные, абстрактные и служебные имена (при зависимом причастии в притяжательном падеже) имеют те же собственные значения и выполняют те же функции, что и в простом предложении.

Противопоставление актантных и сирконстантных функций ЗПЕ, о которых упоминалось выше, влияет на внутреннее строение ЗПЕ и языковую группировку. В сирконстантной функции абсолютные значения времени и модальности имеют тенденцию переходить в относительные. В тюркских языках по-разному оформляется само причастие и его внутреннее подлежащее. В обстоятельственной роли внутреннее подлежащее стоит в неопределенном падеже, а в роли одного из актантов — нормативно в притяжательном.

Тот факт, что оформление ЗПЕ отличается от конечного сказуемого, был отмечен в статьях отдельных участников авторского коллектива с начала 80-х годов. Но только в данной книге впервые систематизируются отдельные выводы и излагается предикативное склонение как единая система. Центром ее является «треугольник» взаимосвязанных и взаимно противопоставленных падежей: винительный — дательный с исходным — неопределенный, описанных в III, IV, V главах. Винительный в алтайских языках используется в качестве грамматической формы представления информации как объекта оперирования после глаголов *знаю, вижу, слышу, сказал, забыл, вспомнил* и т. д. Дательный — это форма представления событийного объекта эмоционального переживания и эмоциональной реакции (*рад, недоволен, жалею, возмущен* и пр.). Исходный используется для выражения негативных реакций отталкивания. «Вершину» треугольника составляет неопределенный падеж. Это форма событийного подлежащего. В книге описаны типы конструкций, связанные с этой формой. Это два типа с двумя основными подтипами. Первый тип употребляется при конечных сказуемых, вы-

раженных залоговыми формами глаголов, управляющих в активе винительным, дательным и исходным падежами. Производные прямо-переходных глаголов малочисленны, часто теряют глагольность, но зато частотны (слова с семантикой «ясно, понятно» и с глагольными основами типа *бил-«знать»*). Формы понудительного залогов от эмотивных глаголов дают конструкции типа русских с базовыми глагольными формами. Событие «каузирует» эмоциональную реакцию говорящего (ср., например, конструкцию типа *То, что вы помирились, рабует меня*). Такие формы легко образуются от любого эмотивного глагола, но их употребительность в речи-текстах очень низка (большинство примеров собрано не в текстах, а от информантов). Второй тип распространен при оценочных предикатах. Подтипы в нем выделяются по тем же линиям — чистая оценка: «хорошо/плохо» и ее аналоги: «грех, преступление, заслуга» и т. п. Сюда же примыкают и «логические оценки» типа «ясно, понятно». Другой подтип — это «эмоциональные оценки»: «приятно, радостно, смешно, отвратительно, страшно, боязно» и пр. Здесь границы менее четкие и между подтипами более плавные переходы. Главная часть таких предложений, передающая значения «равносильно, означает, хорошо, я вижу, знаю, ему приятно, он возмущен» и пр., выражает психические процессы и действия, отношения в процессе интеллектуальной «обработки» событий, утверждения о событии. А в ЗПЕ содержится не само событие, а «информация о нем, его отражение в человеческом сознании» (с. 178). Далее в главах VI и VII авторы представили все остальные падежи. Они тоже могут быть управляемыми, и круг глаголов, связанных с каждым из этих предикативных падежей, очерчивается довольно детально, хотя описываемые общности менее целостны. Локальные падежи — дательно-местный, дательный, местный и исходный (отложительный) в обстоятельственной функции используются в первую очередь для передачи временных значений.

Таким образом, выявляется вполне определенный пласт таких полипредикативных предложений, где ЗПЕ управляется конечным сказуемым (не обязательно глаголом). Предикат требует от ЗПЕ определенного (в частности неопределенного!) падежа. И по семантике глагола можно довольно уверенно предсказать падеж.

Хочется обратить внимание на вывод, к которому пришли авторы по поводу функционирования ЗПЕ в притяжательном (род. падеже). Они употребляют

при именах широкой, «категориальной» семантики и «при служебных именах, функционально близких к послелогам» (с. 164). При этом определяемое, формально принадлежащее господствующей ПЕ, фактически перетягивается в ЗПЕ в качестве средства выражения связи между ними. Все эти явления манифестируют динамическую синтаксическую универсалию «сдвиг границы ЗПЕ влево», т. е. увеличение ее протяженности за счет господствующей ЗПЕ с появлением новых эквивалентов подчинительных союзов. Определяемое имя своей семантикой подводит целую ситуацию, выраженную в ЗПЕ, под определенную категорию и этим передает ее роль в господствующей ПЕ и отношение к ней. Вся ЗПЕ из класса определительных переходит в другой класс: причинных, следственных, целевых или временных в соответствии с семантикой категоризатора. Еще ярче происходит «сдвиг влево», если имя относится к служебным, например, бурятские — *х-ын орондо* «вместо того чтобы», *-нан хойно*, *-х-ын хойно-ноо* «после того как», *-нан тула*, *-х-ын тула* «чтобы».

В книге рассеяны интересные наблюдения и этюды, например, описание и анализ «русского типа склонения», т. е. словоизменения флексивного типа по сравнению с «алтайским» и «японо-маньчжурским» (с. 35). На с. 124—127 разрабатывается логическая система оценочных суждений и тут же применяется к материалу алтайских языков. Обосновывается тонкое логико-семантическое разграничение причины и стимула, цели и прогноза.

В работе можно найти отдельные недостатки, вызванные тем, что эта монография коллективная. Некоторые параграфы, например, § 2 в гл. VII, могли бы быть написаны более компактно, без повторения сходных выводов по разным языкам. Определенная опасность заложена в полевом методе сбора материала. Если информанту, обычно билингву, предлагается дать эквивалент русского построения, он волей-неволей калькирует русскую конструкцию. Синтаксис сложного предложения — очень тонкая область исследования, где методика сбора первичного материала должна быть предельно отточена.

Нельзя сказать, что во всех языках ЗПЕ оставались без внимания. Например, в монгольских языках их структура и взаимоотношения с господствующей ПЕ описаны довольно подробно, хотя и в иных терминах (см., например [4, 5]). Но об этом ничего не сказано.

Вопрос о наличии неформальных падежей в тюркских и монгольских языках очень сложный, спорный и до конца не

решенный. Поэтому, отвергая имеющиеся точки зрения, следует хорошо это обосновать, а не ссылаться на единичный русский пример *снегозадержание*, вовсе не характерный для алтайских языков.

На с. 31 сказано, что в тюркских языках афф. -ды является исходным показателем вип. падежа безличного склонения, из которого, якобы, фонетически не выводится показатель того же падежа в 3-м лице притяжательного склонения -ын/-ин. Это не совсем так, поскольку -ды — один из фонетических вариантов этого аффикса, основной формой которого является -ны во всех тюркских языках.

На с. 68 приведена тувинская основа *сакт-* «помнить», что неточно, так как основой этого глагола в тувинском языке, как и во всех тюркских языках, будет *сагын-*. Особенностью тувинского языка является то, что при наращении к подобным основам аффиксов с гласным началом происходит редукция узких гласных глагольной основы, а затем переассимиляция согласных, оказавшихся рядом. Например, форма причастия будущего времени *сактыр* (*сагын-* > *сагыныр* > *сагнынр* > *сакнынр* > *сактыр*). Поэтому в тувинском языке нельзя получить исходную форму только путем механического отбрасывания показателя условного словарного инфинитива, как это делается в рецензируемой монографии.

Отметим более мелкие недочеты. Редко, но встречаются сомнительные примеры. Например, на с. 42 в бурятском примере (10) *Тиигээд бэдэржэ...* после слова *байлыг* не хватает причастия *олоходо*, а на с. 88 пример (48) *Тэрэ газарай ...* неудачный (вм. *газарай* следует употребить *газарта*) и перевод его неточный. Требуется уточнения перевод на с. 94 (100): «невестки ее не любили...», надо «зять и невестка...».

Может быть, следовало оговаривать несколько книжный характер отдельных предложений с предикативным дополнением, например, *Дамба хоригыньше оролдоогүй хэн* на с. 74 (более привычно *Дамба хорихо гэжэ оролдоогүй хэн*); см. также с. 90 (64), с. 95 (102).

В книге есть, к сожалению, случаи неточного морфемного членения бурятских словоформ. Так, например, *мэдээдхи-ба* вм. *мэд-ээд-хи-ба* (с. 72, строка 5 сверху), а также неверно представленные бурятские основы (например, *атаар* вм. *атаарха-* на с. 83) и словоформы (например, *гаралсагүйгөөр* вм. *гаралсангүйгөөр* на с. 130, строка 24 сверху).

Но эти мелкие упущения ничуть не умаляют явных достоинств книги, ее большого научного значения для общей теории полипредикативных единиц, компаративистики и других областей языко-

знания, достоинств, которые трудно переоценить. Можно только пожалеть, что она вышла таким небольшим тиражом (800 экз.) и недоступна читателям, не знающим русского языка.

*Биренбаум Я. Г., Рассадин В. И.,
Шагдаров Л. Д.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Мартынов В. В. Категории языка. Семнологовический аспект. М., 1982.
2. Убрятова Е. И. Исследования по син-

таксису якутского языка. II. Сложное предложение. Кн. 1—2. Новосибирск. 1976.

3. Убрятова Е. И. Предикативное склонение в якутском языке // Падежи и их эквиваленты в строе сложного предложения в языках народов Сибири. Новосибирск, 1981. С. 3—11.
4. Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М., 1962. С. 117—177.
5. Дондуков У.-Ж. III. Об изучении грамматического строя бурятского литературного языка. Улан-Удэ, 1969.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

VI Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, состоявшийся 11—16 августа 1986 г. в Будапеште (ВНР), уже занял свое место в истории советской и зарубежной лингвистической и методической мысли. Его роль можно сформулировать так: цель изучения и преподавания русского языка на сегодняшний день заключается не только в дальнейшем его распространении, но прежде всего в использовании его как фактического (реального) международного средства общения в экономике, торговле, производстве, науке, в туризме и бытовых сферах интернациональной жизни.

Политически значимым и конструктивно-деловым тон работе Конгресса был задан приветствием к его участникам Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Это приветствие, оглашенное Послом СССР в ВНР Б. И. Стукалиным, а также приветствие Генерального секретаря ЦК ВСРП Я. Кадра, выступление члена ЦК ВСРП, председателя Общества венгеро-советской дружбы А. Апро (являвшегося Председателем Венгерского оргкомитета Конгресса) и выступление заместителя Председателя Совета Министров ВНР И. Марьяи были восприняты делегатами и гостями Конгресса с признательностью и полным одобрением. Они, несомненно, стимулировали единодушно принятый Конгрессом политический документ — «Обращение к международным и национальным объединениям преподавателей иностранных языков», содержащее призывы поддержать советские мирные инициативы, оказать свое влияние на запрещение и полную ликвидацию ядерного оружия и других средств массового уничтожения уже до конца нынешнего столетия.

Конгресс убедительно показал, что русисты всех стран оценивают распространение русского языка и русской советской литературы как важную предпосылку к налаживанию конструктивного взаимодействия государств и народов в масштабе всей планеты.

Собравшиеся на Конгрессе лингвисты,

методисты, литературоведы, психологи, педагоги (всего 1812 делегатов из 66 стран) подчеркнули, что они видят смысл своей деятельности в том, чтобы помочь учащимся овладеть русским языком как практическим средством обмена информацией в актуальных для них сферах общения.

Своими докладами, выступлениями, участием в дискуссиях (всего было прочитано свыше 900 сообщений, более 200 человек приняло участие в обсуждении) они убедительно подтвердили дальнейшее расширение функций русского языка как средства международного общения, усиление интереса к его изучению, особенно в странах, недавно вступивших на путь самостоятельного развития, плодотворность интеграции, международного опыта преподавания иностранных языков. Растет число специалистов высшей квалификации — кандидатов и докторов наук, совершенствуется система непрерывного образования, повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы.

Рост числа людей, говорящих по-русски, обучавшихся в СССР и составляющих уже заметный и влиятельный слой технической и гуманитарной интеллигенции своих государств, утверждение русского языка в программах средних школ разных стран, изменение социального состава лиц, изучающих русский язык (кроме традиционно изучающих школьников и филологов, к нему прибавляются слои технической и творческой интеллигенции, рабочие); использование русского языка в общении представителей разных стран, а не только при контактах с носителями русского языка и иные, ставшие реальностью явления, создают благоприятные условия для использования русского языка в качестве международного посредника.

Однако несмотря на значительное распространение русского языка, его употребление как одного из основных языков международного общения явно отстает от его возможностей и потребностей граждан разных стран. По мнению участников Конгресса, русский язык интере-

сен и полезен не только как ключ к русской душе, к русской советской культуре, к жизни советских людей, но и как источник жизненно важной общечеловеческой информации, просто как удобное и выгодное средство международного общения.

Выбор языка для изучения, как известно, диктуется и экономическими потребностями, увязывается с национальным развитием и национальной психологией. Общественный прогресс требует сейчас как никогда взаимодействия народов в глобальном масштабе, из чего вытекает императивность знания языков друг друга, прежде всего языков широчайшего распространения, каковым является и русский язык.

Конгресс в своей итоговой резолюции призвал усилить деятельность по разъяснению информационного потенциала общественных функций и коммуникативного значения русского языка, практической пользы от владения им для удовлетворения профессиональных и духовных потребностей людей; шире развернуть исследование закономерностей функционирования русского языка в разных странах и регионах мира, значительно усилить внимание к таким проблемам, как «русский язык и научно-техническая литература», «русский язык и советский театр (кино, телевидение и др.)», «бытовые сферы международного жизни и русский язык», «русский язык в бизнесе и торговле, в дипломатии и науке, в медицине и спорте» и в других сферах делового и профессионального общения.

Знание законов использования русского языка в разных странах и регионах, учет статуса отдельных родных языков и роли других широко употребляемых языков поможет понять глубинные процессы мотивации, лежащей в основе выбора того или иного «всеобщего» языка.

В течение шести дней на заседаниях в восьми секциях, двух научных симпозиумах и двух «Круглых столах», проходивших параллельно, ученые разных стран делились мнениями и опытом, коллективно обсуждали сложившиеся научные традиции и новые направления в изучении и преподавании русского языка, русской и советской литературы.

Примечательным фактом этого Конгресса оказалось значительное число международных (т. е. подготовленных представителями нескольких стран) и двусторонних советско-иностранных докладов и выступлений, что свидетельствует об усилении традиционно развиваемых в рамках МАПРЯЛ интеративных тенденций.

Представленные в лингвистических секциях доклады отличались большим тематическим разнообразием, освещали

все уровни языковой системы — фонетику, лексику, морфологию, синтаксис, лингвистику текста — в их специфике и взаимосвязи.

На первый план в ходе обсуждения выдвинулся функционально-системный подход к фактам русского языка, к закономерностям их реализаций в речи; к организации текстов разных жанров и их фрагментов, в том числе принадлежащих к так называемым прагматическим стилям или функционально-речевым разновидностям (учебно-научная, газетно-публицистическая, научно-деловая и др.), прежде мало или вовсе не привлекавших внимание исследователей.

Функционально-системные описания русского языка сопрягались с представлением многоязычной речевой деятельности, т. е. с выявлением того, какие языковые средства при определенных условиях могут быть использованы для реализации тех или иных коммуникативных задач, с раскрытием самобытности русского языка, связанной со средой, общественным устройством, культурой, историей, бытом советского народа, с интересом к коммуникативному и прагматическому аспектам высказывания, к психо- и экстралингвистическим факторам, регулирующим выбор языковых средств.

В докладах и выступлениях были широко представлены результаты сопоставительных изысканий, являющихся краеугольным камнем лингвистических основ любой методической системы обучения. Современная методическая ситуация, уровень развития научного знания связывают сопоставительное языкознание с рядом новых аспектов. Сопоставление родственных и типологически далеких языков может и должно выходить за рамки языкознания — в теорию речевой деятельности, в теорию усвоения, в психологию общения. Подтверждается постулат, в соответствии с которым языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, развившимся в ней.

Нынешнее обучение, как свидетельствовали выступавшие, нередко, к сожалению, грешит излишним вниманием только к чисто информативной и грамматической сторонам высказывания и, раскрывая тезис о многообразии теоретических интерпретаций фактов языка, подчеркивали роль семантических и коммуникативных факторов, значимость лингводидактического подхода к ним, призывали в итоговой резолюции Конгресса создавать функциональные описательные и педагогические грамматики русского языка для разных категорий иностранных учащихся, носителей различных языков и культур.

На этом Конгрессе выкристаллизовался несколько иной взгляд на учащегося как на субъект, а не только объект обучения. Прошедшие на предыдущих Конгрессах обсуждения роли преподавателя, учебника и методов необходимо дополнить изучением ученика, построением, если угодно, его модели. Современная организация обучения учитывает не только грамматику языка, но и природу самого общения, включает аспекты культуры, личности и общества, речевого поведения носителей языка, а также процессы, имеющие место при передаче, восприятии высказываний, существующие и потенциальные коммуникативные потребности учащихся и пр. Это заставляет строить курсы обучения в зависимости от мотивации данной категории учащихся, реальной роли русского языка в их жизни, выбрать такие методы и приемы преподавания, «технологии» учения, которые глубоко затрагивают учащегося как личность, с его индивидуальными притязаниями, жизненными планами, идеалами и которые учитывают широкий контекст функционирования русского языка в мире и в отдельных странах. На этих путях, полагают участники Конгресса, будет, наконец, развеян миф об особой трудности русского языка.

Изучение языка в современных условиях теснее увязывается с фактами научно-технического прогресса, с бурно развивающимися средствами массовой информации — радио, кино, телевидением и видеотехникой, с компьютерами (учебные видеозаписи и компьютерные программы демонстрировались в зале Конгресса), причем в двойной функции: и как естественных источников языковой среды, и как собственно обучающих средств, вводимых в учебный процесс для повышения его эффективности. Они помогают поддерживать определенный уровень владения языком, усиливают осознание учащимися коммуникативной роли русского языка.

Одновременно это выдвинуло принципиально новую задачу лингвистического обеспечения компьютерной техники, что заставляет методистов и лингвистов думать о возможностях и границах формализации применительно к такому сложному общественному интеллектуальному феномену, каким является естественный язык.

VI Конгресс МАПРЯЛ подтвердил возросшее в мире внимание к русской классической и советской литературе как воплощению духовных и эстетических ценностей и достижений советского народа, ее богатые традиции и роль в мировом литературном процессе. Участники заседаний обсудили взаимоотношение литературы и других видов искусства, теорети-

ческие проблемы метода, стилей, течений, жанров, художественного образа, спорные проблемы адаптации художественного произведения, лингвистического анализа художественного текста, пути и формы приближения образной системы русской литературы к восприятию ее нерусскими учащимися. Состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам методики преподавания русской и советской литературы в вузах и школах, в кружках и на курсах. Одновременно прозвучала озабоченность по поводу недостаточной активности исследователей в решении ряда назревших литературоведческих и методических проблем.

Конгресс призвал продолжить разработку концепций изучения русской классической и советской литературы и принципов построения учебных курсов; развивать теоретические основы методики обучения чтению художественных произведений, включающие проблемы типологии художественных текстов, их отбора и комментирования.

В ходе работы VI Конгресса состоялись встречи редакторов русских журналов разных стран, директоров и сотрудников зарубежных филиалов ИРЯ им. А. С. Пушкина (число которых к настоящему моменту достигло 10-ти.)

На Конгрессе работала выставка учебно-методической литературы. Многие представленные на ней учебные книги подготовлены совместными советско-иностранскими и международными авторскими коллективами.

По традиции на торжественном заседании, посвященном открытию VI Конгресса, состоялось награждение видных русистов и литературоведов медалью А. С. Пушкина. За большие заслуги в распространении русского языка и преподавании русской советской литературы, успехи в педагогической и научно-исследовательской деятельности наград были удостоены 15 человек, в том числе М. Б. Храпченко (СССР) посмертно.

Работа VI Конгресса широко освещалась прессой, радио и телевидением ВНР; она нашла отражение в прессе СССР и других социалистических стран.

VI Конгресс МАПРЯЛ призвал теоретиков языковедения и методистов к более тесному сотрудничеству, что будет, безусловно, содействовать дальнейшему обогащению как методической мысли новыми лингвистическими идеями, так и языковедческой теории решением новых проблем, поставленных практикой. VI Конгресс МАПРЯЛ — заметное культурное и политическое явление, которое содействует взаимопониманию людей, их сотрудничеству и миру на Земле.

Костомаров В. Г., Митрофанова О.
(Москва)

12—14 мая в Бологое состоялась V Всесоюзная конференция по романскому языкознанию «Современные проблемы романистики: функциональная семантика». Она была организована институтом языкознания АН СССР и Калининским государственным университетом. В конференции приняли участие 320 человек из 65 городов 9 союзных республик. Работа конференции проходила на двух пленарных заседаниях и восьми секциях. Было прочитано 79 докладов и 50 сообщений.

Открывая конференцию, В. Г. Гак (Москва) остановился на результатах развития советской романистики за последние годы и дальнейших задачах романистических исследований. Тема, начатая В. Г. Гаком, была продолжена в пленарном докладе Т. А. Репиной (Ленинград) «Диссертации по романистике в СССР (1979—1985 гг.)». Указав на преобладание работ по французскому языку (75% от общего числа диссертаций), Т. А. Репина отметила широкий спектр вопросов, решавшихся в диссертациях по романистике.

Пленарный доклад Р. Г. Пиотровского (Ленинград) был посвящен урокам и перспективам использования компьютера при изучении романских языков. В пленарном докладе В. Г. Гака освещались проблемы соотношения семантики и прагматики. В настоящее время, отметил докладчик, наиболее распространенным является «трехуровневое» представление структуры высказывания: семантический уровень (что говорится), синтаксический уровень (как говорится) и логико-коммуникативный уровень (зачем говорится). Прагматический подход ставит вопрос о выделении ряда других аспектов в высказывании, среди которых наиболее важным являются эмоционально-оценочная и коммуникативно-дискурсивная рамки.

С. Г. Бережан (Кишинев) в своем пленарном докладе обратился к проблеме изучения семантики в Молдавии, подробно остановившись на работах последних лет, в том числе составлении словарей. Первое пленарное заседание закончилось докладом О. К. Васильева о III в е д е (Ленинград) «Из истории испанистики в СССР».

На конференции работало 8 секций. 1) Семантика и прагматика (руководители — Е. М. Волф, В. Г. Гак). Основные вопросы — актуальные направления семантических исследований, проблемы изучения семантики предикатов и предикатных групп, семантика и прагматика различных типов высказываний, семантические аспекты стилистики, проблемы введения номинаций в речь и др.; 2) Семантика синтаксиса (руководители —

А. Н. Степанова, А. И. Чобану, А. В. Супрун). Основные вопросы — методы изучения синтаксиса в семантическом аспекте, проблемы функционального синтаксиса в романистике, функционально-семантический анализ простых предложений и зависимых синтаксических конструкций, исследование синтаксической синонимии в коммуникативном аспекте и др.; 3) Лингвистика текста (руководители — Н. М. Малкина, Н. М. Фирсова, К. А. Дольникова). Основные вопросы — прагматические аспекты текста, использование логико-семантических функций в изучении текста, проблемы связности и цельности текста, проблемы вторичной номинации в тексте и др.; 4) Функциональная семантика лексических единиц. Фразеология (руководители — Т. З. Чердацева, С. В. Семчинский). Основные вопросы — семантическая структура лексических единиц, функциональные аспекты исследования коннотативных сем, динамика лексических единиц, лингвогеографические аспекты семантики романского слова, семантическая природа потенциального слова и др.; 5) Словообразование (руководители — Г. С. Чинчлей, Л. Н. Степанова). Основные вопросы — актуальные направления и методы изучения словообразовательных процессов, процесс межъязыковой аналогии как фактор словообразовательной корреляции, взаимодействие номинативного и функционально-коммуникативного признаков в содержательной структуре производных единиц, семантические корреляции разноструктурных синонимов и др.; 6) Грамматика и семантика частей речи (руководители — М. К. Сабанеева, Б. П. Нарумов). Основные вопросы — семантика и прагматика глагольных категорий (семантика и прагматика конъюнктива, чередования наклонений в придаточных предложениях, рефлексива), взаимообусловленность грамматических и прагматических функций единиц, семантико-синтаксическая классификация глаголов и др.; 7) История языка (руководители — Т. А. Репина, Л. М. Скрябин, И. И. Челышев). Основные вопросы — методика семантических исследований в приложении к диахроническому аспекту изучения языка, семантика лингвистических ареалов, семантическая реализация слова как фактор формирования функциональных видов письменности, устойчивость языковой системы, проблемы этимологических реконструкций; 8) Фонетика, фонология, интонация (руководители — И. Г. Торсуева, М. В. Гордина). Основные вопросы — смысловозначительные функции интонации, ритм и семантика текста,

звуковой символизм, семантика звуковой компрессии, темпоральная организация высказываний разных коммуникативных типов, структурно-семантические характеристики тонов и др.

На заключительном пленарном заседании были прослушаны доклад Б. П. Нарумова (Москва) «Испанистика в СССР (библиографический обзор)» и отчеты руководителей секций, в которых были подведены основные итоги конференции.

Закрывая конференцию, В. Г. Гак отметил разнообразие и актуальность тематики прослушанных докладов, их прак-

тическую направленность, использование передовой методологии. Было специально отмечено участие в конференции молодежи, блестяще организовавшей две стендовые сессии и выступившей с высокопрофессиональными докладами.

В заключение все участники конференции высказали пожелание более регулярно проводить подобные форумы, дающие возможность обсудить развитие романского языкознания в масштабе всей страны.

Иоанесян Е. Р. (Москва)

23—25 апреля 1986 г. в Москве состоялась III конференция по китайскому языкознанию, организованная отделом языков Института востоковедения АН СССР. В ней приняли участие китаеведы научных и научно-педагогических центров Москвы, Ленинграда, Владивостока, Киева, Новосибирска, Читы, было заслушано 28 докладов.

Конференцию открыл зам. директора Института востоковедения чл.-корр. АН СССР В. М. Соловьев.

На конференции обсуждались различные вопросы современного китайского языкознания — грамматики, словообразования, лексикологии, фонологии, письменности, методики преподавания китайского языка, языковой ситуации в КНР, языковой конвергенции на территории Восточной и Юго-Восточной Азии, а также вопросы, касающиеся автоматической обработки информации иероглифического текста.

В докладе «Общее языкознание и китайский язык» (Системность языковой действительности и системность науки о языке) Н. Н. Коротков (Москва) отметил, что наиболее глубокой сущностью, различающей язык изололирующего и флективного строя, является устройство звуковой материи предельных значимых единиц языка — их слоговой и не слоговой характер. По мнению докладчика, фундаментальным свойством китайского языка, обусловленным слоговым характером его предельных значимых единиц, следует считать слабую противопоставленность единиц разных уровней и их полиморфизм.

Н. В. Солнцева и В. М. Соловьев (Москва) в докладе «Частеречный синтаксис в китайский язык» выступили с обоснованием концепции синтаксиса, исходящей из представления о том, что грамматические свойства слов как частей речи («частеречные» свойства) в конечном

счете определяют синтаксические связи слов в предложении и их функции. Как считают докладчики, известный тезис А. А. Драгунова «части речи лежат в центре грамматической системы китайского языка» верен в приложении к любому языку. Специфика китайского и других языков этого типа состоит в том, что в них связь между принадлежностью слова к части речи и его возможным синтаксическим использованием выступает в обнаженном виде.

А. М. Карапетьянц (Москва) в докладе «О специфике грамматического строя китайского языка» развивал мысль о структуре грамматики, включающей в себя микросинтаксис (слово), синтаксис (предложение), макросинтаксис (текст). Китайский синтаксис частично совпадает с микросинтаксисом, частично — с макросинтаксисом.

В докладе Е. И. Шutowой (Москва) «Типы синтаксических средств в китайском языке» была дана классификация формально-синтаксических средств китайского языка, основанная на функциональном критерии. Выделены два основных типа синтаксических средств: 1) прямой синтаксической значимости (относящиеся к члену предложения, независимо от части речи), 2) непрямой синтаксической значимости (относящиеся к части речи, независимо от члена предложения). Тань Аошун (Москва), рассмотревшая роль связи *ши* в коммуникативной организации смысла высказывания, выявила различные случаи употребления в китайском языке связи *ши* с опорой на универсальные коммуникативные категории типа «сообщение», «суждение», «описание», «разъяснение», «идентификация», «коррекция», «верификация» и др., различение которых связано с глубинной структурой предложения. С. П. Ефимова (Киев) в своем докладе «К вопросу о синтаксической значимости

морфологических показателей в китайском языке» представила результаты синтаксического обследования сплошного китайского текста (объемом 30 с.) на предмет выявления у китайских морфологических показателей синтаксической значимости.

Ю. Д. М а м а т ю к (Москва) в докладе «К вопросу о семантической „пустоте“ объектов в составе глагольно-объектных комплексов китайского языка» polemизировал с существующей в советском Китае точкой зрения, согласно которой объект в сочетаниях типа *sho xua* «говорить» (букв. «говорить» + «слова») трактуется как семантически пустой, чисто формальный (Е. Д. Поливанов, И. М. Ошанин и др.) и сочетание в целом рассматривается соответственно как единица лексического уровня.

В докладе О. М. Г о т л и б а (Чита) затрагивался вопрос о сущности категории модальности и путях ее анализа. Опираясь на понимание этой категории, данное В. В. Виноградовым, докладчик подчеркнул, что понятие «объективность» выпадает из системы значений этой категории. В качестве единицы выражения категории модальности считается текст; в приложении к китайскому языку построение анализа от текста представляется автору особенно плодотворным. В докладе А. М. Е ф р е м о в а (Москва), посвященного проблеме организации текста, анализируются катафорические (проспективные, предсказывающие контекст) элементы китайской речи в сопоставлении с русской и выделяются специальные (лексические) и структурно-функциональные средства.

С. Б. Я н к и в е р (Москва) рассмотрела грамматические категории гуйчжоуского (кантонского) диалекта в сравнении с категориями национального языка (путунхуа) и подчеркнула важность изменения тона в кантонском формообразовании. В докладе Т. С. З е в а х и н о й (Москва) «О функционально-грамматических аспектах словарного описания дунганского прилагательного» был поставлен вопрос об исчислении (по возможности полному) типовых конструкций с прилагательным в дунганском языке и сделана попытка рассмотреть эти конструкции с точки зрения реализуемых ими функций.

А. А. Х а м а т о в а (Владивосток) охарактеризовала атрибутивную модель как одну из продуктивных словообразовательных моделей современного китайского языка. Докладчик подчеркнул, что по атрибутивной модели могут образовываться слова, принадлежащие к разным частям речи.

В. И. Г о р е л о в (Москва) остановился на вопросах классификации словарного состава китайского языка, которая, по его мнению, должна производиться

по нескольким наиболее важным признакам. Например: 1) по происхождению (этимологическая), 2) по давности существования (хронологическая), 3) по употреблению (функциональная). Доклад О. П. Ф р о л о в о й (Новосибирск) «Некоторые виды метафор как способы выражения экспрессивных личностных характеристик в современном китайском языке (семантика и типы)» был посвящен проблеме экспрессивной лексики в китайском языке. Рассматривался метафорический перенос в группе существительных со значением лица. Б. Ю. Г о р о д е ц к и й (Москва) изложил принципы полевого исследования антонимов (на материале ганьсуйского диалекта дунганского языка), разработанных в рамках работы по лексикографии и семантической типологии, проводимой группой прикладной семантики кафедры общего, сравнительно-исторического и прикладного языкознания филологического ф-та МГУ.

Доклад М. К. Р у м я н ц е в а (Москва) «Искусственная речь: варианты ее единиц (к постановке проблемы)» был посвящен получившей развитие в последние десятилетия проблеме машинного моделирования человеческой речи — искусственного ее воссоздания (синтеза). В частности, при моделировании товоритники китайских двусложных слов стояла задача получения ритмических вариантов слова.

А. Н. А л е к с а н д р о в (Москва) в докладе «К проблеме определения гласной фонемы китайского языка (путунхуа) (О соизмеримости фонологических описаний русского и китайского языков)» утверждал, что последовательное применение общелингвистического понятия «фонема» к описанию звуковой системы китайского языка (путунхуа) раскрывает как качественные, так и количественные особенности вокализма путунхуа в отличие от русского языка. А. А. М о н а с т ы р с к и й (Москва) в докладе «К проблеме просодической организации слова в современном китайском языке» polemизировал с традиционной трактовкой просодической организации слова в китайском языке в терминах ударения, полагая, что просодическая организация слова в СКЯ осуществляется на основе слоговой просодии. Е. В. П у з и ц к и й (Москва) на основе личных наблюдений над пекинским говором сделал вывод о чрезвычайной продуктивности явления эризации (присоединения суф. -эр к существительному) в речи современных пекинцев.

В. И. М о л о д ы х (Владивосток) в докладе «Количественное градуирование идеографии в современном китайском языке» отметил, что в пиктографической письменности идеография базируется на соотношении «графический знак-значе-

ние». Были рассмотрены три параметра, характеризующих отношение отдельных графем к единицам плана содержания. В докладе И. Н. Гомаровой (Москва), исследовавшей характер тибетской письменности, основной графической единицей тибетского письма является графический слог (силлабограф), который записывает значимый слог (морфему или односложное слово).

С. К. Шантанов (Москва) в докладе «Интенсивно-имитационный метод обучения китайскому языку» сообщил о разработке и внедрении в ходе эксперимента в 1984—1986 гг. на кафедре общего, сравнительно-исторического и прикладного языкознания филологического факультета МГУ интенсивно-имитационного метода обучения китайскому языку, основанного на массированном использовании технических средств. В докладе В. П. Меньшикова (Киев) «Некоторые особенности китайской диалогической речи и их значение для методики обучения» на основании анализа синтаксических особенностей китайской диалогической речи предложены методические рекомендации по обучению диалогу, навыкам устной китайской речи.

Е. Н. Румянцев (Москва) в докладе «Актуальность проблемы языковой ситуации в Китае» отметил сложный характер социолингвистических проблем Китая, указав при этом, что основными чертами языковой ситуации в современном Китае остаются трехступенчатая структура устной коммуникации (национальный язык — региональное койне — местные диалекты), господствующее положение иероглифической письменности в структуре письменной коммуника-

ции, закрепление фонетического алфавита в качестве вспомогательного средства письма. В докладе Ю. Л. Благонравовой (Москва) «К вопросу о ядре Восточноазиатского языкового союза (ВАЯС) и зоне его локализации в древности» было предложено предварительное суждение о компонентном составе ядра ВАЯС на основе выявления некоторых доминантных результатов конвергенции языков на территории Восточной и Юго-Восточной Азии. Доклад Нгуен Ван Тхак (Москва) «Китайские заимствования во вьетнамском языке» был посвящен характеристике происходящих во вьетнамском языке процессов, сопутствующих ассимиляции китайских заимствований.

С. М. Шевенко (Москва), затронувшая проблему автоматизации обработки информации на японском и китайском языках, доложила о получивших распространение за последние десять лет в Китае и Японии методиках ввода иероглифических текстов в ЭВМ.

К. Б. Кепинг (Ленинград) сообщила о результатах исследования системы родства тангутов, источником которого явился китайско-тангутский список терминов родства для трех поколений в слове «Жемчужина на ладони».

В заключительном слове В. М. Солнцев отметил широту проблематики и живой интерес участников конференции к поставленным вопросам, свободный обмен мнениями по спорным проблемам китайского языкознания, что свидетельствует о важности и полезности состоявшейся конференции.

Шутова Е. И. (Москва)

CONTENTS

Articles: Bondarko A. V. (Leningrad). The systemic foundations of the concept of «The Russian Grammar»; Zarifjan I. A., Roždestvenskij Ju. V., Ščerbakova O. M. (Moscow). Problems of general and applied philology in the light of the School reform; **Discussions:** Gamkrelidze T. V. (Tbilisi). The Glottal theory: a new paradigm in Indo-European comparative linguistics; Golovanovskij A. L. (Kokchetav). Social and ideological differentiation and the evaluative aspect of the Russian political word-stock; Tseitlin R. M. (Moscow). On the meaning of the term «the Old Russian language»; Xaburgajev G. A. (Moscow). On the subject-matter of paleoslavistics and terms used to define it; Piotrovskij R. G. (Leningrad). Linguistic automats and the machine fund of the Russian language; Polenova G. T. (Taganrog). On the genesis of certain formants of the Ket verb; **Materials and notes:** Isaiev M. I. (Moscow). Esperanto — the international auxiliary language: problema of theory and practice (on the centenary of its birth); Silin V. L. (Dnepropetrovsk). Problems of synonymy; Kumašov M. A. (Moscow). Onomastics in the Nart epos; Tsitkina F. A. (Uzhgorod). Comparative study of terminology: theoretical problems and applications; Pjurbejev G. Ts. (Moscow). Syntactic phenomena in the written monuments of the Mongol feudal right in XVII—XVIII centuries; Alvre P. Ju. (Tartu). On the syntactic equative; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Bondarko A. V. (Léningrad). Sur les fondements systémiques de la conception de «La grammaire russe»; Zarifjan I. A., Roždestvenskij Ju. V., Ščerbakova O. M. (Moscou). Problèmes de philologie générale et appliquée à la lumière de la réforme de l'École; **Discussions:** Gamkrelidze T. V. (Tbilissi). La Théorie Glottale: nouveau paradigme dans la linguistique comparée indo-européenne; Golovanovskij A. L. (Kokchetav). Différentiation sociale et idéologique et aspects évaluatifs du lexique politique russe; Tseitlin R. M. (Moscou). Sur le contenu du terme «de vieux slave»; Xaburgajev G. A. (Moscou). Sur l'objet de la paléoslavistique et la terminologie usitée pour sa détermination; Piotrovskij R. G. (Léningrad). Automates linguistiques et le fond mécanographique de la langue russe; Polenova G. T. (Taganrog). Sur la genèse de certaines désinences du verbe kète; **Matériaux et notices:** Isaiev M. I. (Moscou). L'esperanto: langue internationale d'appoint. Problèmes de théorie et de pratique (à l'occasion du centenaire de sa naissance); Silin V. L. (Dnepropetrovsk). Problèmes de synonymie; Kumašov M. A. (Moscou). Sur le lexique onomastique dans la poésie épique des Nartes; Tsitkina F. A. (Ouzhgorod). Étude comparée de terminologie: problèmes théoriques et applications; Pjurbejev G. Ts. (Moscou). Phénomènes syntaxiques dans les monuments du droit féodal mongol des siècles XVII—XVIII; Alvre P. Ju. (Tartu). Sur l'équatif syntaxique; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Т. И. Радина

Сдано в набор 5.05.87 Подписано к печати 24.06.87 А-03796 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 78,3 тыс. Уч.-изд. л. 15,2 Бум. л. 3,0
Тираж 3949 экз. Зак. 429

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6